МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

РОМАН ГУЛЬ



«Я унес Россию. Апология русской эмиграции»

Том второй. «Россия во Франции»

DirectMEDIA

Р. Б. Гуль

Я унес Россию

Том III. Россия в Америке

DirectMEDIA

Москва
Берлин
2019

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6
Г94

Гуль, Р. Б.

Г94 Я унес Россию. Том III. Россия в Америке / Р. Б. Гуль. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 365 с.

ISBN 978-5-4475-9848-8

Автор этой книги видный деятель русского зарубежья, писатель и публицист Роман Борисович Гуль (1896–1986 гг.), чье творчество рассматривалось в советской печати исключительно как «чуждая идеология». Название мемуарной трилогии Р. Б. Гуля «Я унёс Россию», написанной им в последние годы жизни, говорит само за себя. «…я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца. Отсюда и название этих моих предсмертных воспоминаний... Под занавес я хочу рассказать о моей более чем шестидесятилетней жизни за рубежом».

Вниманию читателей предлагается третий том воспоминаний, в который вошли разноплановые новеллы, не связанные общим стилистическим единством. Книга охватывает период жизни писателя в США, но значительная часть остается посвященной французскому периоду. Также как и в первом–втором томах, много портретных зарисовок, посвященных современникам-эмигрантам – общественным и политическим деятелям (Мельгунову, Николаевскому, Валентинову, Кравченко и др.). Ряд записей освящает литературную и общественную деятельность автора.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-4475-9848-8

Посвящаю памяти моей дорогой жены
Ольги Андреевны Гуль

От автора

«Россия в Америке» – это третья и последняя часть моей трилогии «Я унес Россию». Выпуская ее, я вижу, как много материала я не использовал во всех трех частях трилогии и особенно в «России в Америке»: воспоминания, личные записи, вырезки, письма разных лиц, цитаты и прочее. Я постараюсь (если Господь даст силы) делать отдельные записи всего особо интересного из не вошедшего в три тома трилогии и печатать это в повременных изданиях, как «Дополнение» к «Я унес Россию», дабы не ушли в небытие факты, интересные и историку эмиграции, и просто читателям.

Выпуская «Россию в Америке», я благодарю всех указавших мне на отдельные ошибки в датах и фактах в тексте, печатавшемся в «Новом журнале». Благодарю В. Я. Миклашевского за некоторые указания. Благодарю Т. Витни за предоставление мне материалов из его архива. Благодарю за постоянную помощь С. Г. Виштака, Ю. Д. Кашкарова и О. В. Радыш. Особо благодарю профессора Рене Герра за ряд указаний, а также за предоставление мне из его замечательного русского архива редких материалов о русском послевоенном Париже.

Об эмиграции

Когда в юности я читал в родной Пензе запретные книги Александра Герцена, я помню, как меня поразила фраза Герцена: «Эмиграция – это страшная вещь». Мне казалась тогда, напротив, эмиграция Герцена не только не страшной, но прекрасной и героической: «Колокол», «Полярная звезда», Франция, Англия, сочинения, большое влияние на внутрен-

нюю Россию, множество встреч с тогдашними западными властителями дум, писателями, революционерами, дружба с Огаревым, Бакуниным. Что же тут страшного?

И вот теперь – в старости, – прожив в эмиграции почти всю свою сознательную жизнь (ибо что же было в России – юность?), я понимаю, как верно, хорошо и глубоко сказал Александр Герцен: «Эмиграция – вещь страшная». Но не только страшная, конечно, но и пленяющая. Эмиграция, и в этом ее очарование, ее притяжение, всегда тянет человека (если это человек, а не обывательский пень) – своей свободой. И вот я, прожив в эмиграции без малого шестьдесят пять лет, разве я бы хотел быть *не эмигрантом*? Нет. Бывали, конечно, слабые минуты в эмигрантской жизни, в самом начале, когда мне хотелось опять «прилепить свои подошвы» к родной земле. Но они были очень редки и слабы. И всегда это чувство *родины* во мне подавлялось – чувством *свободы*. Что я люблю больше всего в мире? Свою свободу. Какую свободу? Очень простую. Физическую свободу передвиженья, которой на родине нет. Духовную свободу – «мыслить и страдать», которой на родине нет. И, наконец, свободу демократического государства, где, по выражению Анатоля Франса, правительство должно считаться дворником, которого я прогоняю, если он мне плохо служит. Конечно, я, эмигрант, никого «не прогоняю», «не могу прогнать», я, так сказать, «человек с улицы», не вошедший в жизнь государства, где я эмигрантствую и где я даже «принял подданство» и законно голосую на выборах президента, мэра города и т. п. Все равно, по существу я «вне государства», «вне общества». Конечно, и моя духовная свобода, мыслительная, ограничена в какой-то мере хотя бы языковым барьером, скудостью средств, мешающей подчас этим свободам.

И все-таки мне почему-то даже нравится эта *страшность* моего эмигрантского положения. Может быть потому, что я,

в сущности, где-то в своей глубине именно и хочу быть «вне общества», «вне государства», а быть в вечном странствии. И потому как бы ни была тяжела эта «страшная вещь» эмиграция – а она, конечно, бывает тяжела, – именно ее-то я и восхваляю. В этой свободе нищеты, свободе человека – именно она давала мне глубокие переживания счастья «остаться самим собой». А это, может быть, даже самое большое человеческое счастье – быть эмигрантом не только из своей родной страны, превращенной в Дантов ад, но быть вообще эмигрантом на земле, еле соприкасаясь со всем тем, что тебя окружает.

Вот сейчас. Мне очень много лет. Я пишу эту книгу потому, что мне хочется рассказать какому-то очень мне близкому человеку свою жизнь. Но которого я совершенно не знаю. Не представляю ни лица, ни фигуры, ни очерка, ни его внутреннего мира. Но такой близкий мне человек когда-то найдется. И его заинтересует моя странная жизнь – во множестве стран, с множеством профессий, с разнообразием положений от помещика-барича до пролетария, от состоятельного буржуа до богемьена и опять от крестьянина-батрака до писателя. И мне хочется передать ему то, как я жил-был, проведя почти всю жизнь русским эмигрантским перекати-поле.

Вот сейчас. Где я? Я на веранде прекрасной студии в старинном местечке Питерсхем штата Массачусетс; веранда выходит в сад, переходящий в лес. Здесь каждое лето мы гостим у нашего близкого друга – миссис Элизабет Хапгуд, которую все русские называют «Елизавета Львовна». Она была «спонсором» при нашем въезде в Америку, нашим «свидетелем» при принятии американского гражданства. Елизавета Львовна – женщина необыкновенная и по образованности, и по уму, и по литературному таланту, и по душевным качествам, и по внешней красоте. Недаром один ее друг, известный режиссер Джошуа Логан, узнав в Париже о ее смерти, в телеграмме ее детям писал: «Элизабет была – легенда». Это

верно. Е. Л. была «легенда». Таких женщин так называемая «наша эпоха» уже не дает, они ушли навсегда.

Отец Е. Л. был адмирал американского флота, мать происходила из старинного английского рода лордов Хьюстон, один из которых был сподвижником Кромвеля, и после его смерти переехал в Америку. Муж Е. Л. Норман Хапгуд был американским послом в Дании и личным представителем президента Вильсона в Европе.

Е. Л. свободно владеет несколькими европейскими языками и по-русски говорит так, что русские не верят, что она чистокровная американка. Она была большим другом Московского Художественного театра, где дружила со всеми «великими», а К. С. Станиславский с единственной женщиной (кроме жены, Лилиной) был с ней «на ты». Это была высокая «платоническая» дружба. Е. Л. блестяще перевела на английский его четыре книги[1]. Она переводила с немецкого – Томаса Манна, Карла Цукмайера. С русского – «Отец» А. Л. Толстой, «Иерусалим – имя радостное» А. Седых, «Дракон» Евг. Шварца, который шел в театре «феникс» в Нью-Йорке. В ее доме бывали – Мих. Чехов, Джошуа Логан, Морис Метерлинк, Херберт Хувер, граф Куденове-Каллерги, Кришнамурти и многие другие. Я знаю, как она помогала попавшим в беду русским эмигрантам. В самый критический для Виктора Кравченко момент, когда администрация президента Рузвельта была готова выдать его Советам, сочувствующий Кравченко чиновник Эф-Би-Ай сказал ему: «Скройтесь так, чтобы мы не смогли вас разыскать». И Кравченко скрылся. Где? В квартире Е. Л. на Ист-Сайд в Нью-Йорке. И тут провел семь месяцев, не выходя никуда. Причем

---

[1] После смерти К. С. Станиславского Е. Л. попросила Олечку переплести его письма отдельной книгой. Олечка художественно переплетала. И переплела письма Станиславского в чудесный кожаный переплет. Так они и остались у Е. Л. и никогда опубликованы не были.

об этом знали только Е. Л. и ее мать, а жизнь в квартире (ежедневные четырех часовые чаи и пр.) шла своим чередом. После смерти Рузвельта Кравченко благополучно вышел из своего «беста». Вот с этой необыкновенной женщиной мы и были необыкновенно дружны. И ежелетне гостили у нее в чудесной студии в Питерсхеме.

Веранда затянута мелкой сеткой от комаров. Передо мной в цвету – несколько яблонь. Над яблоневым цветом жужжат пчелы. Перепархивают оранжевогрудые птицы, крича неприятным, тоскливым криком. Над зеленым лесом чуть виден острый белый шпиль протестантской церкви («юнитериан»). А все местечко этой прекрасной страны первых американских поселенцев – Новая Англия – состоит из белых домов с белыми колоннами, как у нас где-нибудь в заброшенной усадьбе средней России. Только там такая усадьба была одна на сто верст. А тут все местечко состоит из таких вот белоколонных домов, окруженных старыми запущенными садами.

Как и зачем вместе с женой я попал сюда? В сущности, не знаю. Конечно, я знаю, как помогала приехать Е. Л. Помню все хлопоты по отъезду. Покупку билетов. Пароход «Виндам». Небоскребные берега пристани Нью-Йорка в шестичасовом фиолетовом сумраке. Это все я помню. Но по существу, зачем я здесь? Кому я здесь нужен? И почему именно здесь, в Америке, я умру? Я понимаю все это не очень отчетливо. Mais ne cherchez pas à comprendre. Я всегда так и плыл в своей эмигрантской жизни от случая к случаю. Не добивался многого. О многом не старался, не «пекся убо на утрие», а брал то, что ко мне как бы само подплывало. И вот так же взял подплывшую ко мне Америку. Вот я и сижу на этой прекрасной широкой веранде, покачиваясь в качалке-кресле. Смотрю на зелень вокруг, на дубовую мелкую заросль, на яблони, на огород, на птиц, на пчел, на солнечные тени. И –

вспоминаю. Что? Я вспоминаю время Второй мировой войны, пережитое во Франции. Я вспоминаю, *как я его пережил.* А пережил я его не совсем обычно. И многое осталось в памяти.

Великий исход

Как же это началось? Как пришло в душу осязание неминуемой гибели Франции? А с ней, возможно, и моей? Это началось в невероятно жаркий, душный летний день, когда мимо нашей фермы – на ферму Марии – проехали на велосипедах два жандарма, оба толстые, вспотевшие, в серой летней песочной форме, и я видел, до чего пропотели у них спины, лопатки.

В этот знойный день никто не работал в поле. Не выходили. Скот лежал и стоял в стойлах. Собаки забивались в относительную прохладу сараев. До пяти часов все было мертво. И только в пять-в начале шестого, когда начинал спадать жар и зной, крестьяне запрягали быков, коров – выезжали на работу. И то – не нудили ни коров, ни себя, зная, как этот зной убивает животную силу.

Жандармы разносили по фермам призывы о мобилизации резервистов. Они сообщали годным к военной службе фермерам, когда им нужно явиться на сборные пункты, чтоб идти защищать отечество, защищать не жандармов же, нет, а их самих, крестьян, столетиями вросших в эти виноградные поля их прекрасной Франции. Но от чего их, собственно, защищать? Эти виноградники и пшеничные поля – будут стоять так, что бы ни было. Франция этих полей, этих виноградников будет всегда жить как жила – и никто в мире не свернет эти наши поля, виноградники, не тронет наши каменные, старинные дома. Именно так – я увидел, – так ошибочно думали французские крестьяне, искренно не понимая связанности всего национального организма – кресть-

янина и генерала, рабочего и профессора университета. Французы были слишком освобождены от обязанностей. Их освобождала от этого ложно понятая, ядовито воспринятая с пеленок «свобода», обывательски понимаемая «демократия».

Когда к нам пришел сосед Мишель, муж Марии, в сопровождении Марии и трех детей – прощаться, жены наши – обе – заплакали, увидев горе Марии и испуганно-непонимающие детские личики, из которых лицо старшей девочки пыталось плакать, подражая горю матери. Но не в этом было дело, не в Марии, не в детях, нет, дело было в самом Мишеле – этом здоровом, крепком и довольно диком крестьянине. Только заговорив с нами, он заплакал как мальчишка, которому не хочется уходить в первый раз из дому в школу. Своим плачем он смутил и меня, и брата, ибо мы приготовились с ним говорить как «ансьен комбаттан», которые, вероятно, будут вскоре мобилизованы, потому что «бесподданных» Франция тоже призывает.

Но всхлипывающий Мишель, неловко утирающийся рукавом? И еще более плачущая Мария, такая же дикая, хорошая крестьянка-виноградарша, ничего в жизни не видавшая, кроме своей фермы, своих детей, своих телят, своего Мишеля, который в ее доме начал жить как наемный работник, а потом заменил ей мужа. Этот плач Франции – признаюсь – был страшен... Ведь плакал не один Мишель, миллион Мишелей.

То же самое было при прощании с другим соседом (более отдаленным), богатым Гудэном. Этот не особенно приятный, толстый, объевшийся и опившийся богатый крестьянин не плакал так в голос, как бедняк Мишель, но и Гудэн давил какие-то подступавшие рыдания и смахивал слезы. Плач Франции, плач этих двух крепких крестьян был мне страшен, потому что – я понимал – так плакали не только эти два мужика-француза, но плакала вся народная Франция, в долгой, сытой, животной демократической жизни потерявшая все

мифы, все «гражданские доблести». Франция не хочет воевать *ни за что и ни при каких обстоятельствах*. Это, конечно, гибель государства, гибель французской культуры, бессильной защитить себя от надвигающегося варварства.

Правда, мне рассказывали, что когда поезд с новобранцами отходил от нашего старинного Нерака, эти мобилизованные виноградари-крестьяне не пустили к себе в вагоны двух коммунистов-горожан и одного крестьянина, известных тем, что они были члены компартии. И мобилизационным властям – ввиду опасения убийства этих трех коммунистов – пришлось доставить их в Ажен, столицу нашего департамента, каким-то другим путем. Почему же те же плачущие Мишель и Гудэн выбрасывали из вагона коммунистов? Потому, что в них видели помощь этой войне, ибо Советский Союз шел вместе с гитлеровской Германией. И их вождь, Морис Торез, уже дезертировал из французской армии, бежав в Германию. И не он один. На немецком заводе, где-то у Гитлера, работал «токарем» и теперешний лидер ФКП – Жорж Марше.

В этих крестьянах, против воли ехавших на призывные пункты, ехавших воевать, было сильно чувство *уничтожения их быта*, разрыва с их обыденной жизнью и, защищаясь, они выбрасывали из вагона тех, кто, одержимый какими-то новыми «мифами», нарушал их спокойную демократическую жизнь, ведущую свое летоисчисление от «либертэ, эгалитэ, фратернитэ» «великой» французской революции.

Вспоминаю я и свой призыв во французские войска. Мы с братом в синем автобусе неслись по чудесной знакомой дороге, обсаженной сероствольными, словно заплатанными платанами, в департаментский город Ажен. Там в воинском присутствии нас опрашивал какой-то однорукий чиновник – где, когда я получил военное образование, где сражался. Но в пахнущей пылью всесветных канцелярий грязной и душной

комнате мэрии этот однорукий француз с подвитыми усами и каким-то невыспавшимся лицом тоже не был воинственно настроен, хотя левую руку он, может быть, и потерял где-то на Сомме, на Марне в Первую мировую войну. Записав все нужные сведения, он сказал, что мы будем вызваны повестками в нужный момент на сборный пункт. Но этот момент так и не наступил – наступило крушение Франции.

Что творилось там, на севере Франции, под Парижем, мы узнавали только от беженцев. Мимо «Petit Caumont» по дороге мчались вереницы легковых автомобилей, заваленных сверх меры чемоданами, с привязанными к крышам матрацами, детскими колясками, некоторые везли собак, кошек... Ехали какие-то отступающие войска, шли грузовики, военные автомобили. Это был страшный хаос. Стоявший со мной наш сосед-итальянец вдруг проговорил: «Pas possible, toute la France déménage!»

Когда я в базарный день пришел в наш Нерак – он являл ту же страшную картину. На площади, около дворца Генриха IV, расположились остатки каких-то воинских частей. У дворца почему-то на большом барабане сидел старый толстый полковник такого усталого вида, что казалось, вот он сейчас упадет с барабана и заснет. По городу ходило видимо-невидимо всяческих беженцев, искавших убежища на ночь, квартиры, желавших тут остановиться хотя бы на день-два; другие хотели поселиться насовсем. Все раскупалось нарасхват, лавочники и продавцы-крестьяне на базаре под брезентовой крышей не успевали продавать – все шло нарасхват. Люди были голодны, усталы, и все это казалось катастрофой не только Франции, но всей Европы, словно начиналась, «всходила заря» какой-то новой варварской эры.

Когда на обратном пути на свою ферму я, как всегда, зашел в старый покосившийся дом Марии, она, увидев меня, опять заплакала, говоря: «Боши придут и сюда, мсье, я уве-

ряю вас, вот увидите... все возьмут... зарежут моих телят...» Мужа, Мишеля, она считала уже погибшим. Вместе с ней плакали и ее детишки. И только земля, хозяйство руководило еще ее жизнью: надо было пасти скот, мотыжить картофель, мотыжить маис, надо было делать вино, и это заставляло машинально жить, в свободное время бегать к соседу, старику Габриэлю, узнать новости, потому что у Габриэля единственного было небольшое старенькое радио, которое в этот хаос, в эту разруху бросало вести – одна страшнее другой – о развале, о занятии Парижа немцами, о собрании каких-то депутатов в Бордо, о попытках каких-то переговоров, о самоубийстве знаменитого профессора хирурга Мартеля, не пожелавшего увидеть немцев в Париже. Но этот устарелый благородный жест французского патриота только удручал большинство, только подчеркивал, что Франции и всем ее гражданским добродетелям не остается больше ничего, как умереть, ибо сопротивляться нет сил.

На базаре в Нераке я зашел в парикмахерскую. Сидели, брились какие-то «макиньоны» (маклаки по продаже скота), и в зеркалах отражались их коровьи лица. Я часто наблюдал совершенно особые лица у мясников, похожие на те туши, с которыми они всю жизнь орудуют своими косырями. И у торговцев скотом, у этих крепких скотообразных мужиков, я наблюдал коровье-бычье выражение лиц. И вот теперь они сидели, окруженные вокруг шеи грязновато-белыми простынями, в молчании – их стригли, брили. Все молчали, и только хозяин парикмахерской, небольшой пузатенький французик, бегал по парикмахерской от клиента к клиенту и без умолку говорил: «О нет, мсье, все это так... пусть боши заняли Париж... пусть... но такая империя, как Франция, не может погибнуть, о нет, мсье, уверяю вас...»

Почему он был уверен, что Французская империя не может погибнуть, – не знаю. А может быть, он и не был уверен,

может быть, говорил для того, чтобы подбодрить своих клиентов – этих «макиньонов», чьи коровьи и бычьи лица отражались в несвежих зеркалах его маленькой парикмахерской.

И в этом же старинном городке, с чудесной запущенной поэтической речушкой Баиз, с бюстом Марии д'Арагон, на его площади я встретил бежавших из Парижа к нам друзей, московских купцов – бывшего управляющего Стахеевской мануфактурой Сергея Николаевича Ильвовского с женой Валей. Бежав из Парижа в общей волне, почти без вещей, схватив только то, что было можно схватить, они в страхе бомбардировок приехали в этот Нерак. И бедный Сергей Николаевич на старости лет помешался. Этого урагана, этого «кораблекрушения» его старческий мозг не выдержал. И когда я вел его под руку по площади Нерака среди волновавшихся французов, Сергей Николаевич говорил:

– А ты посмотри на женщин-то... все без фаты теперь... это, наверное, Кемаль сделал, а?.. И знаешь, так-то лучше...

Я понимал, что Сергею Николаевичу это «кораблекрушение» представлялось повторением крушения Белой армии и приездом в Константинополь. И у него француженки стали турчанками, но почему-то без фаты... и он благодарил за это Кемаля-Пашу.

Устроившись кое-как, в какой-то небольшой комнатушке в каменном старинном сыром доме, Сергей Николаевич все сидел и не чувствовал никакого волнения. Он как бы уже не видел ничего совершавшегося вокруг, повторяя слова, совершенно непонятные окружающим: – «Кали мера, кали стера, кали перголя». Будучи классиком по образованию, я изучал латынь, а не греческий и не понимал этого старческого бормотания каких-то псевдогреческих слов, которые он произносил с веселым смехом: «Вот вам и извольте, кали мера, кали стера, кали перголя», – и Сергей Николаевич заливался рас-

сыпчатым смехом. В этом «псевдогреческом» бормотании было какое-то соответствие с затопляющей все катастрофой…

Катастрофа кончилась голосом маршала Петена по радио Габриэля, голосом едва-едва слышавшимся, потому что радио старика было каким-то допотопным.

Ощущение полета в бездну как бы прервалось. Все: крестьяне, виноградари, ремесленники, маклаки, бакалейщики, рестораторы, гарсоны кафе, парикмахеры и эти бегущие, как сброд, солдаты – все хотели одного – что угодно, только чтоб кончилось это падение в бездонную бездну, все боялись одного – чтобы *сюда* не пришли немцы, чтоб не раздавили и их так, как раздавили север, Париж. Мария плакала о телятах, которых боши обязательно зарежут, а она оставила их на продажу. Мишель хотел предпринимать какую-то перестройку фермы, и без продажи телят ее не произвести. Люди об этом не говорили вслух, но *это* чувство: все что угодно, только бы поскорей кончилась эта «кали мера, кали стера, кали перголя». И она кончилась.

Ферма старика Габриэля – недалеко от нас, на возвышенности. С нее во все стороны открывался чудесный вид на далекие виноградники, поля, виднелся бывший замок тамплиеров Сегино. Назывался участок Габриэля странно – Пер Бланк. Жил он на нем вдвоем с женой. Хозяйство стариков было все в образцовом порядке, хотя явно было видно, что старики уже уставали. Мы были в хороших отношениях, в особенности после того, как недорого продали им прекрасную телку, подошедшую в пару их собственной телке. Габриэль понимал, что продаст дорого такую красивую пару съезженных молодых рабочих коров.

Габриэль был – старая Франция. Худой, почти тощий, с седыми, чуть вверх усами, тонким лицом, орлиным носом. Всю свою жизнь они прожили тут испольщиками. Но прожили неплохо, скопив малую толику деньжонок и мечтая на

старости лет переехать в городок, где-то у родных доживать свой век. Но старик был еще бодр и работал. В противоположность дикому Гарабосу, Габриэль был культурным крестьянином, читал газету, любил поговорить о политике. В Первую мировую войну воевал и был ранен под Верденом, когда защитой этой крепости руководил Петен.

Вот к нему в дом и набились мы все, окрестные испольщики, арендаторы, крестьяне-собственники, услышав, что маршал Петен произнесет какое-то обращение к французскому народу. У всех на уме было одно слово – «армистис» (перемирие), что означало, что немцы не пойдут на юг Франции, не придут сюда, не расквартируют здесь свои войска, не будут забирать скот, хлеб, виноград, вино, не придавят этих французов так, как, наверное, придавили на севере. И эта жажда обывательской, хоть какой-нибудь свободы была так сильна во всех средних французах, в «трудящихся», что все набившиеся в низкую комнату Габриэля, к его хрипящему радиоаппарату, с затаенным дыханием дожидались, когда же заговорит маршал Петен. И вдруг раздался далекий-далекий, словно откуда-то с того света, старческий голос: «Французы!» – все замерли, жадно вслушиваясь в слова обращения, в слова, призывающие к перемирию с немцами, с Гитлером, с инвазией, с вторженцами. И когда раздались последние слова старческого голоса, плохо долетающие по старенькому радио: «Я приношу себя в жертву Франции...» – я почувствовал у присутствующих волнение благодарности, что вот в этот момент катастрофы у них во Франции нашелся человек, *взявший на себя* всю позорную тяжесть переговоров с Гитлером, чтобы *прикрыть* своим именем всех их, средних французов, не желающих воевать, – плакавших Мишелей, Гуденов, плачущую о телятах Марию, уверенного в величии Французской империи парикмахера мсье Бургеса, всех их, средних французов, которым было плевать на все, только бы сохранить

свое спокойствие, пусть вот такое, несчастное, позорное, общипанное, разгромленное...

Бежавший из Франции в Лондон де Голль, хотевший сопротивления во что бы то ни стало, в тот момент был, увы, не с Францией, не с народом. С народом был Петен. Он и принес себя *в жертву Франции*, выполнив подлинную *волю народа*. Это потом, после победы союзников, Франция сделает вид, что была не с Петеном, что средний француз тоже «победил» вместе с англичанами и американцами. О нет, он никого не «победил»; растеряв свои цивические добродетели, он был тогда искренне благодарен, всем своим существом, всей своей кожей, животом, глоткой, желудком девяностолетнему старику маршалу Петену, своим прославленным именем прикрывшему позор переговоров о постыдном перемирии. Но это было не желание Петена, а желание народа.

И когда, стыдясь этих своих цивически недостойных чувств, деголлевские судьи после войны судили маршала Петена, приговорив его к смертной казни, замененной ссылкой на остров Дье, это была трусливая неблагодарность, в которой было постыдно французам признаться. Французская академия поспешно вычеркнула имя маршала Петена из списка «бессмертных». Вероломство всех французов по отношению к героическому (по-своему) старику могло вызвать у Петена обоснованное презрение. Но не вызвало.

В прекрасном французском журнале «Historia» в 1975 году (ноябрь) напечатана о маршале Петене справедливая и правдивая статья Жоржа Блонда с подзаголовком: «На острове Дье французы обращались с Петеном хуже, чем англичане с Наполеоном». Верно. Англичане разрешали Наполеону ходить по всему острову, ездить верхом или в экипаже. Заключенному девяностолетнему маршалу разрешалась в день получасовая прогулка, но только по части двора, опутанной колючей проволокой. А когда старик маршал попросил раз-

решения дать прогулку по другой части двора, потому что, как он сказал, «оттуда видно море», ему и этого не разрешили: гуляй за проволокой и смотри не на море, а на тюремные стены! Хороши и верны слова Петена своим адвокатам, приводимые Жоржем Блондом: «Неужели люди могут искренне думать, что я предал? И если так думают, то почему?.. Я управлял Францией с любовью. Франция и французы для меня были одно и то же. Я никогда не представлял себе Францию как нечто отвлеченное, как явление лишь историческое... Я всегда любил французов и всегда хотел быть к ним близок...» Де Голль же «*спасал честь* Франции». Но «честь» – это, конечно, нечто абстрактное. Старый, знаменитый маршал, «слава Франции» (как о нем писалось в учебниках) был уверен, что генерал де Голль, его бывший подчиненный, не продержит его в тюрьме на этом окаянном острове – до смерти. Но Петен умер именно в этой тюрьме.

И в то же время де Голль, будучи главой государства, ввел в свое правительство заведомого изменника – дезертира из французской армии, лидера ФКП Мориса Тореза, как «министра без портфеля», заявив, что «коммунисты – такие же французы». Увы, не совсем такие. Даже совсем не такие. Сказанное де Голлем было политически не умно и в корне ложно.

История не только «страшная сказка, рассказанная дураком», но еще и «лживая сказка».

APPEL DU 16 JUIN

Français!

A l'appel de Monsieur le Président de la Republique, j'assume à partir d'aujour’hui la direction du Gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte, avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique resistance, elle a rempli nos devoirs vis-a-vis de nos allies. Sur de l'appui des Anciens Combattants que j'ai eu la herté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour attenuer son malheur.

En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénûment extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cæur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut tenter de cesser le combat.

Je me suis adressé cette nuit á l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l’Honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilites.

Que tous les Français se groupent autour du Gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n’ecouter que leur foi dans le destin de la Patrie.

Воззвание маршала Петена

Голод

Мы с женой идем по дороге мимо замка Розенэк, в одном из прекрасных, живописных, очаровательных департаментов Франции – Лот-и-Гаронн. Франция уже раздавлена ударом Гитлера. Каркас государственных границ смят, сломан. Мы идем по прекрасной, освещенной солнцем летней дороге мимо замка Розенэк. И мы совершенно потеряны в этом мире. Мы никому, ну совершенно никому не нужны. Никто нашей судьбой не заинтересован. Да и не может быть заинтересован. Всякий француз теперь заинтересован своей гибнущей судьбой, и ему уж конечно не до каких-то там иностранцев.

Дорога лежит между лесистыми холмами. Леса перемежаются лугами в цвету. Поют птицы. Воздух напоен изумительным ароматом скошенных вянущих трав. Тишина, нигде ни души. Старый замок Розенэк – на склоне холма. Он невелик, больше похож на дом в хорошей усадьбе, дом из дикого камня, от подножия до крыши увит мелкими бледно-розовыми розами. Замерший пейзаж оживляется только бельем, развешанным на веревке, разноцветным, словно живым, вздувающимся при порывах ветра. Почему-то не лает на нас большая, сидящая вдалеке желтоватая овчарка.

Тишина – изумительная. Наслаждаться бы и ею, и лесом, и птицами, и небом, и мелкими розами замка Розенэк. А мы идем – усталые, идем пешком далеко, километров за двадцать пять, наниматься на стекольную фабрику в городке Виан. Наниматься нам надо потому, что нам попросту нечего есть. Мы от всего давно отрезаны. Друзья-писатели в большинстве уплыли в далекую Америку. Север Франции занят немцами. Кто-то нам сказал, что можно наняться рабочими

на стекольную фабрику. И мы идем туда пешком по этой превосходной лесной дороге.

Гляжу на нее, на эту дорогу, и думаю: ну конечно, эта дорога чудесна в такой вот летний прохладный день. Но я ничего, никакой этой прелести воспринять не могу, не чувствую ее, потому что мне нечего есть, потому что я озабочен, смогу ли стать рабочим на стекольной фабрике, сможет ли стать работницей жена, а может быть, нас вовсе и не примут, может быть, рабочие там просто не нужны.

И тогда – что? Тогда – голод, настоящий голод на своей крохотной, в пять гектаров ферме, где живем мы впятером с семьей брата. И с нее нет никаких доходов. Брат ходит на поденную работу к богатому соседу-французу, но на это не прокормиться. Наша ферма куплена больше по русской дворянской фантазии – на ней хотел опроститься мой брат с женой и сыном. Но из этих русских «фантазиев» ничего не вышло.

Война отрезала меня от всякого литературного дохода в Париже – там кончились русские газеты, журналы. Нет и не может быть никаких поступлений из-за границы. И вот я – классический люмпен-пролетарий – иду теперь наниматься на стекольную фабрику.

Даже письма написать некому. В Европе – никого нет. А тени концлагеря Ораниенбург (за мою книгу), несомненно, приближаются. Но дело не в том даже. А в том, что именно в эти дни, когда Франция вступила в войну нехотя, против воли, когда народ ее не хочет ни за что воевать, когда он чувствует, что страна погружается все глубже в хаос несчастья, люди становятся необычайно недобры, злы. И ты, эмигрант, с особой силой ощущаешь, до чего ты никому не нужен, ну решительно никому. В мирное время ты мог еще быть даже неким развлечением для француза иль немца. С тобой могли пошутить, поговорить, удивиться – «до чего *же,* мол, эти рус-

ские какие-то никуда не годные люди, ну да черт с ними, пусть нас объедают!» Но сейчас эмигрант не вызывает ничего, кроме раздраженного чувства назойливости, ненужности. В такие «решительные для отечества минуты» эмигранты, конечно, не нужны. И вот эта потерянность, полная чуждость окружающей тебя стране страшно тяжела. И понятна только эмигранту, только побывавшему этим «инородным телом», этой «иностранной» занозой в чужой нации...

За деревней Лимон, выйдя с лесной дороги на асфальтовую, всю затененную гигантскими платанами, вы увидите стариннейший замок Тренклеон, квадратное шато, построенное в допотопные времена. Замок называется по имени своего владельца, а владелец получил это имя от «шевалье вер галан» – короля Генриха IV, о котором в этих краях республиканской Франции любят рассказывать забавные истории. О любовницах короля, о его жизни в недалеком отсюда Нераке, о его страшной смерти от кинжала Равальяка. О Тренклеоне мне рассказал крестьянин Огланьюс, словно в землю вросший древний старичок с безволосым розовым сморщенным личиком, в очках, подвязанных веревочкой, похожий на голландца с картин Терборха.

Король Генрих IV, благоволивший к молодому владельцу замка, на каком-то дворцовом приеме, дабы показать всем свою расположенность к молодому дворянину, которого звали Леон, поднял бокал в его сторону и, предложив выпить своего, вероятно замечательного, королевского вина, сказал: «Тренк, Леон!». Так эти королевские слова и укрепились за владельцами замка и за самим замком. Замок – какой-то странной архитектуры, окруженное столетними деревьями квадратное здание, скорее, какого-то испано-мавританского стиля.

Но, конечно, сейчас ни я, ни жена замками не любуемся. Отрезанные войной от всего мира, мы идем только с одной

надеждой: авось примут на стекольную фабрику в старинной деревеньке Вианн и тем спасут от голода и дадут возможность жить.

Помню как сейчас то странное чувство, которое я испытал, когда мы подошли к каменным стенам Вианна. Подошли мы со стороны южных ворот. Там стояла старая церковь и на ней, как на многих церквах Франции, обычно не замечаемая из-за своей обыкновенности надпись – «Свобода, равенство и братство». Думаю, такие надписи появились на французских церквах во время так называемой «великой» французской революции. Мне всегда казалось, что церкви были в какой-то мере испорчены этим «лозунгом», хотя надпись по своему смыслу, конечно, прекрасна. И не только прекрасна, но, в сущности, глубоко христианская. Все дело в том, что смысл этой надписи традиционно понимался не церковно, не по-христиански, а как вызов церкви со стороны лаической революции. Поэтому она мне и не нравилась. Такие надписи были уместнее на государственных учреждениях, хотя никто, в сущности, им никогда особенно не следовал. Но как максима были, конечно, хороши – как поддержание политического государственного мифа республики.

Но вот, когда мы подошли к вианнским воротам и я увидел на церкви эти обычно не замечаемые слова – «Свобода, равенство, братство», я глядел на них, как будто не понимая их смысла, словно в современной Франции, захватываемой Гитлером, это были уже какие-то допотопные иероглифы, *никому не нужные.* История отбросила этот миф, заменив его наскоро совершенно другими мифами XX века, мифами варварского насилия, под которыми на моих глазах гибло в Европе все, что осталось еще самого дорогого.

Вианн сто́ит того, чтоб о нем сказать. Это крошечная деревня, всего две продольных улицы и три-четыре поперечных. Этот прямоугольник, состоящий из небольших доми-

ков, в большинстве весьма старых, одноэтажных, со всех четырех сторон обнесен древней каменной стеной с башнями по углам. Правда, один выход из этого древнего городка уже расширили, проломав каменные стены, что, конечно, нарушило общую прелесть старины. Но все равно Вианн казался мне прекрасным, и, прожив около него несколько военных лет, я в этом не разочаровался.

Не знаю, как толком назвать Вианн – городок? деревня? местечко? Скорее всего, пожалуй, городок, по-старинному, ведь это был во времена религиозных войн некий укрепленный пункт. Конечно, мы шли с женой, только краем глаза глядя на седую древность, на хаотически цветущие в садах и палисадниках розы и всякие пестрые цветы. Мы были поглощены самым существенным: мы хотели есть, мы хотели устроить свою жизнь как-нибудь, чтобы могли каждый день есть и знать, что и завтра будем более-менее сыты.

Вианн заселен не густо – и всё старушками. Конечно, есть и другое население, старики, даже есть и молодежь и дети (в ограниченном количестве), но не они придают колорит этому гасконскому городку. Стиль Вианна – старушки. Они – во множестве, все в черных платьях, все на вид скромно-сдержанные. Но когда я их узнал поближе, став молочником этого городка, – о, какие же это оказались злостные и воинственные сплетницы, преследовательницы всех своих вианнских недругов и врагов.

Собственно, Вианн, умирающий французский средневековый городок (как и многое умирает во Франции подлинно французское), уже много лет был оккупирован чехами. Какой-то предприимчивый чех по фамилии Тенк почему-то именно здесь построил небольшую стекольную фабрику, не в самом городке, а чуть поодаль, в одной трети километра от Вианна. Компаньоном чеха сразу стал богатый мэр Вианна, мукомол Лятуш. Тенк выписал из Чехии стеклодувов и вся-

ких других стекольных мастеров. И таким образом древний Вианн с его умирающими старушками-католичками вошел в «темп современности», обзаведясь неким промышленным предприятием.

На стекольной фабрике

Фабричка – пустяковая, в сущности. Но все же человек до ста на ней работало: чехи (с кучей детей – веселые, шумные детки), французы (в весьма ограниченном количестве, две-три девушки-упаковщицы) и испанцы (эмигранты от Франко, понесшие поражение в гражданской войне, такое же, как и мы, только наоборот). Испанцы были весьма «красные». Кроме чехов и испанцев на фабрике работало несколько итальянцев, а заведующим обжигательной печью был донской казак Уварыч (Митрофан Уварыч).

От Вианна до стекольной фабрички – минут пятнадцать ходу. Фабрика стояла на асфальтированной дороге. С виду довольно бедное заведение – дощатые бараки, ничего больше. В бараках – шлифовальные жернова, быстро вращающиеся, словно живые, а около них на небольшом возвышении стояли рабочие, шлифуя всякие стеклянные предметы – вазы, абажуры, стаканы.

Было и отделение выдувальщиков, этот зал всегда напоминал мне что-то дьявольское. Здесь полуголые от жары старые чехи-стеклодувы выдували всевозможные стеклянные вещи с помощью длинных трубок. Столь же дьявольским было и отделение «саблёров», рабочих, шлифовавших стекло сильной струей песка. «Саблёры» играли наперегонки со смертью – кто опередит: они ли заработают хорошие деньги и бросят работу, или смерть их обгонит и они умрут от чахотки. Обычно смерть обгоняла-таки «саблёров».

«Саблёров» на фабрике было всего два. Я бывал и в их отделении. Два человека работали у особых аппаратов, которые сильной струей песка шлифовали стекло. Работали они в масках, но маски делу помогали мало. Платили «саблёрам» гораздо выше прочих рабочих, потому что директор, старый хитрый лис Тенк, прекрасно знал, что условия их работы почти смертельны и следует, конечно, как-то «вознаградить» человека за преждевременную смерть. Правда, эти бедные человеки сами напрашивались на смертельную работу в предвосхищении больших заработков. Когда, по прошествии шести месяцев, первые «саблёры» стали умирать, довольно быстро заработав туберкулез, рабочие не сразу сообразили, отчего они заболели. Когда же стали говорить, что быть «саблёром» это все равно что подписать контракт со смертью сроком на год-полтора, дирекция – тот же хитрый Тенк, его коллега Лятуш и другие акционеры – поставили наконец какие-то особые насосы, втягивающие песок, благодаря которым процент песка, попадающего в легкие, сильно уменьшился. Но странно, «саблёры» в погоне за заработком, работая сдельно, насосами почти не пользовались, «гнали продукцию». Я видел своими глазами, как эти забитые песком насосы стояли без употребления во время работы «саблёров».

«Саблёры» были интересными типами. Один из них, итальянец, необычайно крепкий молодой мужчина, отец большой семьи, решил выбиться в люди, приехав во Францию из нищей Сицилии. Он не работал сплошь «саблёром», а поработает три-четыре месяца, заработает некую сумму и уходит на землю. С полгода работает как испольщик-крестьянин на ферме, а потом опять приходит на фабрику и становится у своего зловещего аппарата играть в кошки-мышки со смертью. Дирекция его любила за быструю, хорошую работу.

О вредности работы «саблёров» я узнал от казака Уварыча. Он-то меня и предупредил, чтобы я ни под каким видом не брал *любую работу.*

Административный директор фабрики, щуплый молодой французик мсье Пети, принял нас с женой, как и быть должно, – официально-вежливо. На мое предложение нашего труда он чуть-чуть улыбнулся, спросив, работали ли мы когда-нибудь на фабрике?

– Нет, никогда, – ответил я.

– Понимаю, – протянул мсье Пети и на какую-то секунду задумался.

В эту секунду решалась наша судьба.

– Хорошо, – проговорил мсье Пети, – я могу вас взять на работу. И вас, и вашу жену.

Обращаясь к жене, он сказал:

– Вы пойдете в упаковочный отдел. Вы умеете упаковывать стекло?

– Умею, – ответила Олечка.

– А вы, мсье, – протянул Пети, – будете у нас контрметром.

Я внутренне ахнул: сразу такой «гигантский» пост. И, наверное, больше денег. Но мсье Пети добавил:

– Конечно, сейчас вы будете получать как наш обычный рабочий. Но мы посмотрим...

Я понял, почему назначен на столь неожиданный пост, когда мсье Пети сказал, что ему говорил о нас наш земляк, давно работающий на фабрике. Это был Уварыч. Мсье Пети, конечно, знает, что я никогда не был рабочим, что я «белый» русский и, вероятно, буду на фабрике достаточно хорошей собакой, надзирая за работой «пролетариата», а если даже хорошей собаки из меня и не выйдет, все равно, подсчитывая выработку, я буду на страже не «пролетарских» интересов, а хозяйских. Мсье Пети ошибался. Он не знал «традиций русской интеллигенции», ее природной симпатии к «трудовому

народу», которая жила в лучшей ее половине и, в частности, в моей семье.

Первое, что меня ошеломило на фабрике, – шум. Шум многих, пятнадцати-двадцати быстро вертящихся, цвета грязной воды больших жерновов, в который врезался ритмический звук какой-то электрической машины; тонущие в этом шуме или вырывающиеся из него отдельные людские крики; звон время от времени разбиваемого стекла. Одним словом, говорить в этом помещении можно было только на сильном крике. В барак меня ввел мсье Пети. По тому, как он говорил рабочим и работницам о том, что вот этот мсье будет вашим контрметром, я понял, что они обо мне уже наслышаны, уже знают, что какой-то русский (а может быть, с подробностями: «белый офицер») будет с этого дня контрметром.

– Э бьен! – сказал какой-то стекольщик, В этом его «э бьен» я ничего хорошего для себя не почувствовал. – Пусть, мол, попробует.

Эта стекольная фабричка была хорошей лабораторией для наблюдений по социальной психологии, в частности по психологии так называемого «рабочего класса». И эта психология опровергала многие мифы, которыми успешно оперируют марксистские социалистические и коммунистические партии. Взять хотя бы знаменитый лозунг – «пролетарии всех стран, соединяйтесь»; «у пролетариев нет отечества». Состав рабочих на фабричке был многонационален: чехи, французы (в небольшом количестве), итальянцы, испанцы и, наконец, русские эмигранты. И вот, став контрметром и невольно войдя по должности в гущу рабочих, я увидел небывалую национальную рознь, если не сказать вражду. Именно не какую-нибудь другую, а национальную. Она выражалась в борьбе друг с другом, в подсиживании. Чехи жили своей группой. Испанцы –

своей. Итальянцы – своей. Отношения между этими группами давали материал для интересных наблюдений.

У мадам Пруст

Итак, на этот раз мы победили. На какое-то время мы спасены. Но надо где-то жить. И мы с женой сняли комнату в Ви-анне у мадам Пруст. Мадам Пруст была столь типичной провинциальной француженкой Дю Миди, что о ней стоит рассказать.

Лет пятидесяти. Уже седоватая, скверно выкрашенная, с рыжестью в волосах, она любила носить какие-то странные черные капоты. И, несмотря на свою всегдашнюю неопрятность, ходила напудренная, с ярко накрашенными губами и насурьмленными бровями. В доме ее жила и ее мать, древняя полупарализованная старушка, необычайной, видимо, доброты и любви к людям. Но ввиду ее полной «экономической бесполезности», мадам Пруст обращалась с ней до крайности жестоко, словно хотела только одного: чтобы старушка поскорее съехала с квартиры на вианнское кладбище. Она и не задержала мадам Пруст, при нас она умерла в своем кресле. Больше всего мадам Пруст любила говорить со мной (не с женой) о Париже. О том, как она жила лет тридцать тому назад, когда служила продавщицей в «Галери Лафайет». О том, какая в Париже кухня. О том, как элегантны парижане и парижанки. Вспоминала парижские знаменитые магазины и рестораны, в которых она, конечно, никогда не бывала, но которые в воображении ее были тоже ее собственностью, собственностью Франции, собственностью Парижа, и мадам Пруст была ими необычайно горда. Мадам Пруст была совершенно уверена, что лучше Парижа и Франции – нет ничего в мире. Что же, Париж и Франция – места большого очарования. Но все-таки... есть и другие места на свете, не ме-

нее прекрасные. Но с этим мадам Пруст не могла бы не только согласиться, но даже понять, ибо весь мир ограничивался для нее только Францией, а в ней – только Парижем, а в Париже – ресторанами и всякими другими приятными для человеческой плоти предприятиями.

– О, Фоли-Бержер! – восклицала она. – О ком се жоли! О-о, мсье Гуль, вы, конечно, бывали в Фоли-Бержер?!

Будучи человеком воспитанным и не любя огорчать людей, я лгал мадам Пруст, что, конечно, бывал. В восторге она всплескивала руками. А в Фоли-Бержер я был один-единственный раз и, потрясенный этой в буквальном смысле дьявольщиной (причем дьявольщиной довольно-таки ошеломляющей), я, уходя оттуда, закаялся никогда больше не ходить в это действительно не сравнимое ни с чем по своей пошлости и низменности заведение.

– Мсье Гуль, скажите мне, за кого вы? Как вы думаете, кто спасет Францию – маршал Петен или генерал де Голль?

Зная твердо, что все, что я скажу по этому поводу, как я решу судьбу Франции, будет завтра же рассказано в единственной бакалейной лавке городка, у мадам Дюран, а оттуда, кто знает, может через кого-нибудь дойти и до жандармерии, я уклончиво отражал эти лобовые атаки мадам Пруст, говоря, что для спасения Франции было бы хорошо, если б маршал Петен объединился с генералом де Голлем.

– Вы правы! – вскрикивала мадам Пруст. – Я сама думаю об этом точно так же!

И я был вполне спокоен за завтрашний разговор мадам Пруст в лавке мадам Дюран или у зеленщицы, мадам Боннэ, где мадам Пруст ежедневно покупала четверть литра молока и изредка тощую теперешнюю газетку, в которой уже не печаталось, впрочем, ничего, кроме правительственных сообщений. Иногда я брал у мадам Пруст старые газеты и

развлекался чтением статей вроде «Час Гамлена настал!»; «Французские войска – лучшие в мире!»; «Линия Мажино – неприступна!» Увы, Все это было уже – plusquamperfectum.

Так мы и жили в старом городке Вианн, на берегу реки Баиз. У реки стояла древняя мельница, и сразу же у берега начинался прекрасный лиственный лес, где хорошо было в закатный час, когда, по старинной традиции, уже после заката солнца старые люди выползали из своих домов и рассаживались на ступеньках крылец, на скамейках у домов, говорили о несложных вианнских новостях и о событиях войны, пользуясь какими-то невероятными слухами, которые кто-то привез через границу между оккупированной и свободной зонами. Как известно, в то время Франция была уже разделена на две зоны. И мы, счастливые, жили в свободной.

Конечно, это было настоящее счастье. Мы не были свидетелями вступления немцев в Париж, когда, как рассказывал мне приятель, он видел на парижской улице плачущего французского полицейского: «Осаживал толпу французов, а сам плакал как ребенок...» Именно тогда, в день вступления немцев в Париж, знаменитый французский хирург Мартель покончил жизнь самоубийством. Мадам Пруст рассказывала об этом самоубийстве с каким-то притворным (по-моему), театральным ужасом, а живший у нее француз-рабочий умно заметил: «Мы на это не способны... Для этого надо быть образованным человеком». Мадам Пруст не поняла этой фразы, возмутилась и начала было кричать, что мы все на это способны! Но рабочий в спор не вступил. А выразил он, конечно, очень верную и тогда меня поразившую мысль.

Впрочем, знаменитый профессор Мартель покончил самоубийством напрасно, как это показала жизнь. Он не мог патриотически-эстетически пережить вида немецких солдат на парижских улицах, стука их подкованных сапог на Елисейских полях, вида этих серых однообразных форм, марши-

рующих по бульвару Распай. Все это, конечно, так. Но если бы профессор не поспешил уйти, он увидел бы и нечто иное. Увидел бы, как по Елисейским полям идут, как победители, французские танки знаменитой дивизии знаменитого генерала Леклерка под неистовые, радостные крики и клики парижан.

Моя работа на фабрике в должности контрметра сводилась к наблюдению за продукцией и подсчету сделанного каждым рабочим за день. Я был весьма либеральным контрметром. И рабочие это если не сразу, то скоро заметили. С ними у меня установились дружеские отношения. Со всеми – чехами, французами, итальянцами, даже испанцами, – кроме одного, красного из красных испанца-коммуниста, который меня возненавидел, вероятно, как «класс», как «белого» русского, как «врага народа». Это был красивый, весь какой-то гуттаперчиво извивавшийся, сильный, похожий телом на обезьяну, типичный брюнет-испанец. Говорил он со мной всегда подчеркнуто грубо, стараясь подловить на каких-нибудь неточностях в записях. Сознаюсь, я тоже чувствовал к нему неприязнь, но не как к «классовому врагу», а как к личности. Это была типичная большевицкая личность, сильная, жадная до своей жизни, до своей власти и, вероятно, совершенно беспощадная, жестокая по отношению к жизнями чужим. Он был тем самым новым массовым человеком, опорой тирании, который вырвался в большевизме, нацизме, фашизме. Звали его как-то незамысловато – не то Лопес, не то Диас.

После голодной крестьянской жизни на ферме «Пети Комон» даже комната у мадам Пруст, которую мы снимали, с гигантской, почти развалившейся постелью, с портретом над нею Генриха Четвертого и его первой жены, Маргариты Наваррской, с напудренной и немытой мадам Пруст, казалась нам счастьем. В особенности прекрасны были воскресе-

нья, когда можно было отоспаться, отдохнуть, прочесть жидкую газетенку, поесть, приготовив на примусе какую-то несложную еду, а потом смотреть в окно и видеть, как неизменно в три часа дня чех-стеклодув Прибыш медленно шагает посредине вианнской улицы в воскресном костюме, с неизменной папироской во рту и – обязательно – в шляпе. Шляпу Прибыш в будни никогда не носил, ходил, как все рабочие, в грязной кепке. Но в воскресенье он надевал к своему парадному костюму серую фетровую, довольно большую старомодную шляпу. Шел он медленно, сначала по одной улице (в Вианне их всего две, не очень-то разгуляешься), доходил до квадратной вианнской площади, обсаженной высоченными старыми каштанами. Заходил в единственный крохотный ресторанчик, похожий на какой-то таинственный разбойничий притон по своей грязи, темноте, запаху вина, серым очертаньям бочонков. В этой корчме Прибыш садился, осторожно снимал шляпу, выпивал стакан вина, не больше, говорил каждый раз одни и те же фразы и снова отправлялся гулять – по другой уже улице, торжественно неся на голове свою фетровую шляпу. Это было не гулянье, а именно торжественное ношение шляпы на голове. Чтобы сделать ему приятное, я как-то похвалил его шляпу. И Прибыш с удовольствием рассказал, что он купил ее давно, еще в Праге, и сколько за нее заплатил...

Катастрофы приходят внезапно. Так пришла и наша. Она пришла в момент, когда немцы продвигались к югу, заняв половину Франции. Не имея ни сбыта, ни сырья (так, по крайней мере, объяснили нам в расклеенном на фабрике объявлении директора Тенк и Пети), стекольная фабрика закрывается. И первым, кто спросил нас, что же мы теперь будем делать, была, конечно, мадам Пруст. Мы отказались от комнаты. Могли прожить еще одну, оплаченную неделю. А после нее наступало прежнее: ничего, никого, никуда и неоткуда.

Шато Нодэ

В «оплаченную еще» неделю к нам из «Пети Комон» на велосипеде совершенно неожиданно приехал Сережа. И с неожиданным предложением.

В обиталище мадам Пруст Сережа вошел одетый как всякий французский крестьянин: в берете, в рабочих штанах, рубахе с засученными рукавами и в неизменных деревянных сабо. Олечка приготовила какой-то обед. И за обедом Сережа рассказал, почему он внезапно приехал. Недалеко от Вианна есть замок, шато Нодэ. Он принадлежит старому французу-аристократу мсье Ле Руа Дюпрэ, бывшему парижскому банкиру. Старик одинок и с великими странностями, может быть потому его ферму никто и не хочет брать исполу. Сейчас у него «метайеров» (испольщиков) нет. Прежние (итальянцы) уходят, ферма свободна. (Поясню: на юге Франции испольщина очень приятна: вы даете свой труд, на свой риск и страх ведя хозяйство, а в конце года делите все барыши пополам с хозяином).

– Какая же, Сережа, ферма у этого банкира? – спросил я.

Очень хорошая. Тридцать три гектара земли. Коровье поголовье – двадцать два головы, из них одиннадцать молочных, дойных. Земля – и пахотная, и виноградник, и луга. Дом для нас хороший, уместимся вполне. И я предлагаю взять ферму исполу на три года.

Тут я хочу рассказать кое-что о характере Сережи. На ферму в Гаскони мы сели по его настоянию: опрощение, труд, жизнь на природе. В этом жило некое «своеобразное мироощущение». И я задумывался: откуда все сие в Сережу вошло? Где корни? Во-первых, по-моему, от детских капризов. Как своего первенца, мама Сережу очень баловала. И плюс – наследственность от деда (по отцу), вспыльчивость. В

семье у нас бытовал рассказ, как к больному Сереже (ему было лет пять) пришел наш постоянный доктор и друг Александр Трифонович Уклеин и, осматривая Сереже горло, сделал ему, вероятно, больно. Сережа вырвался от него и стал кричать, бросаясь на доктора: «Трифка, черт, я тебя зарежу!» Конечно, при папе подобные «выступления» были невозможны. Но мама Сережиным капризам противостоять не могла.

Другое, игравшее существенную роль в образовании «мироощущения» Сережи, пришло, по-моему, от Густава Эмара (Aimard). С детства у Сережи была страсть (именно страсть!) к чтению. Он часами просиживал за книгами. Во мне этого не было. Я предпочитал игру на нашем большом дворе – в лапту, в чушки, а особенно – гоняние своих голубей. Они бурной стаей вылетали со звоном крыл из голубятни и шли кругами сначала над крышами, а потом, все выше, выше и выше поднимаясь, уходили в поднебесье, где летали разноцветными точками. «Голубиная охота» меня радовала. Сережа этого не понимал.

Когда он перечитал Фенимора Купера и Майн Рида, он принялся за Густава Эмара, и после того, как в пензенском книжном магазине Добровольнова был куплен весь Густав Эмар, Сережа пристал к родителям, чтоб ему выписали из Москвы (от Вольфа, по-моему) *полное* собрание сочинений Густава Эмара. Мама и папа эту Сережину страсть к чтению поощряли, и действительно, из Москвы вскоре пришло *полное* собрание сочинений Г. Эмара (как сейчас помню, в твердом синем переплете с золотым тиснением, томов 10–12, кажется). От приключенческих сочинений этого француза, писавшего из американской жизни, Сережу было не оторвать. И мне кажется, эта страсть к Эмару с его описаниями дикой природы и всяческих приключений с годами сильно повлияла на характер Сережи: его полное отвращение к го-

родам, любовь к природе, к охоте, к верховой езде. Родители этому никак не препятствовали.

И вот теперь в этом «метайерстве», в опрощении, по-моему, в Сереже давал себя знать подсознательный импульс этой тоже (если хотите) страсти к «приключенческой» жизни. Сережа ненавидел всякую «буржуазность», весь городской уклад жизни. А тут – хоть и в труде (быть может, даже непосильном), но он на природе и с природой.

Когда Сережа кончил описание всех «прелестей» фермы в тридцать три гектара, я внутренне ахнул. Это вам настоящий Густав Эмар!

– Все это прекрасно: и замок, и все, – сказал я с некоторым смущением, – но жить-то мы будем, к сожалению, не в замке, а в доме батраков. Что же ты думаешь, мы справимся с тридцатью тремя гектарами земли и с двадцатью двумя коровами, из которых одиннадцать дойных?

Перед Сережей таких вопросов не вставало. Действовали каприз и Густав Эмар. Раз он хочет – все кончено. Причем эта Сережина решительность шла именно, по-моему, от капризов и от Эмара, потому что в ней не было никакой деловитости, сметки, расчета. Он вот так хочет – и баста! Капризы переродились в упрямство.

Но по тому, как моя жена слушала брата, я видел, что и у нее просыпается некая «дворянская фантазия». Но не от страсти «пахать», «ходить босым» и обязательно в рваном крестьянском тряпье. У нее это было от природной любви к деревенской усадьбе, к животным; она выросла и воспиталась в том же дворянско-помещичьем воздухе, в богатом имении своей тети, кн. О. Л. Друцкой-Сокольнинской, в Муратовке Пензенской губернии. Эти две – хоть и разные, но пересекшиеся – страсти, брата и жены, лишали меня всякой возможности возражать против метайерства в шато Нодэ: *ведь выхода-то все равно никакого не было.*

– Ну что ж, если хотите, попробуем, – сказал я неуверенно, – только боюсь, что не справимся мы с этими двадцатью двумя головами скота и особенно с одиннадцатью дойными. Ведь их же надо доить! И не раз, а два раза в сутки, так, по крайней мере, у нас в имении доили разные Дашки и Палашки. Кто же у нас будет доить?

– Ты! – безапелляционно сказал Сережа. – Тут доят только мужчины. Посмотри на любой ферме. Итальянцы, все мужчины, доят. Женщинам не под силу доить, им трудно. А насчет того, что не справимся, – пустяки. С чем мы не справимся? Я беру на себя всю пашню. Ну, иногда ты будешь мне помогать бороновать. И мы прекрасно справимся, *надо только захотеть,* – И я чувствовал, как действует и Густав Эмар, и капризы, и ярый баптизм. Он хочет сесть на большую настоящую ферму, чтобы стать настоящим крестьянином-испольщиком.

Итак, я согласен. Меня уговорила не только безвыходность положения, но у меня, сознаюсь, проснулось и некое желание попробовать *такую, по-настоящему крестьянскую жизнь.* Хватит ли сил? Сам себе я говорил: «Что ж тут, действительно, страшного? Работают же в СССР люди в концлагерях? Да как! И выдерживают. А я-то ведь буду не в концлагере, а на свободе. Это же не тюрьма, не концлагерь». Одним словом – «попробуем». И через несколько дней мы уже были французские испольщики, то есть люди самой низкой социальной категории.

Мсье Ле Руа Дюирэ

Старины в Лот-и-Гаронн довольно много. К замкам у меня всегда была романтическая любовь. Многие французские замки были изумительны. Были покинутые, ничьи, необитаемые, полуразрушенные, как «Назарет» – руины замка там-

плиеров, были и обитаемые. Б двух шагах от Нодэ – знаменитый Тренклеон. На горе около Вианна был замок писателя Марселя Прево, прославившегося в свое время (даже в России) книгой «Дневник горничной».

Шато Нодэ хоть и старый, но скорее барский дом, чем замок. С верандами, с красивым рисунком больших венецианских окон, он стоял в прекрасном парке. Все в нем было под старину и сделано с тем вкусом, который у французов безошибочен. Дом для метайеров был вместительный, двухэтажный, построенный в стиле швейцарского шале.

Но прежде всего скажу о нашем «барине», мсье Ле Руа Дюпрэ. Это был худющий, высоченный, саженный старик. Богат, парижский банкир. По своему душевному складу он меня поразил: я никак не мог себе представить, что в современной Франции, перепаханной многими революциями, мог сохраниться человек эпохи ДО Великой французской революции. Мсье Ле Руа Дюпрэ оказался именно столь необычайным экземпляром, и я благодарен судьбе, что она его мне показала.

Окрестные старики рассказывали про всякие его чудаковатости. Они с улыбкой говорили, что мсье Ле Руа Дюпрэ многим подает только *два пальца*. Но рассказывали об этом без злобы, как о барской прихоти. Про «два пальца» я не поверил, я всегда это понимал как метафору. Но, увы, мсье Ле Руа Дюпрэ впервые в жизни показал мне, что это вовсе не метафора. При знакомстве он подал мне – не три, не один – а именно два пальца! И я с интересом пожал эти два длинных, костлявых старческих пальца: для меня это было редкой литературной находкой. Старик вряд ли что-нибудь в этом понял. Он просто «снизошел» к испольщику может быть доставляя себе некое удовольствие этими символическими «двумя пальцами». Это было, когда мы пришли к мсье Ле Руа

Дюпрэ впервые – договариваться о взятии его фермы в метэйаж.

До тех пор пока вы еще не испольшик, вы считаетесь равным и приходите в замок, естественно, через парадный вход. Но уже на другой день этот вход для вас должен быть «психологически» закрыт, вы входите с заднего крыльца, через кухню.

Итак, в первый раз мы с Сережей, конечно, вошли к мсье Ле Руа Дюпрэ с парадного крыльца его прекрасного замка. Дверь открыл мордастый, хитроглазый итальянец-лакей по имени Данте. По его красивому, толстому лицу и по всей упитанности было видно, что в это полуголодное время он никак не голодает. Данте сказал, что доложит хозяину, и оставил нас в большой комнате, увешанной превосходными гобеленами, старинными гравюрами, обставленной стильной мебелью, какую редко увидишь, тут и Генрих Второй, и Генрих Четвертый! Вскоре появился наш саженный «барина. Необычайно худ. Как Дон Кихот. Совершенно седой. С небольшой заклиненной бородкой и седыми волосами. Одет он был в черную бархатную куртку, с черным небрежным жабо, в черных штанах, заправленных почему-то в резиновые американские сапоги (мерз, наверное). В большом камине кабинета тлели поленья. На лице у мсье Ле Руа Дюпрэ играла чуть приметная усмешка. Первый разговор был короток. Мсье Ле Руа Дюпрэ уже знал о нас от русского электрика Рябцовя, жившего неподалеку в деревеньке Фегароль, который нас ему и рекомендовал. А мы о странностях мсье Ле Руа Дюпрэ знали от Рябцова.

Мсье Ле Руа Дюпрэ выслушал нас, что мы хотим взять исполу ферму на три года, что хотим привести из «Пети Комон» двух своих рабочих коров. По его ответам я сразу понял, что Рябцов прав – мсье Ле Руа Дюпрэ совершенно ничего в сельском хозяйстве не понимает, он – городской барин. А

знакомый француз нам говорил, что мсье, конечно, нас возьмет, ибо сроки метайажа уже проходят, а у него никого нет. К тому же, по целому ряду причин к нему на ферму не хотят идти. Народу было мало – разогнала война, развал Франции уменьшил число рабочих рук, много молодежи пропало неведомо где. Многие фермы, обрабатываемые испольщиками, сейчас пустовали: не хватало людей.

Мсье Ле Руа Дюпрэ сказал, что знает, что мы русские, что нас ему рекомендовали как порядочных людей и хороших работников. «Но, – сказал он, – мне говорили, что вы не крестьяне, не сельские хозяева?» Тут пришлось уверять его, что мой брат – настоящий сельский хозяин, а я тоже что-то вроде этого. Но я увидел, что в конце концов мсье Ле Руа Дюпрэ это и не интересует.

Через несколько дней подписывать контракт я пришел к мьсе Ле Руа Дюпрэ один (Сережа подписал раньше). В этот раз старик принял меня на балконе. Он, наверное, скучал и хотел поговорить, хотя бы с испольщиком. С балкона видны были разноцветные листья виноградника, словно красочная атака ворвалась в сад. Горели тонким лимоном листья облетающих магнолий. Сад, скорее парк, был прекрасен своей осенней запущенностью. Конечно, эта осенняя запущенность не должна была входить в сознание сельскохозяйственного батрака. Но ко мне она входила отзвуком многих пензенских помещичьих парков, где прошли детство и юность...

В этот день я ближе разглядел старика (старую Францию в облике барина и банкира Ле Руа Дюпрэ). Ему было явно скучно. Он попивал какой-то лимонад иль оршад из принесенного хитроглазым Данте высокого бокала. Было бы, конечно, нелепо с точки зрения всех законов общежития, чтобы эдакий феодал предложил стакан лимонада испольщику. Да я бы, разумеется, и не взял. Поступая в свой «концентрационный лагерь», я хотел играть *свою роль как надо, до конца.* Я

старался приравнять свое «сознание» к моему новому бытию. Это, разумеется, удавалось плохо. Но я неплохо все-таки играл свою роль, хотя «сознание» и сопротивлялось. Так, входя в свою роль, я пришел вторично к Ле Руа Дюпрэ уже не с парадного крыльца, а с заднего, через кухню. Именно так, как у нас в именьи приходили, когда надо, кузнец, староста и прочая челядь. В кухне я о чем-то поговорил с кухаркой – красивой итальянкой Бонишон и с лакеем Данте (больше прислуги у барина не было).

Как-то увидев меня идущим с заднего хода, приехавший на велосипеде Рябцов был моим «опрощением» потрясен.

– Роман Борисович, да вы что, с ума сошли?! – корил меня донской казак, хитрейшая бестия Рябцов. – Зачем же вы с кухни-то к хозяину идете?

– А как же? Это теперь для меня самый законный путь, это «мой ход».

– Да что вы, я никогда не хожу! Чего же это вы с его прислугой-то смешиваться будете!

И Рябцов, важно раскачиваясь, пошел к парадному крыльцу.

Я понимаю, что ему к этому барину приятно было идти именно с парадного крыльца, потому что в жизни своей к таким барам с парадного крыльца он не был вхож. Его путь был с заднего крыльца. И назвав себя в эмиграции инженером, он хочет во что бы то ни стало стать «сен-бернаром». Ну, а мне доставляло удовольствие, может быть с некоторой примесью внутреннего озорства, переменить парадные входы на задние. Это было и интереснее и экспериментальнее. Мне хотелось взглянуть на мир «из-под-низу». Вот я и шел в своих деревянных сабо к заднему крыльцу (кстати, прекрасная, удобная обувь! около пяти лет я ходил только в сабо).

Итак, в тот день, когда моему барину было, вероятно, постариковски скучно, он, отпивая что-то такое приятное из

красного узкого бокала, смотрел куда-то в пространство, а я докладывал ему после подписания договора, что мы решили продать одну старую корову, ибо она будет в хозяйстве невыгодна. Пока я это говорил, мсье Ле Руа Дюпрэ глядел на меня своими глазами цвета выцветшего ситца без всякого интереса.

– Не возражаю. Я ничего не понимаю в коровах, – наконец медленно сказал он. – Вы, наверное, об этом уж слышали, что я никогда не занимался сельским хозяйством. Молочных коров во что бы то ни стало хотела завести моя жена, покойная мадам Ле Руа Дюпрэ. Правда, – неожиданно засмеялся воспоминанию старик, – она хотела, чтобы на этом лугу паслись коровы, – показал он рукой на громадный зеленый и издали удивительно красивый луг, на который как раз в это время моя жена выгоняла коров, – я предлагал ей купить фарфоровых коров, чтобы они всегда стояли на лугу. Но она хотела, чтобы коровы двигались, ну вот я и купил... коров... Я этим никогда не занимался, – повторял старик, и я видел, что он уходит в сладостные воспоминания прошлого...

От крестьян и от прислуги я уже много слышал о мадам Ле Руа Дюпрэ. Это была, по всей вероятности, крайне эксцентричная женщина, женившая на себе богатого молодого банкира; и он ее обожал, исполняя все ее прихоти.

– Вы знаете, конечно, что мадам Ле Руа Дюпрэ умерла...

– Да, знаю, мсье.

Она была слишком добра ко всем, и я думаю, что все эти метайеры ее очень обманывали, – кратко засмеялся старик, как бы говоря мне: «Я не очень-то верю и вам, я никому не верю, и вы – русские – такие же мошенники, как итальянцы-испольщики, которых вы сменили». Но этого он не сказал. Я это понял без слов. Помолчав, мсье Ле Руа Дюпрэ, отпив свой оршад, вдруг проговорил:

– В Париже я прекрасно знал одного русского, которого вы едва ли знали. Это было уже давно... Мсье Эли Мечни-

ков, – произнес он, отдаваясь каким-то приятным воспоминаниям. – О-о, хоть он был и русский, но это был настоящий барин!

Я сказал, что, конечно, как всякий русский, я знаю, кто такой был Илья Ильич Мечников, и дабы доказать это старику, сказал о его работе в Пастеровском институте и о его знаменитом лактобациллине.

Тут старик сморщился, будто закусил лимон.

– О, да, да, но это была совершенно отвратительная вещь! Ее нельзя было взять в рот. Впрочем, я никогда никакого молока не пью и никаких простокваш не ел и есть не собираюсь.

Это совсем по-французски. Сев на землю, я увидел, с каким отвращением многие французы относятся к молоку, предпочитая ему пинар – красное вино.

– Хорошо, хорошо, продавайте корову, если находите нужным. Только не делайте ничего, что было бы во вред хозяйству. Понимаете?

– Разумеется, мсье.

В этот момент я встал, чтобы уйти, но старик остановил меня.

– У меня к вам просьба. Когда поедете к маклаку на базар в Нерак, возьмите с собой вот эту гравюру, ее надо как следует обрамить, я скажу вам адрес магазина.

Я остановился перед небольшой английской гравюрой, изображавшей сцену из шекспировского «Укрощения строптивой».

– Хорошая гравюра, мсье, – сказал я и не без того, чтобы показать, что испольщики тоже кое в чем знают толк, добавил: – Это «La Megère apprivoisée» Шекспира, по-моему?

Старик сделал ртом типичный для французов звук легкого взрыва губами, долженствовавший выражать удивление и одобрение.

– Ппа... вы совершенно правы... Но откуда вы это знаете?

Мсье Ле Руа Дюпрэ вполне искренне считал русских какими-то тамерлановскими монголами.

Однажды я заговорил с ним о Гитлере. Странно, что о нем старик с особой ненавистью не говорил. Вся его ненависть сосредотачивалась на демократической Франции, которую он презирал.

– Что ж немцы и Гитлер? – сказал он. – Они работали и работают, это достойно уважения... А мы? Эта la gueuse! – произнес он с презрением и отвращением. Это аргоистическое словцо, пущенное в политический оборот Шарлем Моррасом (Maurras) в «Action Française», имело много значений: и гидра, и охлос, и распутная женщина, и нищий-попрошайка.

– Что мы делали? – продолжал старик. – Ну з'авон дансэ... Ну з'авон дансэ... Э сэ ту... Э ментнан – вуаля!

Относительно la gueuse старик был, конечно, прав, в демократии много пороков. Но что предлагал Шарль Моррас с его les camelots du roi? Графа Парижского? Утешение небольшое. И вряд ли это – «исцеление» человеческой греховности от соблазнов власти. Демократия все же страхует их вернее при всех своих пороках. Главная же суть дела, по-моему, в том, что все так называемое «человечество» в массе своей – большое дрянцо.

Во времена суда над Леоном Блюмом в Риоме я спросил мсье Ле Руа Дюпрэ, читал ли он в газете об этом процессе?

– Блюма? – презрительно проговорил старик, и на лице его появилась всегдашняя презрительная усмешка. – Этого господина я превосходно знал по Парижу. Он из богатой и вполне порядочной семьи. Вполне светский человек. Он понимает толк в искусстве, у него лучшая коллекция серебра в Париже. О, я его прекрасно знал! Но кого-кого, а его, конечно сейчас нужно расстрелять в первую же очередь, именно такие погубили Францию.

Гитлеровцы оказались к Блюму милостивее, не расстреляли, а отправили в немецкий концлагерь.

Как-то я спросил старика, ездит ли он в церковь в Вианн. На его лице появилась та же брезгливая гримаса. Он ничего не сказал, но я понял, что мой «феодал» с церковью не имеет ничего общего. Потом, засмеявшись, сказал:

– Этот священник, аббэ Пьер, всегда норовит так приехать, чтобы остаться у меня к завтраку, – в голосе его звучало то же презрение, как и к la gueuse.

С любовью старик говорил только о своей жене. Тут он мог долго рассказывать, как жену его любил весь Вианн, потому что она была слишком щедра, добра и всем помогала. И эту прихоть жены скупой старик прощал.

Ле Руа Дюпрэ был совсем непохож на дельца-капиталиста типа Форда, Рокфеллера. Это был ленивый барин с психологией феодала, искренне считавший, что трем четвертям человечества он может подать только два пальца. Для него никаких французских революций вроде как бы и не было. Он был необыкновенным обломком давно ушедшей Франции, Франции ДО 1793 года, может быть, он и задержался только для того, чтобы я его встретил и описал.

Дойка коров

С коровами я был незнаком. Вот лошади, собаки – другое дело. – «Где Рома?» – «Да, наверное, торчит на конюшне». – Верно, я постоянно «торчал» на конюшне, и у деда в Керенске (но у него было всего четыре лошади). А потом у себя в имении, где выездных у нас было лошадей двадцать: и верховые, и гнедая тройка, и рысистые со знаменитой призовой Волгой, и красавец, серый в яблоках жеребец-производитель Спич. Тут я и чистил лошадей, и кормил, и седлал, и скакал. Одним словом, я любил и знал лошадей, с лошадьми я *знаком* как

настоящий лошадник. И с собаками тоже. Каких только собак у меня не было. Но не буду о них «предаваться воспоминаниям», ибо это уведет нас от сегодняшней темы. А тема наша – коровы.

У нас в именьи их было голов больше двадцати, все бланжевые грудастые симменталы. С балкона я только видел, как пастух пригонял их с пастбища и они медленно шли в коровник, где поступали в распоряжение хитрой бабы Марьи и ее помощницы Дашки. Конечно, я заходил кое-когда в коровник, в это «царство Марьи», и видел, как ловко доила она коров, с этим стремительным, звенящим звуком молока, ударяющего в до блеска начищенные доёнки. Разумеется, я не задумывался над тем, легко или трудно Марье доить. А черт ее знает, вероятно, очень легко. Сидит такая Марья, подоткнувшись, на маленькой неуклюжей скамейке и доит, как шьет, с быстротой молнии. В России всегда доили бабы.

В шато Нодэ в первый раз я вошел в коровник с братом днем. Одиннадцать чудесных голландок стояли ко мне задом, жуя с аппетитным хрустом сено. Второй раз я зашел с испольщиком, который сдавал нам все перед отъездом. Это был итальянец, наглый по виду, наживший, как говорили, неплохие деньги. Он был льстив с хозяином-барином и нахален с посторонними. Звали его Франческо. Он был скуп на слова и малообщителен, в отличие от обычно столь разговорчивых итальянцев. Шел он со мной, указывая заскорузлым коротким пальцем на коров и называл их имена. А я записывал имена на бумажке. Странные это были имена коров, переходящих в мое «писательское владение»: Дуска, Нуаро, Кокет, Бланшет, Петит, Миньон, Нувель, Сури, Ненетт, Розали...

Перед сдачей коровы были чисто вычищены, имели «праздничный» вид. Возле красивой черной коровы с белыми задними ногами, как в белых чулках по колено, Франческо

задержался. Ухмыльнулся и сказал с нескрываемым удовольствием:

– Ну, с этой вам придется помучиться.

– А что такое?

– Не дается доить, связываем ноги перед дойкой.

– Что ж, свяжем, – сказал я, но догадался, что это должно быть не так уж легко, тем более если учесть, что я в жизни своей никогда не сидел под коровой, а только видел тридцать лет тому назад, как доила Марья, никогда, конечно, коров никаких не связывая.

«Сдача дел» была закончена. Коровы переписаны. Затем я «представил» их жене, читая (называя) их имена по бумажке. Надо сказать, что жене все коровы очень понравились. «Эта вот какая милая, посмотри!» – говорила Олечка, как будто мы были не испольщиками, а все еще пензенскими помещиками, приехавшими покупать для себя этих «милых коров».

– Как раз вот эта-то милая и не дается доить, ее связывают перед дойкой, – сказал я, невольно засмеявшись все тому же барскому умилению Олечки несмотря на перемену социальных декораций.

– Связывают? – удивилась жена. И я почувствовал не жалость к нам, кому придется, ни черта в этом не понимая, связывать эту проклятую корову, а сочувствие к «бедной корове», которой мы должны будем причинить такие неприятности.

– Да, связывают, и я не знаю, как мы все это проделаем, но проделаем.

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом», как сказал Экклезиаст. Коров доят дважды в сутки: рано утром и поздно вечером. И это неминуемо, как день и ночь, и тут нет никаких двунадесятых праздников: корми, дои каждый день – ничего не поделаешь! Клиенты – соседние крестьяне – придут за молоком ровно в восемь утра. И зная, что ферму взяли ка-

кие-то новые – русские! – придут, конечно, поглазеть на этих русских, которые, говорят, никогда и на земле-то не сидели.

По мудрому совету Сережи, решили в коровник клиентов не пускать. Ни одного. Во время дойки мы будем с коровами *с глазу на глаз*, чтобы пришедшие крестьяне не увидели, что мы не умеем доить, и чтобы этого не разболтали.

Племянник Миша встал на всякий случай у двери в коровник, чтобы говорить клиентам, что теперь за молоком надо приходить не в восемь, а в девять утра и что молоко будет выдаваться в молочной, а не в коровнике. Сами же мы заперлись в коровнике.

Эту первую свою дойку трех коров я никогда не забуду. Брат Сережа умел кое-как доить. Почему? Потому что на ферме «Пети Комон» у него было две рабочих коровы. И когда они телились – приходилось их доить, ибо телят тут не подпускают под корову, а поят из таза, с пальца. Такие уж правила. Вот он-то и должен был первый показать нам, как это делается – доится.

Я доил Дуску, Нувель и Нуаро. Дуска была чудесная породистая голландка. Белая с черным чепраком – совершенно правильным для этой породы рисунком. Причем черные пятна шерсти чуть-чуть отливали рыжеватым волосом, что тоже – признак хорошей породы. Она была рослая, легкая в походке, доброго и веселого нрава. С загнутыми книзу совсем небольшими рогами, скорее даже рожками, двумя ровными черными пятнами на белой морде. И необычайно красивыми – вот именно «коровьими»! – глазами. У обывателя, никогда не общавшегося с живой коровой, а видавшего их только на картинке или издали, нет никакого представления о красоте коровьих глаз. А коровьи глаза, оказывается, часто необыкновенно красивы – умные, слегка выкаченные и какие-то всегда грустные. Есенин, человек деревенский, понимал прелесть таких глаз и писал о любимой: «Нет лучше, нет краси-

вей твоих коровьих глаз». Особенно красивыми, осмысленными и страдальчески-печальными становились глаза у коров во время трудного отела. И в тот момент, когда мы подтаскивали к взволнованной корове еще мокрого, только вышедшего из нее теленка, чтобы она облизала его своим материнским любящим шершавым языком. О, коровьи глаза – чудесное поэтическое определение!

Так вот, первой я доил Дуску, с которой мы вскоре чрезвычайно подружились. Вымя у нее было большое, легкое, светло-розовое, с полными мягкими сосками, на одном из них – черное пятно.

Я сел под Дуску, сказал по-нашему, по-крестьянски: «Ну, Господи, благослови!». В детстве я видел, как Марья перед дойкой всегда крестила коровье вымя, мне это нравилось, как крестное знамение перед едой, и я сделал то же. Устроившись на низкой деревянной скамеечке, я зажал меж колен доёнку, смазал маслом соски Дуски и свои пальцы и потянул за сосок. Потянул, вероятно, не так (конечно не так!), как надо, и Дуска подняла левую заднюю ногу, как бы говоря: «Дурак, разве так доят!» – и, оторвавшись от сена, покосилась, едва повернув голову. Мы дали всем коровам самого лучшего сена – клевера! – навалили полные кормушки, чтобы подольститься к ним для первого знакомства. Дускин умный глаз ясно говорил: «Разве так тянут, дурак?» – «Ты не тяни, не тяни», – учил Сережа, который ассистировал мое первое выступление в качестве доильщика.

– Как же не тянуть?

– Да так, это же по-нашему, по-русски, а тут они совсем иначе доят, берут по соску в каждую руку и давят. Ты попробуй.

Я подчинился правилам французской дойки, попробовали и пошло лучше – две довольно сильных струи ударились с серебряным звоном о дно доёнки. Я вспомнил этот напори-

стый звук струи, который мне так нравился в детстве, когда я заходил в коровник. Дуска была выдоена. Под конец она вполне благодарно посматривала на меня. На надоенном молоке сверху пузырилась – как и полагается – белая взбитая пена. Так что все как будто было в порядке. Я совсем осмелел. Первая корова в моей жизни выдоена!

Катастрофа пришла со второй коровой – с низкой, неприятного вида старой голландкой Флорет. У нее было сверхъестественно большое вымя и громадные белесые соски, покрытые мелкими бородавками. Эти бородавки-то и оказались главным препятствием. Хотя не только в них было дело. Надо сказать, что у коров столько характеров, сколько на свете коров. Я узнал коров милых и добрых, злых и неприятных, ласковых и бодливых, прожорливых и скромных в еде, озорных и застенчивых. Коровы – как люди, у каждой свои особенности характера и «психологического склада». И вот, когда я после трех лет доения стал уже большим спецом в коровье-молочных делах, я увидел, что разница характеров обусловлена, главным образом, людским отношением к коровам. Грубое человеческое отношение – дает злых и грубых животных. Умное и человеческое или, так сказать, отношение «на равной ноге» воспитывает мягкость характера у животных. Так что и тут человек зачастую многое портит сам.

Флорет отказалась давать молоко новому неопытному доильщику. Как только я сдавливал ее бородавки, она стремительно и чрезвычайно ловко ударяла ногой по доёнке, пока, наконец, не опрокинула ее на пол.

Еще хуже было с той самой черной коровой в белых чулках, Нуаро, четырехлетней красавицей-брюнеткой, о которой предупреждал – вероятно, с удовольствием предвкушая баталию – Франческо. Она сразу же, безо всяких предупреждений, как только садились ее доить, била то одной, то другой ногой. Пришлось-таки применить серьезные меры воздействия. Мы с братом связали ей обе задние ноги вожжами, и

при каждой ее попытке лягнуть брат жестоко стегал Нуаро по бокам длинной лозой. Вот только так, с физическим воздействием, и удалось выдоить Нуаро.

В молочной – небольшой комнате рядом с нашим жилищем жена разливала молоко крестьянкам и детям, пришедшим за молоком. А молоко разливать тоже непросто. Казалось бы, несложное занятие, но надо уметь.

Однако все трудности дойки были только в первые дни. Скоро я узнал, почему на юге Франции доят мужчины и только мужчины: дойка – физически трудное дело, нужны сильные руки и крепкие пальцы. Женщинам это, конечно, не под силу. Так, моя жена, к своему большому горю, доить не могла. А вот жена брата, консерваторка-пианистка, оказалась хорошей доильщицей, но одной рукой.

Вскоре дело пошло так, что и клиентов стали пускать в коровник, под каким-то благовидным предлогом перенеся время раздачи молока.

«Млекаж! Млекаж!»

По утрам я всегда еду в Вианн душевно радостный. Во-первых, потому, что это – утро, а всякое утро радостно-неповторимо. Я вдыхаю полной грудью резкий, свежий, ароматный воздух. И чувствую всем телом, *что я живу*. И вовсе не потому, что cogito ergo sum. Я вовсе «не мыслю». Я ДЫШУ – значит, и существую, ощущая необычайное чудо удивления всему миру с его несказанной тайной («как не любить весь этот мир – невероятный твой подарок!»). Пока я еду – откуда-то с лугов пахнёт скошенной травой, из лесу – лесной прелью. Бидоны в прицепке позвякивают от неровности асфальтовой (давно не чиненной) дороги.

Это голодный военный 1940 год Франции. Я – молочник и разливаю молоко в Вианне «по карточкам». Во Франции все теперь стало «по карточкам». Мой велосипед совершенно

необычайного вида. Это результат войны. На шинах надеты куски старых шин (ими залатаны), а внутренние шины берегутся как зеница ока. В продаже – ни шин, ни велосипедов, ничего, немцы все угнали куда-то на север. Велосипеды стали единственным способом передвижения. Автомобилей на дорогах нет. Изредка протрясется какой-нибудь захудалый автомобильчик пятидесятилетней давности (бензин дается по самым скупым карточкам).

В реморке у меня три больших бидона молока. А молоко по этим временам – неоценимая драгоценность. Все в Вианне меня знают, все любезны, иногда даже льстивы, потому что я сейчас – большой чародей, могу дать кому-нибудь побольше, чем по карточкам. Причем наше молоко – первоклассное, не снятое, не разбавленное водой, что сейчас часто делают. Как Иван Никитич ни настаивал разбавлять молоко водой – мы (русские интеллигенты) наотрез отказались. – «Ну, тогда ничего и не заработаем, будем гнать впустую!» Но отказались все и этим даже зарекомендовали себя как поставщики самого хорошего, *цельного* молока.

В Вианне я сначала еду в чешский поселок, рядом со стекольной фабрикой. И только мне стоит со звоном бидонов спуститься с дороги в поселок, как со всех сторон с криками: «Млекаж! Млекаж!» – ко мне вихрем несутся чешские детишки, светловолосые, круглолицые, светлоглазые. Их тут много, сейчас они получат молоко, которое некоторым я даю с «прибавкой». Поэтому меня так радостно и встречают. А я к этим славянским ребятишкам почему-то особенно расположен. Вероятно, это подсознательное славянско-расовое чувство («гей, славяне!»), хотя все дети всегда были моей «слабостью» (любил и люблю детей за их натуральность, естественность). Матери моему приезду радуются не меньше детей, когда я разливаю им в кастрюли, в кувшины, в бутыли.

После чехов еду назад в Вианн, и начинается хождение из дома в дом: кому $^1/_4$, кому $^1/_2$, а кому и целый литр. Особую жалость у меня вызывала одна еврейская семья беженцев откуда-то с севера: муж, жена, двое маленьких детей. Они были тут чужеродны, с французами не сходились. Детям я старался дать чуть-чуть (как мог!) да побольше. По виду это были интеллигенты. С мужем разговаривать не пришлось, разговаривал с женой. И в один день, вся в слезах, она сказала: «На мужа не давайте... его арестовали жандармы и увезли...» – «Куда?» – «Не знаю, наверное, в Ажен...» – и заплакала.

Дня через два я напрасно стучался в их квартиру. Вышла соседка-француженка, махнула рукой и сказала: «Всех увезли... жандармы... в Ажен...» Детей и женщин увозили в Ажен, передавая немцам, а те увозили (думаю) в Германию на уничтожение... С мужчинами поступали иначе.

В резистантской книжке «Crimes de Guerre en Agenais» Жак Бриссо рассказывает, как действовало гестапо в Ажене. Здесь особым садизмом прославился некто Hanak (по прозвищу «Le Balafré»). Уроженец Франции от отца-немца и матери-польки, он о французах говорил: «Les Français me dégoûtent. Je prend plaisir àfaire souffrir cette sale race». И убивал людей бесчисленно и бесчеловечно особой «плеткой» с зашитым в нее металлом. Вот как он убил еврея Леона Когена. Заставил голого лечь на кровать животом вниз и начал стегать плеткой. Коген сначала кричал, потом стонал, хрипел, потом перестал: он был мертв. Вся кровать была в крови. После победы союзников Ханак попал-таки в руки французов (выдали из Гамбурга), и его расстреляли. По-моему, это было неумной милостью и несправедливостью к тем, кого он убил. По-моему, перед расстрелом Ханака надо было хоть одну неделю подвергать телесному наказанию его же «плетью», чтобы он *знал, что* чувствовали пытаемые и забиваемые им люди. Я ненавижу это дурацкое и гибельное «непротив-

ление злу насилием» от Льва Толстого до Александра Федоровича Керенского, развалившее Россию. Я верю в правильность положения: «Злом злых погублю».

Если гаснет свет – я ничего не вижу.
Если человек зверь – я его ненавижу.
Если человек хуже зверя – я его убиваю.
Если кончена моя Россия – я умираю, –

писала З. Гиппиус.

После раздачи молока всем клиентам я заезжаю отдохнуть к мадам Мишо – в стоящий на площади подвальный темный ресторанчик, похожий на какой-то шинок. Прислонив у кабачка велосипед к громадному каштану, я захожу, сажусь за низкий дубовый стол. И мадам Мишо – грязнейшая, какая-то веками немытая, хриплая француженка (а теперь – друг русского молочника) нацеживает мне прямо из бочонка стакан чудесного вина. Я растягиваю это удовольствие – сидеть, отпивать вино, ни о чем не думая, чувствуя, что вот сейчас я пять минут чудесно свободен. Я переговариваюсь с мадам Мишо о несложных новостях, слушая одни и те же рассказы, какой чудак и скопидом был всегда мсье Ле Руа Дюпрэ и какая милая, шалая у него была жена, бывшая актриса, которую все любили за ее доброту и широту характера, и какая она была рассеянная: в праздник Пасхи в вианнскую церковь раз приехала в двух разных ботинках – один черный, другой рыжий. Посидев так минут пять, я той же дорогой возвращаюсь в шато Нодэ. Поездка эта, в сущности, – единственное время, когда я могу о чем-то задуматься. Остальное – с раннего утра до позднего вечера: убирать коровник, вывозить навоз, поить коров, задавать им корм, бороновать, рубить дрова, мотыжить, отвести пришедшую в охоту корову к соседскому быку, полоть, опахивать маис, доить. Тут времени для задумчивости нет.

Сережа и граф

Так и шла наша испольщина день за днем. Однотонно. Но все же кое-какие «события» происходили. Заболел мсье Ле Руа Дюпрэ какой-то таинственной болезнью. Чем? Тайна. В одночасье около него появилась (и неотступно была) графиня д'Офелиз. Она-то и покрыла болезнь старика тайной. Ни графиня, ни Данте, ни Бонишон не говорили о болезни ни слова: болен, и все. Эта графиня, на мой взгляд, была воплощением ni foi ni loi: хитрая, ловкая, лживая, неприятная – она была населена злом. Полностью. Зло из нее перло! Это самый омерзительный тип животного. Вместе с ней появился и ее муж. Раньше они снимали домик в деревне. Теперь день-деньской были здесь. Граф устроил себе столярную в доме против нашего обиталища. О графе «в общем и целом»: он производил впечатление хорошее, но, конечно, кораблем их жизни правила злыдня-графиня. Приехали они из Эльзас-Лотарингии. Французская фамилия их меня удивляла: д'Офелиз. Ничего французского. И, наконец, как-то за чаем меня «осенило».

– Господа, – говорю, – да ведь они никакие не коренные французы, раз они приехали сюда из Эльзас-Лотарингии, они просто-напросто фон Хофлиц, но сейчас во Франции это звучало бы некстати, и они превратились в д'Офелизов.

– Ну конечно, – сказал Сережа.

Жены с моим открытием согласились. Но какое нам, в конце концов, дело? Фон Хофлиц так фон Хофлиц, д'Офелиз, пускай будут д'Офелиз! Правда, за глаза мы часто стали называть их фон Хофлиц.

Граф был человек вежливый, ни во что не вмешивался. Поэтому меня особенно поразило, когда Олечка вбежала в дом с криком:

– Рома, скорей беги в коровник, Сережа там хочет запороть графа вилами.

Я бросился сломя голову и что же вижу: разъяренного Сережу, наступающего на графа с грязными вилами, крича: «Ты, фон Хофлиц, будешь мне делать замечания?! Не твое дело, как я работаю! Я тебя сейчас вилами запорю!»

Граф, конечно, тоже увидел Сережину ярость, но стал у ворот коровника, не отступая. Я бросился к Сереже, схватил у него вилы: «Сережа, не сходи с ума! Прекрати это безобразие!»

И моим вмешательством безобразие кончилось. Граф пошел к себе в столярную, а я пристал к Сереже: в чем дело, что это, действительно, за безобразие? Но Сережа уже отошел и только бормотал: «Вот сволочь этот фон Хофлиц, стал говорить, что я не так, видите ли, чищу навоз в коровнике. Да какое его дело? Кто он такой? Приживал!»

Олечка и я увели Сережу домой пить чай, и тут, за чаем, Сережа совершенно отошел от своей дикой «вспышки». Эти «вспышки» были всю жизнь, начиная с «Трефка, черт, я тебя зарежу!» На этом «вилопырянии» графа не стоило бы останавливаться, если бы у него не было продолжения.

«Продолжение» состоялось вскоре, на первый день Пасхи. Чтобы не пасти в этот день коров, мы задали им хорошего сена на весь день, а сами, чисто одевшись, предались отдыху. Сережи дома не было. Я стоял у раскрытого окна нашей комнаты. День был теплый, чудесный. Вижу – из-за коровника идет Сережа, тоже чистенький, праздничный. А прямо ему навстречу граф д'Офелиз. И вдруг, к моему невероятному удивлению, Сережа идет прямо на графа. Они сходятся посреди двора, и я слышу, как Сережа говорит: «Граф, сегодня такой великий праздник, Воскресение Христово! Я знаю, что поступил в отношении вас очень плохо, очень не по-христиански и, как христианин, прошу вас в этот святой день простить меня». И Сережа вдруг заплакал.

В ответ – совсем уж неожиданно для меня – заплакал и граф. Я не разобрал, что он говорил, но вдруг посреди двора оба плачущие троекратно облобызались: «Христос воскресе» – «Воистину воскресе!» Я подозвал Олечку, чтобы она видела эту невероятную картину «христианского примирения». Потом мы спустились вниз, в нашу большую «трапезную» комнату. Сережа, войдя, уже не плакал, но вытирал глаза платком. «Ну, примирение состоялось?» – спросил я. Сережа пробормотал: «Состоялось!». Он явно не хотел об этом говорить, ведь это никак не увязывалось с его баптизмом, и от этого он, конечно, искренне страдал. Но что меня больше всего удивило в этой пасхальной истории – слезы графа. На следующий день графиня сказала жене брата: «Ваш муж вчера сделал благородный, настоящий христианский жест». А не останови я вовремя Сережину ярость, может быть, и произошло бы что-нибудь непоправимое.

Меринов

Как-то к нам за молоком из Лавардака приехал русский художник Дмитрий Меринов. Лавардак – крохотный городок километрах в семи. Меринов получил молоко. Разговорились. Нашли много общих знакомых по Монпарнасу. Меринов был завзятый «монпарно». Он с давних лет, еще с Первой мировой войны («Добровольческий корпус») приехал во Францию. На фронте был тогда в Салониках, а потом не покидал Парижа. В Лавардак приехал потому, что его жена Роза, венгерская еврейка, в Париже оставаться не могла.

Поговорили о том о сем: о «Доме», «Ротонде», все это ушло, казалось, навеки. В Лавардаке они жили на деньги Розы (у нее что-то было). Меринов же с утра до вечера писал гасконские пейзажи. Надо сказать – неплохие. У меня кое-что из них до сих пор висит в квартире.

Осмотрел он наше хозяйство и в ужасе спрашивает:

– Но как же вы можете *это* выдержать? Ведь это же каторга, настоящая каторга! Тут ни одна мысль в голову не полезет!

– Да и не лезут. Как? Живут же люди в концлагерях, но у меня все-таки жизнь здесь лучше концлагерной.

– Ну, если сравнивать...

Так и приезжал он к нам часто за молоком. Но однажды ночью – мы спали с Олечкой в комнате на втором этаже, окна выходили во двор, к подъезду дома – я вдруг сквозь сон слышу как будто звук небольшого камешка, брошенного в оконное стекло. Олечка тоже проснулась. Но мы не встали, думали – померещилось. Второй бросок в окно, уже посильнее. Встали. Подхожу к окну и вижу около дома двух велосипедистов, Меринова и Розу. Меринов зажигает велосипедный фонарь и говорит вполголоса:

– Прости, пожалуйста. Спустись, надо поговорить.

Это была уже глубокая ночь. Что-то накинув на себя, я вышел. Меринов взволнованно говорит:

– Получили точные сведения, что немцы в ближайшее время займут Лавардак и Нерак.

(Это был разгар немецкого наступления на востоке – до Сталинградской битвы.)

– Ты понимаешь, что это значит для Розы? Я как-то еще скроюсь у знакомых французов, но Розу надо спрятать. И мы думаем, что лучше всего – у вас. Но, конечно, не в доме, а где-нибудь на сеновале... А я буду искать более подходящее место.

– На сеновале? Хорошо! Но там не очень-то комфортабельно.

– Тут дело о жизни идет, какой уж там комфорт.

Мериновы перепуганы были до смерти, да это и понятно. Я взял электрический фонарь, и мы пошли к сеновалу.

– А откуда эти сведения?

– Это серьезно... из жандармерии...

Поднялись на сеновал. Роза, вероятно, видела сеновал впервые в своей жизни. Как-никак устроили ей место. И Меринов уехал.

Олечка ждала, сидя на кровати. И когда узнала про Лавардак и Нерак, сразу же сказала:

– Ведь это опасно и для тебя из-за «Ораниенбурга».

– Конечно, опасно. Я возьму некоторые рукописи и черновик «Ораниенбурга» и попрошу их спрятать у доктора Валя´ (Valat). Валя´ был правый человек, ненавидел коммунизм, склонялся к фашизму. К нам он относился очень хорошо. Так это и сделали. Рукописи пошли к нему. Националист до мозга костей, Валя´ говорил: «Я люблю только французов и хороших людей любой нации».

Но вскоре, к нашему облегчению и облегчению Розы (она была весьма претендательна), Меринов нашел для нее не сеновал, а комнату в квартире доброй, чудесной женщины, Мадлен Дюверже, собственницы лавки в Фегароле, и ночью я отвел туда Розу.

Шпейер из Тулузы

Как-то я в Нераке встретил милейшего фон Зельгейма, и, хватаясь за голову, он сказал:

– Ах, Роман Борисович, и зачем вы написали этот «Ораниенбург»! Ведь вы знаете, какие немцы дошлые, они до всего докопаются, и тогда вам несдобровать.

– Вы, конечно, правы. Это может случиться. Но тут знаете, кого я больше побаиваюсь? Русских. Донесут. Вот, например, эта компания вокруг Тищенко, да и другие могут просто так – «для удовольствия».

– Конечно, могут, конечно.

Когда я возвратился из Нерака домой, Олечка в волнении говорит:

– Знаешь, Рома, приезжал Рябцов и приглашал на обед-собрание. Говорит, это будет встреча с трупфюрером русских в Тулузе, с каким-то Шпейером. Очень звал. Обязательно, говорит, приходите. Шпейер сделает доклад.

Тут я ощутил некоторую опасность – русский немец, трупфюрер русских эмигрантов в Тулузе – Шпейер. Вероятно, какая-нибудь сволочь. А русское окружение будет все из людей-подлиз к прогитлеровцам. И кто-нибудь, конечно, может указать, что метайеры из Нодэ «за союзников», а это привлечет к нам внимание трупфюрера.

День обеда со Шпейером приближался. И я не скажу, чтоб эта «дата» нас не беспокоила. Оступиться было легко. Не пойти – нельзя, этим еще больше привлечешь к себе внимание трупфюрера. А идти – страшновато.

Мы всё обсуждали: идти или не идти? Но я решил, лучше уж рискнуть и идти, чем не идти, ибо заговорят сейчас же, почему Гули не пришли? И вот тут-то могла (в этом я был уверен) открыться дорога к моему «Ораниенбургу». Решили идти. И пошли.

До Рябцова было близко. Пришли. Все уже в сборе. Все очень хорошо, по-русски – стол накрыт на двадцать персон. Тут и «водочка», и «селедочка», и вино – все как надо. Но открытого прогитлеровца Тищенко, который скоро собирался ехать в Киев получать назад свои мельницы, чтоб пустить их в ход, слава Богу, нет. Это ощутилось уже как облегчение. Остальные были безобиднее, да и биографии моей не знали.

Рябцов меня тут же представил Шпейеру как «героя „ледяного похода“». Но, главное, Шпейер оказался совсем иным, чем я представлял себе «трупфюрера». Я представлял себе трупфюрера по Ораниенбургу – как грубого хама. В Шпейере ничего этого не было. Высокий, худой, по-военному выправленный, в черном френче, черных галифе и высоких сапогах. Очень привлекательный, приличный «белый офицер». Меня

посадили за столом рядом с ним. Мы сразу же разговорились, и я увидел, что это хорошо воспитанный, приятный человек. Ни о Гитлере, ни о каких прогитлеровцах – ни слова. Олечка, поглядывая на нас и видя наш дружеский разговор, сразу успокоилась. После «водочки» и «закусочки» все разогрелись, потеплели. И я понял, что для Шпейера гадости – не специальность. При прощании – он ушел раньше нас – мы расстались совершенно дружески. Всякие подозрения и страхи как рукой сняло.

– Он милый, этот Шпейер, – сказала Олечка, когда мы вышли от Рябцова.

– Очень. Хорошо воспитанный, это вам не Тищенко со своими киевскими мельницами. Хорошо сделали, что пошли.

Но и в Вианне, и в Лавардаке, и в Нераке все еще была скрытая напряженность. Слухи усиливались, что через некоторое время немцы займут все эти города.

У нас было прекрасное радио, и по вечерам, слушая из Лондона Би-би-си, мы были в курсе военных событий. Вдруг в один прекрасный вечер узнаем: Сталинградская битва выиграна Советами. Результат победы сказался тут же и на нас. Вместо того чтоб занимать Лавардак и Нерак, немцы стали спешно перебрасывать все свои резервы на восток. И слухи о занятии Лавардака и Нерака отпали. Так меня, «завзятого врага советчины», спасла Сталинградская победа. Я был рад.

А тут еще такой странный случай, о котором говорила вся округа: неизвестный немецкий солдат покончил жизнь самоубийством – привязал себя ремнями к велосипеду и на этом велосипеде среди бела дня прыгнул в реку. Конечно, утонул. Наверное, это был хороший человек, которому вся эта человеческая идиотская кровавая колошматина стала невыносима до того, что он предпочел трагедию самоубийства. Это говорило о том, что между гитлеровцем и немцем нельзя ставить знак равенства. Немцы баграми вытащили труп и увезли.

Болезнь Ле Руа Дюпрэ

О болезни Ле Руа Дюпрэ мы узнали от графини д'Офелиз. Она сказала: «Если вам надо будет о чем-нибудь спросить, обращайтесь ко мне. Мсье Ле Руа Дюпрэ болен, и его беспокоить нельзя».

На мой вопрос: «Чем же болен мсье Ле Руа Дюпрэ?», последовал ответ: «Тяжелой болезнью». И все. Разговор кончен. Графиня появлялась ежедневно с самого утра и не отходила от больного целый день. Еще будучи в здравом уме и твердой памяти, мсье Ле Руа Дюпрэ говорил мне, что прямой наследник – этого замка и всей земли – его племянник, лейтенант маркиз де Помпиньян, находящийся в немецком плену. Но, увы, не знаю, как и почему, после смерти мсье Ле Руа Дюпрэ шато Нодэ и вся земля неожиданно перешли в собственность этой напористой графини.

Напористая графиня получила все. Маркизу де Помпиньян я видел. Она приезжала. Удивительно интересная, красивая брюнетка, с прекрасными манерами, хотя, как я потом узнал, она была дочерью испольщика в имении маркиза де Помпиньян. Графиня по внешности годилась ей в горничные. Оказалось, что маркизе де Помпиньян были оставлены какие-то вещи, которые должна была ей передать графиня. Но маркиза, ничего не взяв из «оставленного» ей, уехала. Победителями остались все та же графиня и ее безвольный муж.

Ротмистр Рустанович

Человек часто искренне не понимает, что к чему в его жизни. И хорошо, что не понимает. Например. Как-то после тяжелой работы в поле, а потом дойки коров я выхожу из коровника и иду в наше обиталище. Вижу, с дороги к нам съезжает на велосипеде фигура. Пожилой человек. Я сразу

догадался, что он русский. За спиной у него что-то непонятное, при приближении оказавшееся гитарой в чехле. «Кого это черт принес? – злобно подумал я. – Хотел отдохнуть, так нет, какой-то старый черт с гитарой». А подъехавший уже слез с велосипеда и со светской улыбкой идет ко мне.

– Простите, вы Роман Борисович или Сергей Борисович? Я ротмистр Рустанович. Буду рад познакомиться. Приехал к вам издалека. Из Кастельжалю. Мне давно говорили, что здесь живут русские, вот и хочу повеселить вас цыганским романсом. «Да что он, в уме?» – подумал я, но, выдавив из себя гримасу вежливости, сказал:

– Очень рад. Пожалуйста, мы как раз будем чай пить.

– Ну, вот и прекрасно, а я повеселю вас цыганским романсом.

Вошли в нашу кухню-столовую, все уже в сборе. Рустанович целует дамам ручки, рассыпается старосветскими комплиментами. Все это производило не только странное, но и смешное впечатление. После чая он слегка отодвинулся от стола и вынул из чехла гитару.

– Ну, – говорит, – разрешите, я вам спою что-нибудь наше, цыганское, любимое.

Мы со всех сторон: «Пожалуйста, пожалуйста». И дребезжащим голосом он запел: «Не уходи, побудь со мною...»

«Черт бы тебя драл вместе с твоим „побудь со мною“», – думал я. Ни петь, ни играть толком Рустанович не умел, к тому же он был уже далеко не молод. Я никак не понимал, к чему же, в конце концов, приведут эти цыгане-романсы? Но вот как человек не знает судьбы и не в силах понять смысла происходящего. Так и мы не предполагали, что цыганеромансы Рустановича дадут хорошие и нужные нам результаты.

Рустанович рассказал нам, что он живет вместе с женой в известном замке Ле Санда (Le Sendat) у мсье Мобургет. У

замка этого масса мэтэри – семнадцать. Но две из них пустуют. И Мобургет, узнав о нашем существовании, очень хочет, чтобы мы взяли одну из них. Он говорил об этом с Рустановичем. И тот приехал сюда с гитарой.

– О вас я узнал от Мяссарош, – сказал Рустанович. – Вы знакомы с Мяссарош?

– Нет, кто это?

– Ах, это милейшие люди. Русские венгры, большая семья. Они живут недалеко, в Лавардаке, и очень дружат с мадам Вигурё. А Вигурё вы знаете?

– Нет, у нас одиннадцать дойных коров, и кроме коров мы ни с кем не знакомы. Времени нет.

– Как жаль, как жаль! Вам обязательно надо с ними познакомиться. Мадам Вигурё – дантистка, русская еврейка, рожденная Мандельштам, замужем за французом.

Я понял, что и тут есть не только Рябцов, Кайдаш, милый Уварыч, но и свое «высшее общество».

– Ну вот, – продолжал Рустанович, – когда я узнал от Мяссарош о вашем существовании, я очень обрадовался и говорил с Мобургетом. Мы с ним очень хороши, моя жена работает у них в шато. Мобургет хотел бы, чтоб вы взяли его свободную мэтэри Пайес, – он богач, даст все нужное, пару быков, дойную корову, необходимые орудия производства.

Рустанович под секретом даже рассказал, что Мобургет, как и многие богатые французы, боится, что после войны начнется революция, и хочет иметь метайерами приличных людей, которые его не разграбят. От имени Мобургета Рустанович и предложил нам приехать посмотреть свободную ферму Пайес и, если она подойдет, взять ее в испольщину.

Это было как раз нам на руку, потому что через несколько месяцев срок договора в шато Нодэ кончался и оставаться с этой сволочной графиней у нас не было никакого желания, да и у нее, наверное, тоже. Так что мы уже с удовольствием

прослушали еще один романс – «Я давно тобой мечтаю». Перед отъездом Рустанович, закинув за спину свою гитару, рассказал нам дорогу в шато Ле Санда, куда Сережа решил поехать завтра же, договариваться с Мобургетом. Распрощались с певцом дружески.

– Вот вам и выход из положения, – проводив Рустановича, сказал Сережа.

– Да, как будто бы, хоть и претерпели мы множество «цыганс-романсов».

Злыдня действует

Редко я встречал более отвратительных людей, чем эта графиня. Неожиданно для всех став собственницей шато Нодэ и зная, что через шесть месяцев наш контракт кончается, она повела на нас атаку. Первое, что она сделала, это попыталась пустить нас «нагишом». Она подала на нас в суд, обвинив в нерадивости, лени, безделии; мы, мол, запустили пашню, молочное дело и вообще «разрушаем» ее владение.

Суд всегда дело серьезное. А тут ты – бедный испольщик, да еще иностранец. Не один вечер мы просидели с Сережей, собирая доводы для ответа в суде на все обвинения. А фактические данные были таковы: мы увеличили поголовье скота на семь голов (семь телят, которых мы с Олечкой выкормили с пальца). Пашня, которую Сережа увеличил на два гектара, подняв целину. Качество молока, приезжавшим собирать его чиновником, было оценено как «исключительно высокое». Собрали мы с Сережей еще кое-какие положительные факты нашей испольщины и решили, что я поеду в Нерак к мэру города, адвокату, радикал-социалисту Курану, и попрошу его защиты. Я предполагал, что радикал-социалист Куран, приятель Гастона Мартена, тоже масон. К тому же я узнал, что

Куран терпеть не может графиню, так как у него был когда-то с ней конфликт.

Я хотел, чтобы на суд ехал Сережа, но он категорически отказался. Так что на суд пришлось ехать мне. Но сначала я поехал к Курану. На сто процентов я не был уверен, что Куран масон, но на девяносто процентов – да: из-за его дружбы с Гастоном Мартеном, да и потому, что радикал-социалисты в подавляющем большинстве были масонами.

Едучи в Нерак, я думал: сделать ему масонский знак или нет? Решил не делать: во-первых, все-таки я не был уверен, что он вольный каменщик, а во-вторых, стеснялся. Решил сказать только о своей дружбе с Гастоном Мартеном и что встречал его на рю Кадэ.

Куран – небольшой, круглый – принял меня любезно. Когда я ему рассказал фактическую сторону дела, он согласился выступить в нашу защиту. Гонорар назначил небольшой (наверное, помогло упоминание о моей дружбе с Мартеном).

В день суда я приехал в Нерак, конечно, взволнованный. Меня, «метека», будет судить французский суд. Рядом с графом сидел ловкий неракский huissier (судебный пристав), для того чтобы немедленно привести постановление суда в исполнение.

В зал суда вошел судья – совсем молодой человек. Увидев графа д'Офелиза, он подошел к нему и сказал, что учился в университете и дружил с неким д'Офелизом – не родственник ли он графа? Граф ответил, что это его сын. И тут начались расспросы о сыне, смех, рукопожатия. Я почувствовал, что я пропал.

Наконец судья занял свое кресло, открыл заседание и прочел мне, в чем я и моя семья обвиняемся: в небрежении, в приведении хозяйства в негодность и так далее. Читал он это обвинение довольно долго. И закончил его словами: «Что вы

можете сказать в свое оправдание?» Тут я думал, что выступит мэтр Куран. Но нет, он сказал:

– Мсье Гуль, расскажите все, что вы можете, об этих обвинениях.

И вот свершилось некое чудо. Мой французский язык был далеко не безукоризненным, тем более выступать надо было перед французским судьей, французом-huissier, мэтром Кураном и безмолвно сидящим графом. Но надо так надо. И я заговорил, заглядывая в бумажку, которую мы составили вместе с Сережей, чтоб не ошибиться в цифрах и фактах. Kurz und gut. К моему собственному удивлению, я чувствовал, что говорю гладко, точно, хорошо и если ошибаюсь, то в пустяках. Я говорил долго. И вдруг почувствовал, что между мной и судьей, который упорно смотрел на меня, пролегли некие скрепы. Он слушал меня напряженно, иногда что-то записывал. Но я почувствовал каким-то шестым чувством, что он мне верит. К тому же я приводил конкретные факты и цифры. И когда, устав, я кончил, извинившись перед «Его Честью» за то, что говорил так долго, к чему меня вынудила взведенная на нас чистая ложь, я сел, отирая со лба пот. Судья дал слово мэтру Курану, моему адвокату, который, к моему удивлению, сказал одну лишь фразу, а именно, что после «замечательной» (так и сказал) речи своего подзащитного, мсье Гуля, ему нечего добавить. Тогда судья обратился к «юисье» и к графу д'Офелиз: «Что вы можете представить в опровержение приведенных мсье Гулем доказательств?» Граф и «юисье» коротко пошептались, после чего «юисье» заявил, что они воздерживаются от выступления. Молодой судья обратился ко мне:

– Мсье Гуль, все обвинения, выдвинутые против вас, отпадают. Я объявляю судебное заседание закрытым.

Я был на вершине радости, говоря про себя: «Есть еще во Франции правосудие!» Я был счастлив, так счастлив, что трудно передать. Ко мне подошел мэтр Куран.

– Почему же вы не выступили? – спросил я.

– Вы произнесли совершенно замечательную речь, – ответил он.

– Но мой французский...

– Ваш французский был совершенно превосходен. Я вас поздравляю! Это было блестяще, и после вас мне действительно не нужно было ничего добавлять.

Я пожал руку мэтра, поблагодарил его и вышел из здания суда необычайно облегченным. Сел на велосипед и поехал в Нодэ.

Надо ли говорить, что вся семья была просто в восторге от такого оборота дела. Ведь если бы мы «проиграли», этот самый чернявый, сухой судебный пристав тут же бы начал приводить постановление суда в действие, то есть выгонять нас с фермы, чтоб «пустить нагишом».

Но когда человек сволочь, это непоправимо. Вскоре графиня встретила меня на мэтэри и сообщила, что ей кажется, что некоторые коровы очень похудели, и она поэтому вызвала ветеринара, чтобы он всем коровам сделал прививку от туберкулеза.

– Я думаю, что это напрасно, но это ваше право, – сказал я. Злыдня хотела нас добить не мытьем, так катаньем.

Приехал ветеринар. Я ему помогал. Он сделал прививку всем коровам. Увы, ни одной туберкулезной не оказалось. Думаю, эти прививки влетели мадам в хорошую копеечку. И чтоб доставить себе удовольствие, встретив графиню через несколько дней, я с улыбкой сказал этой стерве:

– Как видите, мадам, все коровы здоровы. Прививка, наверное, обошлась вам дорого.

Со «светской выдержанностью», как будто ничего не случилось, мадам Сволочь ответила: «Но надо же было проверить, ведь мы же продаем молоко... детям».

– Да, продаем, но не туберкулезное, как вам, вероятно бы хотелось, – и я невежливо пошел прочь.

Все эти наступления на нас графини оказались только прелюдией к самому главному – к дележу урожая и приплода. За это время мы с Сережей побывали у Мобургета в его шато Le Sendat, ходили с ним на запущенную и пустующую ферму Pailles и договорились, что вскоре на нее переедем. По сравнению с графиней Мобургет был простак и симпатяга. Он был человек очень деловой, богатый, на испольщиках нажиться не собирался. Ему важно было только, чтобы земли его не превращались в целину. Мы ему подошли еще и тем, что были порядочные люди, которые никаких гадостей ни при каких обстоятельствах не сделают. Все нужное для хозяйства он давал: двух бурых гигантов-быков для пашни, молочную корову для нас и орудия производства. Разрешил привести и свою корову, если захотим. Так что все было в порядке, и мы с толстяком Мобургетом подписали контракт, поблагодарив Рустановича и познакомившись с его милой женой.

Дележ

Итак, день дележа урожая перед нашим уходом настал. Я допускал все от мадам Сволочи, но не догадался все-таки, что она еще придумает. Когда мы с Сережей в полдень пошли на дележ, то увидели рядом с графиней и всегда молчаливым графом какого-то человека. Я его сразу узнал: это был макиньон из Нерака, известный своим жульничеством и коллаборантством с немцами. По виду этот мсье Боннэ не был похож на француза – громадного роста, очень крепкий, красивый и

вместе с тем совершенно бесцеремонно наглый. Мешки с пшеницей делить было просто, и все же «макиньон» таскал каждый мешок на весы. «Ну, таскай, – думал я, – это для тебя хороший спорт».

Но когда начался дележ скота, произошло нечто, что и Сережу и меня взорвало. Не обращая никакого внимания на нас, будто нас тут и нет, будто мы к этому не имеем никакого касательства, «макиньон», разговаривая только с графиней, стал отбирать лучших коров и лучших телят и отводить их в сторону. Я взорвался. Взглянул на Сережу. Вижу, и он уже «взорван». Тогда я сказал ему по-русски:

– Давай прекратим это безобразие! Заявим, что мы с таким дележом не согласны и уйдем домой, пусть что хотят, то и делают, за это они ответят!

– Да, давай! – ответил Сережа.

И, обращаясь к графине, я сказал:

– Простите, мадам, но мы мсье Боннэ не приглашали. С его дележом мы не согласны, а потому прекращаем всякий дележ и уходим.

– Как же так? – растерявшись от неожиданности, произнесла графиня.

– А вот так! Делите сами, как хотите, но имейте в виду, что за все вам придется отвечать в суде!

И мы, не желая слушать никаких доводов мсье Боннэ, отвели всех телят в хлев, а сами ушли домой. В окно я видел, что Боннэ и графиня о чем-то возбужденно говорили, но потом макиньон сел на велосипед и отправился восвояси. А графиня с мужем, продолжая о чем-то взволнованно разговаривать, пошли в замок. Такого оборота дела они никак не ожидали от этих «метеков». Я знал, что у них на примете уже есть другие метайеры, но пока мы оставались здесь, они не могли ни въехать в наш дом, ни войти в коровник, чтоб доить коров или кормить телят. Своим отказом от дележа мы по-

ставили их в трудное положение. Но и нам хотелось покончить дело с графиней-Сволочью возможно скорее. Что же было делать? Сережа в этом вопросе инициативы не проявлял. И я решил поехать в Вианн посоветоваться со своим приятелем-французом, мсье Дюжаном – владельцем единственной галантерейной лавки в городке. Ему я возил молоко для его семьи и был с ним в хороших отношениях.

Оседлав велосипед, поехал. Дюжан был веселый француз, любитель всяких прибауток и двусмысленностей. Я застал его в магазине, сказал, что хотел бы с ним поговорить по серьезному делу. Я знал, что к графине д'Офелиз он относится больше чем прохладно.

Дюжан завел меня в небольшую заднюю комнату. Я ему все рассказал и просил совета: что сейчас делать? Дюжан задумался.

– Мсье Гуль, я понимаю ваше положение. И по другим делам знаю, что графиня д'Офелиз далеко не Богородица. Я дам вам совет. Но только при одном условии: чтоб никто не знал, что это я посоветовал. В особенности графиня. У меня торговое дело, и я не хочу ни с кем ссориться.

Я заверил Дюжана честным словом, что все его советы останутся «между нами». И вот он мне посоветовал: ехать в Нерак к его другу, мсье Марти: «Расскажите Марти все как есть!» Марти, бывший полицейский, исключительно порядочный человек, он никогда не подведет. Он часто занимается такими «адвокатскими» делами и все удачно устраивает.

Одним словом, на другой день я был уже в Нераке у мсье Марти. Спокойный, умный, деловой и – мне почувствовалось сразу – хороший человек, Марти согласился вмешаться в это дело. И на другой же день приехал к нам.

Я показал ему коров и телят. Рассказал, как маклак Боннэ собирался все это делить. Марти понял с полуслова. И когда

я попросил его стать «делителем» между графиней и нами – «на ваш дележ мы заранее согласны», – он ответил:

– Хорошо. Я пойду сейчас к графине д'Офелиз и поговорю с ней. Думаю, все будет в порядке.

Вернувшись от графини, Марти сказал:

– Все в порядке. Она согласилась, чтоб я был «арбитром».

И через три дня под руководством Марти (арбитра действительно беспристрастного) дележ прошел без сучка и задоринки. Графиня была тиха и со всем согласна. Как нашу долю, мы получили одну дойную корову и четырех чудесных телят, которых продали соседу Шокару. Кроме того, благодаря Марти мы получили одну молодую нестельную, черно-белую породистую Маркизу, которую решили взять с собой на Пайес. Так мы наконец отбились от отвратительной графини фон Хофлиц-д'Офелиз, которая от злобы и жадности все старалась пустить нас из шато Нодэ нагишом.

Пайес

Всю свою жизнь Мобургет был управляющим большими поместьями, владельцы которых жили в Париже или в Ницце. Со временем Мобургет купил одно из управляемых им поместий – шато Ле Санда с старинным замком времен еще Людовика XIV, с башнями, бойницами, глубоким рвом, через который были перекинуты живописные мостики. Замок был очень красив и в полном порядке.

При замке было семнадцать мэтэри: на пятнадцати батрачили испольщики-итальянцы, а две пустовали. Вот одну из них, называвшуюся Пайес, мы и взяли. Она была очень запущена, бо́льшую площадь ее составляла целина. Мобургет дал нам все необходимое. Двух гигантов (я таких никогда прежде не видел), бурых баффало, одну молочную корову для нас. Другую, Маркизу, мы привели с собой, как и своих

двух рабочих коров. Привезли своих кур, кроликов, так что теперь мы уж ели не «только пшеницу». У нас было все, как у всех крестьян.

Дом был просторный, большой, с камином. Дрова можно было рубить свои. Пайес стоял на опушке леса на изволоке. С него был далекий вид: вся крошечная деревенька La Reunion, а вдалеке – куда мы ездили на велосипедах за продуктами – городок Кастельжалю, примерно такой же, как Нерак.

Когда я познакомился с мадам Мобургет, она пригласила меня как-нибудь зайти, посмотреть замок внутри. Я, конечно, с удовольствием пришел и увидел, что мадам Мобургет (умная, деловая женщина, совсем из простых и, как мне сказали, страшно скупая) сидит в кухне. Но кухня гигантская, и на всех стенах до блеска вычищенная медная посуда. Я сделал мадам Мобургет и ее кухне комплимент.

– Да мы и живем, собственно, в кухне, только спать уходим в спальню, – сказала она. И повела меня осматривать замок.

Комнат в трехэтажном замке – неисчислимое количество. И все обставлены всяческой дорогой стариной. Я видел, что мадам Мобургет показывает мне все это богатство с удовольствием. Показывая еще одну из спален, сказала, что здесь спал когда-то маршал Тюренн. Рассказывала какие-то истории из времен Людовика XIV, но я плохо слушал. Должен сказать, что путешествие по этому громадному, красивому замку мне доставляло удовольствие. И я видел, что это было и удовольствие мадам Мобургет, обладательницы этого «счастья».

В Пайесе жизнь наша стала много легче, чем в Нодэ. Только я побаивался за Сережу. На своих бурых буйволах бросился он, как безумный, поднимать целину. И зачем? Здесь можно было работать исподволь. Но Сережу не удержишь. А у Сережи, как мне казалось, силы поддаются. Он стал худее, нервнее, и я боялся за его здоровье. Замечали это

и его жена, и Олечка. Но все уговоры и убеждения, что здесь, мол, мы можем немного «отдохнуть» с двумя молочными коровами, курами, кроликами, были безрезультатны. Сережа только сердился, и остановить его было нельзя: во всем был виноват Густав Эмар и баптизм. И это было неисправимо...

Изредка к нам приезжали Рустановичи – муж и жена – к чаю. Изредка и мы бывали у них. Иногда приезжали Сережины друзья-баптисты, из которых особенно приятен был мсье Бертран из-под Нерака. Мягкий, красивый, с черной вьющейся бородой, с темными глазами, с очень приятным голосом, он был истинный, природный христианин. И единственно он действовал на Сережу успокоительно. На все «жалобы» Сережи, что ни я, ни Олечка не следуем баптизму, Бертран мягко говорил:

– Дорогой брат, это ничего не значит, они очень хорошие люди, и я за них ежедневно молюсь. Молиться надо, вот и все, а спорить не надо.

Однажды прибежал к нам испуганный сосед и стал рассказывать, что немцы (тогда они уже уходили из Франции) вступили в Кастельжалю и хотят оккупировать город. Слух этот нас, конечно, взволновал. Но страшен черт, да милостив Бог. К счастью для всех, мэр города Кастельжалю свободно говорил по-немецки. И он тактично всячески отговаривал немцев от занятия Кастельжалю. Все же городок был бы занят, если бы не «счастливое обстоятельство». Командир немецкого отряда спросил мэра: «Где здесь в Кастельжалю баня?» Мэр ответил, что в Кастельжалю бань нет. Немец остолбенел. И это решило все дело: отсутствие бани спасло Кастельжалю от занятия его немцами. Немцы решили не останавливаться в этом «некультурном» городке.

Знание мэром немецкого языка и отсутствие городской бани спасли Кастельжалю от занятия немцами. Немцы

ушли. Но мэру эти переговоры стоили жизни: на другой день он умер от сердечного припадка.

Здесь, в Пайесе, я и застал конец Второй мировой войны. Помню, я пас коров на большом лугу, почти примыкавшем к дому. Из дома выбежала Олечка, радостно крича:

– Рома, Рома, война кончилась! Сейчас по радио сказали, что Берлин капитулировал.

И тотчас же зазвонили все колокола во всех церквах. Звон несся из Кастельжалю. И у нас, в Ля Реюньон. По радио мы знали о капитуляции Италии, о высадке в Нормандии, о капитуляции в Реймсе. И все-таки весть о капитуляции Берлина меня радостно потрясла.

Олечка села рядом со мной на траву:

– Какое счастье, что эта идиотская война кончилась! – проговорила она.

– Да, счастье, большое счастье, – сказал я, глядя на коров, с таким же наслаждением жевавших траву, как и до капитуляции.

– Теперь надо собираться в Париж, – сказала Олечка, – но туда сейчас, наверное, трудно будет добраться.

– Да, надо. Все-таки отработали четыре с половиной года испольщины! Хватит.

Париж

И снова «въезд» в Париж. Но на этот раз въезд очень трудный. Отовсюду в Париж ехала масса народа. Билеты брали с боя. Мне помогло – как это ни странно – мое удостоверение о том, что я сидел в немецком концлагере (оно было переведено на французский). Кассир, оказалось, знал и немецкий и, когда я ему сунул эту бумажку, он сразу же дал билеты. Но и в вагон сесть было нелегко, все переполнено выше божеской меры. А мы ехали не только с чемоданами,

но и с котом Бимсом, которого Олечка ни за что не хотела бросить. Он у нас на ферме родился, она его выкормила. Кот был, правда, чудесный, серый и большая умница.

Ехали мы на деньги, вырученные от Petit Caumont. Сосед-итальянец давно жаждал приобрести эту ферму (межа к меже с ним), чем увеличивал доходность своей фермы, получал хороший виноградник, а из нашего обиталища – как он сказал – он сделает коровник и займется разведением скота. Для скота обиталище было *вполне подходящее*, как раз! Он легко дал 35.000 франков, которые мы разделили с Сережей пополам. И на первое время в Париже могли неплохо устроиться. К счастью, мы нашли себе квартиру в том же доме на 253, рю Lecourbe, правда, теперь уже на пятом этаже, без лифта, одна комната и кухня. Но для нас и это был рай. С первых же слов консьержка – мадам Laval – рассказала, как за мной дважды приходили немцы. Бошей она ненавидела лютой ненавистью. Оба раза она сказала, что мы давно, еще до войны, куда-то уехали, и она совершенно не знает куда.

Но что боши меня искали (теперь я ей сказал почему), послужило к нашей большей дружбе. Она всю войну скрывала своего юношу-сына, не позволяла ему даже днем выходить на улицу. А дома он жил за какими-то баррикадами: м-ме Laval боялась, что проклятые боши увезут его в Германию на работу.

Итак, мы в Париже. Первый, кому я позвонил, был Я. Б. Рабинович: хотел узнать, жив ли он и как пережил войну?

Да, Я. Б. жив и здоров, жил там же, на рю Рейнуар. Он тут же пригласил меня к себе, сказав, что у него будет и А. Н. Пьянков.

О себе Я. Б. рассказывал кратко (он не любил длиннот), что всю войну был руководителем Резистанса (еврейского). Этот резистанс сливался с русско-эмигрантским, который дал своих героев из Музея человека – Левицкого, Вильде (казнен-

ных нацистами). Позднее сливался и с коммунистическим, которым руководил коммунист-чекист Михаил Михайлович Штранге (собственно, фон Штранге). Штранге был из московских дворян. Но сей М. М. стал коммунистом сразу же после Октября. На границе Швейцарии и Франции в Савойе, его отец и мать, приехавшие из СССР, снимали замок, якобы «пансион» для отдыхающих, на самом же деле это была явочная квартира коммунистов-сопротивленцев. Туда приезжали и другие сопротивленцы. В частности, там бывал и Я. Б. и рассказывал, какие кулебяки, пироги, пельмени и другие «русские вкусности» подавались у Штранге.

Я. Б. был все тот же. Спросил меня, состою ли я еще в ложе «Свободная Россия»? Я сказал, что нет. Ко мне приезжал «досточтимый мастер» сей ложи Григорий Забежинский, просил посещать собрания и, в частности, объяснил, что ложа эта переименована теперь просто в «Россию». – «Почему же это?» – спросил я. Забежинского я знавал еще по Берлину. Он был русский еврей, у него был на Пассауэрштрассе книжный магазин (назывался, кажется, «Универсальная библиотека»). Был он человек недалекий, писал бездарные стихи и рецензии, но любил играть роль «литератора». В масонство, в ложу «Свободная Россия» вступил одновременно со мной. Теперь он был чрезвычайно надут и польщен, что после смерти Маргулиеса, Гершуна и других стал «досточтимым мастером». По Пьянкову, это был самый типичный «Иван Ильич Перепелкин». А перемену названия ложи он объяснил тем, что в слове «свободная» было нечто «антисоветское», теперь же, когда после войны СССР превращается в «свободную страну» (так и сказал!) – «Мы сочли правильным отбросить слово „свободная“».

Я ответил, чтоб они не считали меня членом ложи, что я состоять в масонстве больше не хочу. Он уговаривал, но я был

категоричен и сказал, чтоб на масонском языке считали меня «заснувшим».

Я знал, что в Париже в связи с победой начался «угар патриотизма», от чего я хотел всячески уберечься, не встречаясь с «угорелыми».

Выслушав мой рассказ, Я. Б. (наперебой с Пьянковым) стал уговаривать меня вступить к ним в «Юпитер» в звании «мастера», каким я и был в «Свободной России». Я отказывался. Но «напор» их был чрезвычаен, оба говорили, что в «Юпитере» я не встречу ничего неприятного, ибо ложи шотландского ритуала совсем иные. В конце концов, в одно из посещений Я. Б. я, хоть и «против сердца», но дал свое согласие. Я. Б. был доволен, ко мне он был искренне расположен. Рад был и А. Н. Пьянков.

И я вступил в ложу «Юпитер», но с первых же заседаний почувствовал, что, кажется, промахнулся, попал из огня да в полымя. Я. Б., несмотря на ум, образованность, остроумие, обладал одним недостатком: он любил везде «сглаживать углы». И меня не предупредил, конечно, что многие члены «Юпитера» в «угаре патриотизма» превратились в отъявленных сов-патриотов. Я увидел (не у Я. Б. и не у Пьянкова) с первого же собрания этот «совпатриотизм». И представлял этот «совпатриотизм» (в его крайней степени), как ни странно, сам «досточтимый мастер», адмирал Д. Н. Вердеревский, сразу вызвавший у меня полное душевное отталкивание.

Адмирал Д. Н. Вердеревский был в годах, но бодрый, по-военному выправленный, говорил он тоже по-военному, словно отдавал приказы; никаких компромиссов, как военный, не любил. Человек был умный. В былом одно время он был во Временном правительстве морским министром. Это был тот тип человека, с которым я никак не мог бы хоть как-нибудь сойтись. Его «просоветизм» пёр из него. И в безапел-

ляционном виде. Про себя я подумал: и зачем я дал себя уговорить Я. Б. и Пьянкову, тут у меня дело не пойдет.

«Просоветскими» оказались и братья Ермоловы, в особенности Дмитрий, вошедший в просоветскую группу, созданную в Париже М. Л. Слонимом под названием «утвержденцев». Вместе с Вердеревским точно такими же ярыми «просоветскими» были тогда многие «досточтимые мастера», видные масоны: И. А. Кривошеин, ген. Н. Л. Голеевский (в Первую мировую войну бывший русский военный атташе в Вашингтоне); не называю других, некоторые, как, например, Л. Д. Любимов, оказались просто советскими агентами. Правда впоследствии большинство таких «совпатриотов», будучи высланы из Франции министром внутренних дел Жюлем Моком, здорово заплатили за свой советизм – тюрьмами, ГУЛАГом, смертями. Но засвидетельствуем: в послевоенном Париже в масонстве «просоветизм» пышно цвел.

Несколько раз я говорил об этом с Я. Б., но он, конечно, «сглаживал углы», уверяя меня, что все это образуется, что это «не так страшно». Рассказывал, что сам несколько раз предупреждал И. А. Кривошеина «не сидеть под портретами». На общих масонских собраниях И. А. Кривошеин часто сидел под портретом «генералиссимуса Сталина». «Не сидите под портретами, это вас до добра не доведет», – говорил ему Я. Б. Но Кривошеин выступал на общих масонских собраниях «под портретами», где рядом с Рузвельтом и де Голлем висел, конечно, портрет «генералиссимуса» Сталина (разбойника с Каджарского шоссе). И предупреждения Я. Б. на него не действовали, он хотел выступать именно под портретом Иосифа Виссарионовича.

Помню, как на одном из выступлений Кривошеина недалеко от меня сидел заслуженный масон, председатель Союза объединения русских лож, наместный мастер ложи «Астрея»

князь В. Л. Вяземский и во время речи Кривошеина громко, на весь зал, несколько раз сказал: «Бедные масоны... бедные масоны... бедные масоны...»

Но это был глас вопиющего в пустыне. Просоветизм в масонстве дошел до того, что среди масонов стал распространяться слух, что в СССР тоже скоро создадутся масонские ложи и что всякий запрет с масонства будет снят. И я удивляюсь, почему Сталин не проделал такой «трюк» с масонством, не приказал создать масонские ложи во главе с Молотовым как «досточтимым мастером», Кагановичем, как «братом оратором», Ягодой – как «братом дародателем», Хрущевым – как «братом, охраняющим входы». Ведь было же создано в СССР «кагебешное евразийство» и действовало чрезвычайно успешно. Но такого «масонского анекдота-трагедии» все-таки не произошло.

В противоположность мне, нередко идущему на резкости, может быть даже и ненужные, Я. В., как я говорил, был сторонником «англосаксонского» компромисса и меня убеждал, что все это «просоветское» в масонстве – дело преходящее. Но меня не так легко было улялякать. И я решил дать Вердеревскому и иже с ним некий отпор.

Мой уход из масонства

В это время по-французски вышла знаменитая книга Артура Кёстлера «Даркнесс ат нун» (по-французски название было хуже – «Ноль и бесконечность»). Я прочел ее и этот «Мрак в полдень» буквально потряс меня. Это была первая книга, психологически верно, убедительно и убийственно передававшая всю суть советского тоталитаризма. И остро ставящая вопрос – личности и тоталитаризма. Вот я и решил предложить Вердеревскому, что в ложе «Юпитер» я прочту доклад на тему «Darkness at noon». Вердеревский, конечно,

сразу же запротестовал, притворно говоря, что такой доклад может внести «раскол среди братьев». Но я стоял на своем, утверждая, что, во-первых, свобода слова – один из краеугольных камней масонства, а во-вторых, роман Кёстлера – это яркая защита свободы человека, его личности, что тоже является и масонским девизом («свобода, равенство и братство»). Но Вердеревский был упрямее меня. И на доклад мой наложил «вето». Тогда я письменно заявил, что если доклад мой будет запрещен, я уйду совсем из масонства, и разослал всем видным русским масонам письмо-протест. Я послал С. Г. Лианозову, А. Альперину, П. А. Бурышкину, В. Е. Татаринову кн. В. Л. Вяземскому, М. М. Тер-Погосяну, П. Кобеко, В. Аитову П. Я. Рысс и другим. Это окончательно взбесило адмирала Д. Н. Вердеревского, не привыкшего к сопротивлению и твердо ведшему «советскую линию». И хоть в это время в ложе «Юпитер» произошла инсталляция и он уступил место «досточтимого» Б. Н. Ермолову, «душой» ложи оставался все-таки адмирал Вердеревский, а оба Ермолова танцевали под его дудку.

В моем архиве сохранилась большая переписка по этому делу, больше шестидесяти страниц. Я печатаю здесь только небольшую часть ее, но вполне характеризующую атмосферу сего печального инцидента, приведшего меня к окончательному уходу из масонства «и ныне, и присно, и во веки веков».

2 октября 1946 г.

Дорогой Дмитрий Николаевич,[2]

Простите, пожалуйста, что не сразу отвечаю на Ваше любезное письмо. Причиной тому – занятость большой литературной работой. Спасибо Вам за предложение работать в «Юпитере» на офицерских должностях. Но, к сожалению, я не могу принять Вашего предложения. Я не только не могу занять какой-нибудь пост в ложе,

[2] Ермолов.

но даже не вижу для себя возможности вообще участвовать в общих работах «Юпитера». Поэтому я предпочитаю «заснуть». Так как я хочу, чтоб все братья ложи знали о причинах, меня к этому вызывающих, то в первую свободную от работы минуту я напишу на имя досточтимого мастера письмо, мотивирующее мое поведение.

Шлю Вам сердечный привет! *Роман Гуль*

17.10.1946г.

Дорогой Роман Борисович!

Ваше письмо от 2-го октября меня очень огорчило, т. к. из него можно вывести заключение, что Вы не верите, что при новом составе руководителей «Юпитера» может измениться не нравившееся Вам направление Л... и ее работ.

Мы с Вами давно уже знаем друг друга, и я ожидал от Вас большего доверия к моим председательским качествам. Прошу Вас до разговора со мной никаких решений не принимать и сообщить мне, когда мы могли бы встретиться и побеседовать по-хорошему. Назначьте удобный для Вас день, лучше всего часа в 4–5, где-нибудь в укромном кафе, вроде того же Champigneul'a, где мы весной сидели.

Жму руку и желаю всего доброго,

Ваш искренне *Дм. Ермолов*

17-го октября 1946 года,
Париж

Досточтимому мастеру ложи «Юпитер»[3]
Б. Н. Ермолову.

Дорогой брат и досточтимый мастер,

Пишу Вам, хоть и не знаю, остались ли Вы досточтимым мастером ложи «Юпитер». Если Вы таковым не остались то очень прошу Вас передать это мое письмо Вашему брату, занявшему эту должность. Хотя, думаю, что содержание этого письма будет небезынтересно и Вам.

---

[3] Борис Н. Ермолов вскоре уступил место «досточтимого мастера» своему брату, Дмитрию Н. Ермолову. – *Р. Г.*

Несколько времени тому назад брат первый страж, Дмитрий Николаевич Ермолов, известил меня письмом, предлагая занять офицерскую должность и войти в организационную комиссию. Я ответил отказом вообще участвовать в работах ложи «Юпитер» и обещал ему объяснить мое поведение письмом на имя досточтимого мастера. Это я и делаю.

Прежде всего скажу, что в этом письме я хочу быть совершенно – по-братски – откровенен. Пусть не посетует на меня за эту откровенность кто-либо из братьев. Положа руку на сердце, думаю, что это правильный путь.

Я отказываюсь участвовать в работах ложи «Юпитер» потому, что не хочу быть в ложном и духовно двусмысленном состоянии. Опыт прошлогодних работ ложи меня убедил, что они, по моему искреннему ощущению, имеют некий уклон, который в своих корнях стоит в разительном противоречии с главными устоями масонства. К моему сожалению, этот чуждый духу вольных каменщиков уклон в работах ложи исходил всегда от ее ведущей головки, а именно от братьев, занимающих офицерские должности: Вердеревского 1-го, Ермолова 1-го, и других.

Во всех выступлениях названных братьев, когда мы касались основных и совершенно, казалось бы, бесспорных для вольных каменщиков вопросов – о свободе человека, о гуманизме, о политических свободах, о демократии, – со стороны этих братьев эти вопросы никогда не встречали безоговорочного и обязательного для вольного каменщика принятия. Более того, в высказываниях этих братьев всегда «сквозило», а в некоторых случаях и просто утверждалось сочувствие к враждебной масонству тоталитарной идеологии, то есть к идеологии сталинского коммунизма. Вполне понимая, что такие взгляды имеют право на существование в профанском мире, я, как вольный каменщик, отказываю им в праве на существование в нашей среде. Вне режима демократии, ограждающего свободу человека, масонство немыслимо фактически, и вне гуманизма масонство немыслимо духовно. Я думаю, что эту простую истину не надо доказывать никому из вольных каменщиков. Быть же масоном и сочувствовать идеологии, масонство уничтожающей, масонство преследующей, масонству враждебной, – это

вредный и нестерпимый парадокс. Никаким духовным жонглерством его нельзя ни оправдать, ни даже просто сделать понятным. А ведь некоторые братья (например, на завтраке в Клиши) в упор высказывали свои симпатии к «Сталину и партии». Именно эти настроения ведущей головки ложи сделали то, что Вами, досточтимый мастер, по политическим соображениям был снят в нашей ложе мой доклад о книге Артура Кёстлера «Ноль и бесконечность».

Ощущая путь ложи «Юпитер» как духовно двусмысленный, внутренне противоречивый и уклоняющийся от путей истинного масонства, я с ложей поэтому идти не хочу и не пойду.

Эта духовная невозможность моей работы в ложе усугубляется еще и другими факторами. Будучи консеквентными прокоммунистами, некоторые братья нашей ложи не так давно взяли советские паспорта. Столь профанское, полицейское явление не могло бы, конечно, даже быть обсуждаемо в среде вольных каменщиков, ибо не по паспорту мы знаем истинных масонов. Но есть некое привходящее обстоятельство, которое не может не встать перед совестью всякого вольного каменщика. Лица, взявшие советские паспорта, подписали обязательство «всеми силами защищать существующий в СССР режим», не страну, а именно РЕЖИМ. Как же тут быть?

Повторяю, что в профанском мире добровольное принятие на себя положения восторженного раба существовать может. Но может ли ВОЛЬНЫЙ КАМЕНЩИК обязаться защищать режим, который является наиболее ужасающим по своей тоталитарности, наиболее чудовищным по террористическому произволу и НАИБОЛЕЕ ВРАЖДУЮЩИМ СО ВСЕМИ ЗАВЕТАМИ МАСОНСТВА? Я считаю, что добровольно отказавшийся от своей ДУХОВНОЙ свободы и обязавшийся защищать ЭТОТ РЕЖИМ НЕСВОБОДЫ вольный каменщик не имеет права восклицать на наших собраниях: «Свобода, равенство и братство!». Это было бы оскорбительным лицемерием в отношении нашего древнего возгласа. Я считаю также, что этим людям, КАК НЕСВОБОДНЫМ, не может быть открыт доступ в наш храм.

Вот, досточтимый мастер, причины, которые делают для меня невозможным участие в работах ложи «Юпитер». А посему прошу Вас, дорогой брат, считать меня «заснувшим». Но я просил бы Вас

огласить мое письмо на ближайшем собрании братьев, ибо в нашей ложе многие братья мыслят так же, как и я, и ощущают также некий духовный недуг в теле «Юпитера».

С приветом вольного каменщика!
Роман Гуль

25.10.46г.

Дорогой Роман Борисович,

Я получил копию Вашего письма, адресованного Д... М... Вашей Ложи. Позвольте, прежде всего, поблагодарить Вас за осведомление. Тот факт, что Вы сообщили Ваше письмо некоторым братьям, не принадлежащим к составу Д... Л... «Юпитер», показывает, что Вы считаете этот вопрос выходящим за пределы одной только Вашей Ложи. К сожалению, такое заключение правильно. Вопросы, поднятые в Вашем письме, обсуждаются в данный момент едва ли не всеми братьями, к сожалению, исключительно в кулуарных разговорах. Против этого последнего метода я всегда энергично протестовал и буду протестовать. Я считаю, что столь важные вопросы, касающиеся оценки самих принципов масонства и соответствия братьев таковым, должны обсуждаться по-масонски, т. е. в ложах и с полной откровенностью и полной свободой мнений. Отказ от обсуждения означает выдачу самим себе масонского «свидетельства о бедности», о нашей неподготовленности к высокому званию вольного каменщика. Поэтому я полагаю, что Вы были правы, когда эти вопросы формально подняли. С большой радостью я могу констатировать, что в моей ложе «Астрея» сохранилась полностью основная масонская традиция – полная свобода мнений.

Теперь по существу Вашего письма. Я не думаю, что масонство связано с каким-либо одним определенным политическим строем, одним мировоззрением, одной философской системой. Будучи сам убежденным демократом, считая, что демократия в ее правильном понимании является в настоящее время наилучшей политической системой – несмотря на все ее недостатки, заключающиеся, главным образом, в неполноте осуществления ее принципов или в отступлении от таковых, – я все же думаю, что ее нельзя рассматривать как самую совершенную и потому конечную форму

человеческого общежития. Теоретически мыслимы и иные формы, быть может более совершенные. Во всяком случае, критика демократии, пускай самая беспощадная, но объективная, вполне законна, так как она неразрывно связана с самим существом демократии и является непременным условием ее развития и исправления недостатков.

Тем не менее, невозможно отрицать, что в то время, как одни политические режимы неблагоприятны для самого существования масонства или вовсе его исключают, то другие дают ему, говоря языком биологов, «оптимум условий» уже по одному тому, что они, хотя бы и не в совершенной форме, воплощают в социально-политической жизни масонские идеи и принципы. Такой «оптимум» создает для масонства именно демократия – для доказательства достаточно обратиться к истории.

Демократия в большей степени, чем какой-либо другой строй (строго исторически она является в этот отношении единственным строем), допускает свободное искание истины, неразрывно связанное со свободой критики и ограждением прав на любые мнения. Вне свободного искания истины и свободной критики – даже если признать за ними только методологическое значение – масонство, в том виде, в каком оно сложилось за последние столетия, немыслимо. С другой стороны, если даже признавать тоталитарные режимы – фашистские или коммунистические – за совершенные и справедливые, делая при этом ударение на их цели и закрывая глаза на средства осуществления таковых, если даже поверить, что их партизаны искренне хотят путем освобождения человека от материального рабства утвердить в эсхатологическом будущем свободную человеческую личность, то и при этих допущениях масонство и тоталитаризм всех видов и названий – несовместимы.

Идеологи тоталитаризма уверены, что они нашли абсолютную истину – в виде «железных законов истории», – что они ей и следуют, а потому и оправдывают (что философски правильно) все те методы, которые они применяют для ее достижения. С этой претензией масонство принципиально согласиться не может, не изменяя своим основам. На абсолютную истину у вольных каменщиков могут быть только два взгляда, по существу сходящиеся. Мы гово-

рим, что абсолютная истина нам не дана и даже не может быть достигнута, что мы можем только стремиться к ней как к пределу, что пути, к ней ведущие, многообразны и относительны и каждый из них законен. Поэтому, с нашей точки зрения, «средства» никогда не могут быть оправданы «целью», не говоря уже о том, что необходимость «оправдания» ставит под вопрос моральный характер «средств». Другие из нас говорят, что абсолютная истина дана только в Боге, что наш путь заключается в бесконечном приближении к Богу и исполнению Его законов.

Тоталитарные режимы, веря, что им уже дана абсолютная истина, вполне справедливо полагают, что всякие дальнейшие искания ее, к тому же вне «генеральных линий», не только не нужны, но даже вредны как для «ищущего», так и для окружающих. Точно так же не нужна и вредна всякая критика. При наличии абсолютной истины продолжение ее исканий ведет только к ересям, уклонам и соблазнам, к тому же бессмысленным и неосуществимым. Если быть верным сыном католической церкви, то нельзя усомниться в непогрешимости папы – такие сомневающиеся должны быть извергнуты из лона церкви. Вполне справедливо, что всякие «ищущие» и всякие «критики» должны быть физически или духовно устранены из лона государства или коллектива, руководители которых являются хранителями и толкователями нового «откровения».

Такова, по моему мнению, философская сущность спора между масонством и тоталитаризмом (фашизмом или коммунизмом). Я не вижу способов, как перекинуть хотя бы «мостик» через разделяющую их пропасть, и я искренне не понимаю, как можно быть «правильным» масоном и поклонником современных тоталитарных режимов. Тут или недоразумение, непонимание сущности масонства или сущности тоталитаризма (а быть может, и обеих сущностей одновременно), или же просто лицемерие. Хочу верить, что в нашей среде преобладает первое явление.

Эту точку зрения о непримиримости масонства и коммунизма я высказал лет пятнадцать тому назад в одном «левом» масонском журнале в Берлине. Редакция, в которой тогда были весьма сильны коммунистические симпатии, отнеслась к моему произведению без всякого восторга, но, тем не менее, его напечатала, не найдя масон-

ских возражений против моей аргументации. На этой точке зрения я стою и теперь. Думаю, что, несмотря на различие формулировок и разность поставленных ударений, по существу мы с Вами сходимся.

Но у меня несколько отличная от Вашей точка зрения на второй из поднятых Вами вопросов – могут ли быть вольными каменщиками те, кто взял советский паспорт и обязался при этом защищать существующий в СССР строй. Боюсь, что Вы меня обвините в некотором формализме. Конституция Андерсена запрещает нам при приеме в ложу спрашивать о национальной принадлежности, следовательно, и о том, какой паспорт имеется у стучащегося в двери Храма. Я думаю, что от этого принципа мы не имеем права отказаться – именно по нашей верности масонству. Вместе с тем я, не только как демократ, но и как масон, отрицаю за каким-либо государством нравственное право обязывать всех своих граждан защищать существующий в данный момент политический или социальный строй. Полагаю, что на моей точке зрения стоял бы даже коммунист, если бы, в качестве американского гражданина, его обязали бы защищать капиталистический строй в Соединенных Штатах.

Так же, как и Вы, я считаю, что безоговорочная клятва верности советскому строю во всей его (sic) полноте противоречит тем клятвам, на основании которых мы были приняты в Орден и которые нами были многократно повторены при прохождении по градусам. Эти последние клятвы мы дали добровольно, без всякого принуждения. Советская клятва верности требовалась как условие получения русского гражданства, то есть неотъемлемого права каждого родившегося в России. Поэтому эту вторую клятву я считаю необязательной. Если мне пришлось бы взять советский паспорт и подписать такое обязательство, то я счел бы себя им морально несвязанным и действовал по тому же принципу, по которому во время немецкой оккупации евреи давали вынужденные клятвы, что они являются христианами.

Брат, сначала поклявшийся в верности Ордену, а потом советскому строю, ставит сам себя перед альтернативой: или быть нелояльным масоном, или нелояльным советским гражданином. Если он такой альтернативы не понимает, то надо попытаться ему ее

разъяснить. По вышеуказанным соображениям я верю, что истинный масон таковым и останется – и будет, следовательно, нарушителем советской клятвы. За это обвинять его нет оснований... Но вот если во время наших работ выяснится, а это не может не выясниться, что он верен советской клятве и изменяет клятве вольного каменщика, тогда и только тогда мы имеем право поставить вопрос о его пребывании в нашем Храме.

В заключение два замечания уже личного характера. Вы нашли в себе мужество настоящего вольного каменщика, чтобы поставить на обсуждение вопрос, от решения которого зависит самое существование русского масонства (я имею в виду масонство по существу, а не по названию). Но затем, не дождавшись обсуждения, Вы впали в некий несвойственный Вам «дефэтизм» и объявили себя «заснувшим». Если Вы считаете, что ведете борьбу за правое дело, то Вы обязаны ее продолжать и ни на один момент, ни под каким видом не покидать Вашего боевого поста.

И наконец – я не имею чести состоять членом Д... Л... Юпитер» и потому не считаю себя вправе судить о царящих в ней условиях. Но я очень хорошо знаю только что ушедшего в отставку Вашего Д... М... Б. Н. Ермолова, равно как и его брата, Д. Н. Ермолова, ныне возглавляющего Л... «Юпитер», – по моему глубочайшему убеждению, оба они верны Ордену и только Ордену. Для них обоих масонские клятвы являются первыми, основными и единственными.

Позвольте выразить уверенность, что ни Вас, ни меня никто «от масонства не отставит», что мы с Вами и впредь будем служить по мере наших сил и возможностей его основным заветам и принципам – на благо человечества и во имя утверждения свободной человеческой личности, тем самым во славу В... С... В...

Искренне Вас уважающий и любящий
Вл. Татаринов

26.X.1946

В... Л... Бр... Роман Борисович,

Простите, что по переобремененности моими проф... и мае... делами, я отвечаю на Ваше письмо от 17 с. м. с таким запозданием.

Письмо Ваше и сопровождающие его обстоятельства будут предметом обсуждения на ближайшем собрании Адм... Комм... Д... Л... Юпитер, которое состоится 31-го с. м. на 8 ru Puteaux, в 6 час. вечера. Вам надлежало бы присутствовать на нем лично.

С бр.. приветом Д... М... *В. Ермолов*

16.11.46
Париж

Дор... бр...

Я получил Ваше письмо от 14/2/46, оно произвело на меня грустное впечатление. Оно, как и первое Ваше письмо, пропитано полемикой, каковой, по моему мнению, можно было бы избежать в масонских суждениях. Я не думаю, что Вы правы, когда утверждаете, что «в масонстве братские отношения нередко заменяются лицемерно-братскими отношениями». Конечно, в масонстве также возможны единичные случаи, на которые Вы указываете, но это отнюдь не может быть поставлено в вину масонству. Это явление, неизбежное и весьма, к счастью, редкое, относится лишь к лицемерным масонам и в общем не изменяет атмосферы братских и искренних отношений среди громадного большинства масонов. Вы верно указываете, что «у этих людей нет подлинного братского духа и таковового же друг к другу отношения», но, по моему мнению, эти прискорбные, конечно, исключения могли бы не привлекать к себе столь интенсивного Вашего внимания – эти явления осуждаются всеми истинными масонами; и не Ваши мысли по существу затронутых Вами вопросов вызвали «некий взрыв не братских и не масонских чувств», как Вы констатируете, а именно резкая форма, пропитанная полемическими приемами. Я не удивляюсь нисколько, что Вы получили целый ряд ответных писем «с искренними сочувственными отзывами», но думаю, что Вы могли бы сделать Ваше выступление открыто в одной из лож путем Вашего доклада или сообщения по этому поводу, подвергнув его коллективному обсуждению.

В заключение несколько слов pro domo sua. Полученный Вами мой ответ на Ваше первое письмо не является «циркулярным», как Вы предполагаете, и он предназначен только для Вас. Вы получили

оригинал моего письма, а копию я оставил для архива. Я никому этого письма не рассылал. Спешу также Вам ответить, что это письмо написано и составлено мною лично, и ни с кем из бр... бр..., о которых Вы упоминаете в Вашем письме от 17 окт. с. г., я не совещался.

С бр... пр... *Ст. Лиан(озов)*[4]

ноября 1946 года,
Париж

Дор... бр... Дмитрий Николаевич,[5]

Вот уже несколько дней, как я болен. Поэтому не мог быть на собраньи 16-го ноября. Посылаю Вам письмо, которое я написал Вам давно, но из-за болезни не мог его отправить:

Дор... бр... Дмитрий Николаевич,

Пишу Вам как досточтимому мастеру ложи «Юпитер».

Собранье адм... ком... от 31 октября, рассматривавшее мое письмо к дост. маст. Б. Н. Ермолову, произвело на меня гнетущее впечатление. За 11 лет моих масонских работ я никогда не присутствовал на подобном собраньи. Так как такое же впечатление от этого собранья вынесли многие бр... бр..., с которыми я говорил, то, дабы избежать этого впредь (на собраньи 21-го ноября), позволяю себе изложить Вам, что именно произвело на меня столь тягостное впечатление.

На мой взгляд, причинами, давшими удручающий тон этому собранью, были небеспристрастность ведшего это собранье бр. Б. Н. Ермолова, а также немасонский характер некоторых выступлений бр... бр..., упомянутых в моем письме от 17 октября.

I. Пристрастность бр... Б. Н. Ермолова выразилась хотя бы в следующем. Открывая прения по поводу моего письма бр..., Б. Н. Ермолов заявил, что, по его мнению, это «недоразуменье»

---

[4] Степан Георгиевич Лианозов, быв. премьер-министр Северо-Западного правительства при ген. Юдениче. Думаю, что все это «правительство» составлялось «союзниками» из масонов (Лианозов, Маргулиес и др.). – *Р. Г.*

[5] Ермолов.

произошло оттого, что я «мало работал в ложе, редко посещал собранья и никогда не брал слова за агапами». Это заявление настолько не соответствовало истине, что поставило в тупик не только меня, но и многих других бр... бр... Естественно, что оно вызвало мой протест, в результате которого бр... Б. Н. Ермолов тут же взял свои слова обратно и принес мне публичное извинение, которое я и принял. В судах такой метод употребляется прокурором как попытка «дискредитации обвиняемого». Но на масонских собраньях такие методы, конечно, вряд ли возможны.

II. Неправильность созыва собранья. Когда я спросил бр... Б. Н. Ермолова, почему на это собранье не приглашен бр... Я. Б. Рабинович, бр... Б. Н. Ермолов не мог ничего ответить, а бр... Д. Н. Вердеревский с места сказал: «Это совершенно неважно, он все равно не ходит на собранья». Думаю, что такое заявление бр... Д. Н. Вердеревского не может служить достаточным основанием к неприглашению заслуженного бр... нашей ложи Я. Б. Рабиновича, как известно, одобрившего первую половину моего письма к бр... Б. Н. Ермолову (до вопроса о советских паспортах). Неприглашение бр... Я. Б. Рабиновича было тем более странным, что на этом заседании адм... ком... присутствовал, выступал и голосовал бр... П. Д. Вердеревский, НЕ СОСТОЯЩИЙ членом адм... ком...

III. Нарушение свободы слова. На этом собраньи был нарушен самый принцип свободного высказыванья. Когда я в своем ответном слове сказал, что получил ряд сочувственных моему выступлению отзывов от бр... бр... других лож, это сразу же вызвало протесты с мест бр... бр... Вердеревского 1-го, Ваши, Б. Н. Ермолова и других и заявления о том, что «нам неинтересны мнения бр... бр.. других лож»! А когда я все-таки хотел огласить выдержки из этих писем, то ведший собранье дост... мает... Б. Н. Ермолов заявил, что он этого мне не разрешает. К сожаленью, Вы, Дмитрий, Николаевич, чрезвычайно активно к этому присоединились, протестуя против моей попытки огласить полученные мною сочувственные отзывы. Тут я даже позволю себе восстановить в Вашей памяти незначительный, но очень характерный для атмосферы собрания и Ваших личных наст роений штрих. Когда я, настаивая на оглашении письма бр В. Е. Татаринова, назвал бр. В. Е. Татаринова «дост...

мает... ложи «Астрея», Вы с места перебили меня заявлением, что это неверно, что бр... В. Е. Татаринов является просто «бр... ложи «Астрея». И Вы и я хорошо знаем бр... В. Е. Татаринова и его выдающееся положение в нашем Ордене, знаем также, что в течение ряда лет бр... В. Е. Татаринов состоял дост... мает..., а потому и Ваше выступление я могу только рассматривать как попытку «дискредитировать свидетельские показания» перед бр... бр..., не так хорошо знающими бр... В. Е. Татаринова. Нам, масонам, это, конечно, не к лицу. Привожу этот штрих только как характеристику немасонских методов борьбы против на этом собраньи.

Несмотря на бурные протесты всех упомянутых в моем письме бр... бр..., я все-таки продолжал настаивать на оглашении сочувственного письма бр... В. Е. Татаринова ко мне, и на Ваши яростные (не нахожу другого слова) возражения с места я спросил Вас: «Знаете ли Вы содержание письма бр... В. Е. Татаринова, против оглашения которого Вы так возражаете?» увы, Вам пришлось признать, что и Вы и Ваш брат Б. Н Ермолов знаете содержание этого письма. Тогда, ответив Вам, что Вы протестуете против оглашения этого письма именно потому, что Вы знаете его содержание, я потребовал поставить вопрос о желательности его оглашения на голосование. И тут, когда раздались голоса бр... бр... «почему ж не огласить письмо?», бр... Б. Н. Ермолов, избегая голосования, согласился на оглашение письма бр... В. Е. Татаринова. Но огласить выдержки из писем других бр... бр... я так и не мог из-за запрещения председательствующего бр... Б. Н. Ермолова. Констатирую, что свобода слова на собраньи амд... ком... была нарушена председателем, бр... Б. Н. Ермоловым при поддержке всеми заинтересованными в этом деле бр... бр...

IV. В ведении собрания были допущены неправильности. После окончания прений, которые были, в сущности, гильотинированы бр... Б. Н. Ермоловым под давленьем бр... Д. Н. Вердеревского, бр... Вердеревский предложил проголосовать резолюцию. Он формулировал ее устно, сказав: «Вы голосуйте, а я ее потом напишу». Эта устная «резолюция» кончалась следующими словами: «... Что же касается до обвинений в письме некоторых бр... бр..., то собранье адм... ком... этим просто пренебрегает». Председательствующий

бр... Б. Н. Ермолов эту «устную» резолюцию уже поставил на голосование, когда я запротестовал, потребовав, чтоб резолюция была написана. И бр... Д. Н. Вердеревский 1-й согласился написать. Но увы, когда он ее написал, то текст ее оказался ИНЫМ, о «пренебрежении» не было ни слова. Думаю, что этот факт «устных резолюций» достаточно остро говорит о пристрастности и неправильности ведения собрания.

V. Голосование резолюции было произведено неправильно. Тогда как я, как «сторона в деле», естественно воздержался от участия в голосовании, бр... бр..., упоминаемые в моем письме, являющиеся тоже «стороной в деле», все голосовали за предложенную ими же резолюцию. Прецедент этому я видел только один.

Не очень давно на собраньи писателей один новый советский гражданин сам себя предложил в председатели и сам тут же голосовал за себя.

И последнее: в какой степени на этом собраньи были выявлены немасонские настроения бр... бр... Я позволю себе напомнить Ваши реплики мне. Когда я, отвечая бр... Д. Н. Вердеревскому, упомянул, что в Советской России в концлагеря загнаны миллионы и миллионы людей, Вы, как и бр... бр... Ваши единомышленники, стали перебивать меня бурными заявлениями с мест. Вы, Дмитрий Николаевич, закричали: «Откуда у Вас такие сведения?!» Будучи поставлен буквально в тупик такой репликой на масонском собрании от заслуженного масона, каким являетесь Вы, я ответил Вам вопросом: «А у Вас разве нет таких сведений?» Вы ответили: «Нет!» На это я ответил Вам: «И после этого Вы считаете себя масоном?! Стыдитесь!».

Излагая Вам факты, свидетельствующие о крайне немасонской атмосфере этого собранья и о крайне неудачном его ведении, я делаю это только в одном желании, чтобы наше собранье от 21 ноября, на которое назначен обмен мнений по поводу моего письма, протекало бы в более беспристрастном и более масонском тоне.

Обвиняя других бр... бр..., каюсь и я, что, отвечая на выступления их, я был тоже не по-масонски резок. Но, увы, это потому, что я был ИЗУМЛЕН, что теперешние собранья масонов могут принять столь неподобающий им стиль.

С бр... приветом *Роман Гуль*

Вторник 19 ноября 1946

Дорогой Роман Борисович,

Мне нужно повидаться с Вами в самом срочном порядке и, если только состояние Вашего здоровья Вам позволяет передвигаться, сегодня же вечером, часов в 9:½.

Не могу, к сожалению, приехать к Вам сегодня вечером: у меня распухла нога (доктору удалось вылечить печень и перебросить болезнь на ноги, я радуюсь), мне трудно будет к Вам добраться. Буду Вас ждать у себя.

В четверг мне не удастся присутствовать на собрании, но в субботу 16-го было посвящено Вам специальное заседание, на которое я был приглашен. Мое выступление радикально переменило «климат» и изменило намечавшуюся резолюцию. Для окончательное реализации необходима наша сегодняшняя беседа и Ваша встреча с Павлом Вер.[6]

Дружески Ваш *Я. Рабинович*

Выпись из протокола семейного собрания Д...Л...

«Юпитер» 21 ноября 1946 г.

Постановили:

1. Д... М... был вправе не допустить доклад бр... Р. Б. Гуля в соответствии с его, Д... М..., оценкой данного момента, опасаясь возможности раздора в Д... Л... и в соответствии с §§1 и 23 конституции В... Л... Ф...
2. Д... Л... полагает, что у бр... Р. Б. Гуля все-таки не было никаких действительных данных считать, что руководящие братья Д... Л... «Юпитер» ведут ее по тем или иным направлениям политического характера.
3. Д... Л... сожалеет, что бр... Р. Б. Гуль не обратился лично к Дост... М... для выяснения тревожившего его вопроса.

[6] В ложе «Юпитер» был какой-то Вердеревский 2-й. Но я его никогда не видел. – *Р. Г.*

Paris, le 4 Janvier 1947

Дор... Бр... Роман Борисович!

По поручению Д... М... сообщаю Вам, что Д... Л... «Юпитер» постановлением своим от 26 минувшего декабря согласилась на увольнение Вас в отставку из числа ее членов.

Однако, вследствие требований § 152 Общ... Уст... В... Л... Франции, отставка эта получит законную силу лишь после погашения Вами числящегося за Вами долга по обязательным взносам для Вел... Л... Франции за 1946 год, к чему Вам надлежит принять должные меры.

Адрес бр... казначея, Бориса Леонидовича Покровского: 6, rue Anatole France, Clichy (s).

С бр... к Вам чувствами остаюсь секр... (*подпись*)

Д... Л... согласна принять в принципе прошение бр... Р. Б. Гуля о выходе его из членов Д... Л... «Юпитер», оформив его в соответствии с § 152. Regl... Gen... de la Gr... L... de Fr...

С подлинным верно. *Секретарь* (*подпись*)

Этим и кончилось мое масонство.

Совпатриоты и коллаборанты

Русский послевоенный Париж являл сумбурную и неустойчивую картину. Угоревших от совпатриотизма открыто (и тайно организационно) поддерживало советское посольство. Оно выпускало газету «Русский патриот» (1945), быстро переименовавшуюся в «Советского патриота» (1945–1948), редактором которой был не кто-нибудь, а известный старый эмигрант, профессор-историк Д. Одинец (уехал в СССР и где-то сгинул). Советское посольство создало и «Союз совпатриотов» (официально – «Союз советских граждан») под почетным председательством совпосла-чекиста А. Е. Богомолова. А в «Союзе» большую роль играл старый эмигрант, бывший белый офицер, бывший узник Бухенвальда, заслуженный масон Игорь Александрович Кривошеий.

Выпускались и более «либеральные» «Русские новости» под редакцией А. Ф. Ступницкого, бывшего долголетнего сотрудника «Последних новостей». В «Русских новостях» начали сотрудничать некоторые старые эмигранты-писатели и журналисты – Г. Адамович, А. Бахрах и другие.

Заманили в газету и В. А. Маклакова (но ненадолго, однадве статьи). Писал иногда Н. А. Бердяев. Это как раз об этих его писаниях Г. П. Федотов сказал в Нью-Йорке: «Ослепший орел, облепленный советскими патриотами».

В. А. Маклаков в это время ходил с визитом к послучекисту Богомолову в окружении с ним согласных старых эмигрантов. В обращении к совпослу он сказал: «Мы восхищались патриотизмом народа, доблестью войск, искусством вождей и должны были признать, что все это подготовила советская власть, которая управляла Россией... Нужно работать для взаимного понимания и примирения...»

После этого «хождения» в каком-то частном доме бывший ротмистр Артамонов не подал Маклакову руки. Правда, в своей «Каноссе» В. А. быстро разочаровался.

В «Русском патриоте» напечатали «знаменитую» предсмертную статью покойного П. А. Милюкова «Правда большевизма» с восхвалением Сталина и его диктатуры. Милюков писал: «Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые привели к ней».

Просто страшно и странно вспоминать сейчас эти анекдотически постыдные и политически нелепые факты, когда вся эта акция чекистов по уничтожению эмиграции давно выявилась. Но в 1945 году, когда мы с Олечкой приехали в Париж, советская акция была серьезна. Для советских эмигрантов второй волны они открыли лагерь «Борегар», куда насильно свозили тех, кого захватывали (хоть на улице). А некоторых и убивали, как лейтенанта Николая (забыл фамилию), которого среди бела дня насильно вытащили из

квартиры наших друзей, Л. А. и И. М. Толстых в их отсутствие и увезли не то в «Борегар», не то в посольство, где и убили.

«Борегаром» ведал советский полковник-чекист Никонов и его помощник, лейтенант-чекист М. Штранге. И все это происходило под властью генерала де Голля, при полном попустительстве, а иногда и при содействии французской полиции. Причем среди эмиграции распускались упорные слухи, «что все равно скоро де Голль выдаст всю эмиграцию Советам». И в это верили, этого боялись: «А Бог его знает, этого экстравагантного де Голля?!» Чекисты лезли напролом, поставив своей целью уничтожение эмиграции, замаскировав его «патриотизмом для дураков».

Вот как описывает бывший член советской военной миссии, капитан М. Коряков отправку в «Борегар» советской девушки. На рю де Гренель в советскую военную миссию пришла молоденькая девушка, бывшая советская, и встретила как раз капитана Корякова. Коряков называет ее «Дунькой» и приводит их диалог:

«Ты, поди, тоже пришла выправлять бумажку? – спросил я. – Домой не хочешь?

– А что мне дома-то делать, – ответила курносенькая – в лохмотьях ходить? Здесь я по крайней мере...

У «Дуньки», попавшей в Европу, глаза разбегаются, она всем удивлена, всему завидует и с ... ненавистью вспоминает свой Лихославль, где жизнь людей проходит в том, чтобы ворочать валуны на пашне, сеять лен, трепать лен... Нет, «Дунька» не хочет покидать Европу».

Однако чекисты сильнее «Дуньки», и ее насильно сажают в грузовик и везут в «Борегар». «Та Дунька, – пишет Коряков, – которую я видел в миссии, плакала и даже отбивалась кулаками». Но ее все же бросили в грузовик и увезли в «Боре-

гар», чтоб оттуда отправить в СССР на Архипелаг ГУЛАГ. Советские чекисты в Париже были хозяевами положения.

Помню, идем мы с Олечкой по рю де Вожирар к Пор де Версай. Навстречу советский офицер. Русский русского узнает «с каблука». Поравнялись. – «Ну, как живете?» – остановился и протягивает руку. Лицо русейшее, простонародное, но не из приятных. Вижу – майор и слегка навеселе.

– Да ничего, – говорю, – живем!

– Рады, поди, что мы вас освободили? – и осклабился, обнажив зубы, а они у него золотые, обе челюсти. Только золото какое-то темноватое и зубы кажутся медными, отчего и без того малоприятное лицо его приобретало животно-страшное выражение.

– Конечно, рады, – отвечаю. А он в ответ:

– Вот постойте, в Москву вернемся, поставим памятник Гитлеру кверх ногами.

– Памятник? – переспросил я.

– Ну да, за то, что жидов много перебил, а кверх ногами за то, что не всех.

И заулыбался, показывая золотые челюсти.

– Ну пока!

Он помахал по-приятельски рукой и пошел, слегка покачиваясь.

– Ну, как тебе понравился наш «спаситель»? – спросил я Олечку.

Олечка только пожала плечом: «Какое-то чудовище...» Эти «чудовища» с золотыми зубами и без оных были в Париже 1945 года и гостями, и хозяевами, и доблестными союзниками.

22 июля 1946 г. «Русские новости» опубликовали «Указ Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР подданных быв. Российской Империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на терри-

тории Франции». Со стороны советской чеки это был решающий удар, а для эмиграции – решающий момент.

Но что же произошло? увы, за советскими паспортами пришли все совпатриоты (довольно много): Кривошеины, генерал Голлеевский, адмирал Вердеревский и tutti quanti. Кстати, парижский владыка православной церкви митрополит Евлогий не постыдился публично назвать этот «указ» – «истинным чудом Господним». Какое бездонное бесстыдство высшего западного иерарха русского православия! Впрочем, и до революции сей иерарх отличался «экстравагантными» заявлениями, но тогда – черносотенными: власти «в масть».

Увы, и философ «персонализма» Н. А. Бердяев печатно объявил взятие «советского паспорта» – «патриотическим долгом». Е. Д. Кускова в «Русских новостях» писала весьма «патриотически»: «Отказ от борьбы с советской властью – есть путь сближения с родиной». Вот из каких мортир – Евлогий – Бердяев – Кускова – бил по эмиграции А. Е. Богомолов, загоняя эмигрантов на Архипелаг ГУЛАГ.

Из писателей получать паспорта пришел А. М. Ремизов (по своему глубокому цинизму ему было все равно, какой папорт брать, авось можно на этом чем-нибудь поживиться, он завтра и от царя-батюшки взял бы с удовольствием).

Адмирал Д. Н. Вердеревский публично поцеловал красный паспорт, чем, впрочем, никого не удивил. Только тогда я узнал кое-что о «давней связи» большевиков с адмиралом Вердеревским. Оказывается, в момент июльского восстания большевиков Вердеревский, командовавший Балтийским флотом, отказался выполнять распоряжение Временного правительства о высылке четырех миноносцев, дабы не допустить большевиков в столицу со стороны Кронштадта и выхода судов из Гельсингфорса. Распоряжение помощника морского министра Дударова предписывало: «Не останавливаться перед потоплением некоторых кораблей подводными

лодками». Вердеревский передал эти секретные юзотелеграммы ЦК Балтийского флота, и они были оглашены его председателем, известным матросом Дыбенко на экстренном заседании судовых команд. Последнее постановило послать миноносец «Орфей» для ареста Дударова за «явное» контрреволюционное действие. Но в июле большевики потерпели в Петербурге крах. Делегации Балтийцев и командующий балтийским флотом были арестованы морским министром Лебедевым (эсер). Вердеревский был отрешен от должности и предан временному военно-морскому суду по обвинению в государственной измене. Но по требованию гельсингфорского балтийского флота адмирал как-то был выпущен на свободу, а в дни «корниловского мятежа» был непредвиденно введен Керенским в правительство и снова стал морским министром. Вскоре Вердеревский произнес во ВЦИК демагогическую речь о «корниловском заговоре» и клялся «честью», что не допустит впредь покушения на матросские организации.

Вот, оказывается, откуда идет нить «любви» и связи парижского масона Вердеревского и большевиков. С 1917 года! А я-то с дуру думал своим упорством сломить этого «досточтимого», дабы получить разрешение на мой доклад «Ноль и бесконечность».

Однако в ответ на «указ» масса эмиграции, ее «молчаливое большинство», не тронулась. Масса оказалась как бы в нетях, была дезориентирована, но предпочла все же сидеть дома. Конечно, в этой массе были и коллабо. Те, кто безобидно коллаборировал с немцами, уехал в Германию в глупой надежде «через две недели быть уже в Киеве». Были и мелкие коллабо, жившие во Франции, но никто их по пустяком не преследовал. В основном масса был настроена бесповоротно антисоветски.

Краткая история коллабо в Париже такова. При вступлении гитлеровцев во Францию в своем обозе они привезли для

русской эмиграции некоего русского гестаписта, бывшего балетного фигуранта г-на Жеребкова. Сей молодой российский гестапист назначался в Париж для «управления русской колонией», чем он и не преминул заняться, сменив В. А. Маклакова, арестованного и заключенного в парижскую тюрьму Шерш-Миди. Жеребкову гитлеровцы дали и денег на издание газеты «Парижский вестник» (1942–1944). Редактором ее стал некто П. Н. Богданович при ближайшем участии О. В. Пузино и И. В. Пятницкого. В газету пошли сотрудничать некоторые писатели-эмигранты с именем. Среди них был и Иван Сергеевич Шмелев, автор «Человека из ресторана», «Солнца мертвых», «Путей небесных», «Неупиваемой чаши» и других. Пошел Илья Дмитриевич Сургучев (до революции его «Осенние скрипки» ставились в МХАТе). Пошел небольшой писатель Вл. И. Унковский, которого Ремизов называл «африканский доктор» (Унковский одно время жил в Африке).

Я «Парижского вестника» не видал и не читал. Единственный раз, в шато Нодэ, Рябцов дал мне какой-то истрепанный номер этого «органа». Я прочел. В нем разливался Сургучев пиша о том, как он едет по Парижу мимо собора Нотр Дам и предается философическим размышлениям: почему это люди выстроили такое великолепное здание «в паять какой-то ничем не замечательной еврейки»? Помню мое чувство гадливости: попал-таки в самую точку для Гитлера и Жеребкова. Кстати, фамилию этого балетного фигуранта русская эмиграция переделала из Жеребкова в Кобылкина.

Среди сочувствовавших Гитлеру была и Н. Берберова. В «Парижском вестнике» она не печаталась, но своих прогитлеровских симпатий не скрывала, а, напротив, выпячивала. Так, она звала уехавших в свободную зону писателей Бунина, Адамовича, Руднева вернуться в Париж под немцев, потому что тут, «наконец свободно дышится».

Леонид Зуров писал мне: «Помню, это письмо Берберовой Иван Алексеевич прочел вслух за обедом». Бунин на письмо, разумеется, не ответил, а после войны шутливо грозил его опубликовать.

Такой же зазыв к Гитлеру Берберова посылала и Г. Адамовичу («наконец-то мы прозрели!»). Но и тут, конечно, успеха не имела. После войны о письмах Берберовой Г. Адамович открыто говорил, а потом передал их приятелю. У него они и хранятся вместе с письмом Бунина, где И. А. пишет: «А разве Берберова не была его, Гитлера, поклонницей?»

Процитирую письмо Гайто Газданова ко мне (в моем архиве. – *Р. Г.*). Из-за его резкости процитирую только отрывки. «Помню, – пишет Газданов, – что мы были как-то в кафе: семья Вейдле, Фельзен (Н. Б. Фрейденштейн), Берберова, моя жена и я. Это было время германского наступления в Югославии. Берберова была возмущена – но не немцами, а югославами: „Подумайте, какие мерзавцы сербы! Смеют сопротивляться!“ Против нее выступили все, по-разному, конечно... Вейдле и Фельзен более мягко, я – довольно резко. После этого Берберова со свойственной ей простодушной – в некоторых случаях – глупостью сказала: „Я не понимаю, ну, Фельзен – еврей, естественно, что он так говорит. Но Вейдле и Газданов же не евреи?“» В те времена я часто встречался с Михаилом Матвеевичем Тер-Погосяном. Я ему рассказал об этом. – «А что вы хотели, чтобы эта говорила?»

Берберову защищал ее большой личный друг, благожелательнейший Б. К. Зайцев. В письме к Бунину от 14.1.1945 г. («Н. Ж.», кн. 140) он писал: «...Я. Б. Полонский занимается травлей Нины Берберовой. Эта же нигде у немцев не писала, ни с какими немцами не водилась, на собраниях никаких не выступала и в Союзе сургучевско-жеребковском не состояла. Тем не менее он написал, что она «работала на немецкую пропаганду»!! Ты понимаешь, чем это пахнет по теперешним

временам?..» Далее Зайцев говорит: «По горячности характера высказывала иногда «еретические» мнения, ей нравились сила, дисциплина, мужество...» Вот, оказывается, что в Гитлере нравилось Берберовой – сила, дисциплина, мужество.

Но когда мы въехали в Париж, «жеребковщина» была уже в прошлом: Гитлер кончил самоубийством, многих из его окружения готовили к виселице, Жеребков ускользнул в Испанию (вероятно, были большие деньги), где, может, и по сей день благоденствует под южным небом Каталонии. На его место из-под ареста вернулся В. А. Маклаков.

Но множеству рядовых коллабо бежать было некуда, и одни сидели в Париже тише воды, ниже травы, другие сразу же бросились в «Союз совпатриотов» в надежде «загладить свою вину». Там принимали *решительно* всех, зная, что на Лубянке разберутся, кому какую меру наказания дать – вплоть до «вышки».

В. А. Лазаревский

И все же, несмотря на разобщенность и растерянность русской эмиграции, в ответ на нажим чекиста-посла Богомолова в феврале 1946 г. в русском Париже совершенно внезапно раздался Русский Свободный Голос. Зачинателем этого сопротивления – надо увековечить его – был смелый, несгибаемый человек, журналист Владимир Александрович Лазаревский.

В 1947 г. во Франции еще действовала введенная в годы войны «разрешительная система» периодической печати. Лазаревский обошел ее. Имея французские связи, он выпустил русский антибольшевицкий *непериодический сборник* «*Свободный голос*».

В первом номере от февраля 1946 г. в передовой статье «Идти ли в Каноссу?» он писал: «Нас зовут в Каноссу к совет-

ской власти. Эти призывы к примирению с красным фашизмом раздаются не только со стороны вульгарных «перелетов», именуемых ныне «советскими патриотами». К глубокому прискорбию нашему, мы слышим их от недавно еще искренних и непримиримых врагов новоаракчеевской власти. Приходится думать, что эти проповедники новой эмигрантской тактики никогда и раньше не верили в моральные силы и творческую мощь русского народа. Иначе они не изумлялись бы факту, что двадцать пять лет террористической диктатуры не убили в нем патриотизма и гражданственности.

Люди, плохо знавшие родную историю, могли, загипнотизированные идеей всесокрушающей силы германского кулака, создать себе иллюзию «неминуемого, в течение немногих недель, разгрома советской России немцами». Эти несильные в истории пессимисты бросаются ныне в другую крайность и с юным советским восторгом зовут всех в «родные» объятия Сталина.

Во время войны проявила себя и другая иллюзия – вера в германских наци как бескорыстных борцов против большевизма, в возможность освобождения ими России. Среди российской эмиграции иллюзии этой поддались, к счастью, очень немногие. Да и глубочайшая пропасть лежит между политической непроницательностью иных наивных людей и тем сознательным предательством, которое совершили, например, в свое время творцы «похабного» Брест-Литовского мира. Прогерманские освободительные иллюзии не были, кроме того, исключительно плодом оторванности маленьких эмигрантских групп от российской действительности: им поддались вначале и народные массы, изнывавшие под гнетом «пролетарского» государства. Чем иным объяснить первые сокрушительные успехи германского наступления, эти массовые сдачи неприятелю стотысячных армий, это

несомненно благожелательное во многих случаях отношение населения к немцам?

...«Немец» дошел до Волги, и собственное, советское зло отступило на задний план. Оставалось положиться на наличную власть. Иначе отстоять родину возможности не было. Означало ли это интимное примирение с властью, признание ее своей и национальной, как силятся внушить нам «советские патриоты» и их «демократические» подголоски? Разумеется – нет.

Зовущие к «признанию» большевицкой власти делят всю эмиграцию на две группы – примкнувших к Германии против России и оставшихся с Россией, и тем самым со Сталиным. «Гитлер или Сталин» – третьего не дано. Мы, огромное большинство эмиграции, ни пойти за Гитлером, смертельным врагом нашей родины и нашей культуры, ни ощутить «своей» «советскую власть» не могли. Душою и сердцем, всегда и неразрывно мы были с Россией и русским народом, но «советская власть» национальной властью для нас не была, ибо национального дела никогда не творила. Мы не желали морально не могли принять на себя частицу ответственно за творимое «советской властью» в оккупированных ею областях. Но, стиснув зубы, нам приходилось молчать. Пока лилась на поле брани русская кровь, мы не имели морального права и не хотели чем бы то ни было дискредитировать в глазах союзников фактически российскую «советскую власть», руководившую обороной страны... Война кончилась. На полях нашей родины давно уже нет врага. Теперь наше право, наш нравственный и патриотический долг – открыто сказать все, что мы думаем, сказать не обинуясь и до конца. Бесконечно лживо утверждение, будто «советская власть неразрывно связала свою судьбу с судьбой России», не захотев «ради своего самосохранения предать интересы страны». Правда – обратное. Вопрос для советской власти шел как раз

о самосохранении: во имя его-то она и вознесла себя столь неожиданно на патриотический пьедестал...»

Статью Вл. Лазаревского подписали: С. Мельгунов, А. Карташев, И. Херасков, кн. С. Трубецкой, С. Водов, В. Синяков, В. Безбах, Я. Бычек.

Я плохо знал В. А. Лазаревского. Немудрено: он вращался больше среди правых, я – среди левых. Он основал Российский национальный союз. Встречал я его раза два-три, знаю, что был он киевлянин. В молодости сотрудничал у Василия Витальевича Шульгина в «Киевлянине», сохранив с Шульгиным в эмиграции до конца самые близкие отношения. Был в Добровольческой армии. В эмиграции в Праге кончил Русский юридический факультет и стал эмигрантским журналистом.

Чтоб в тогдашнем Париже издавать такой «Свободный голос», надо было быть мужественным человеком. Представляю советское негодование на рю де Гренель: эмиграция не сдается, оживает, воскресает. Но ничего не поделаешь – «непериодические издания» выходить могли. И Лазаревский в 1946 г. издал три номера «Свободного голоса». Почему же Лазаревский эти выпуски прекратил? Давление шло изнутри: С. П. Мельгунов был человек крайне честолюбивый и эгоцентрический. Он и настоял, чтобы Лазаревский передал издание непереодических сборников – ему. И Лазаревский передал. А сам с помощью католических профсоюзов начал издание русской антибольшевицкой газеты «Русская мысль», которая (меняя своих редакторов) дожила до наших дней. Скончался волевой, несгибаемый антибольшевик Владимир Александрович Лазаревский 25 августа 1953 г.

С. П. Мельгунов под разными названиями выпустил одиннадцать «непериодических» сборников – «Свободное слово», «Независимое слово», «Свободная мысль», «Независимая мысль», «Независимый голос», «Россия и эмиграция»,

«За Россию», «За свободу России» и т.п. И наконец, когда в 1947 г. «разрешительная система» для периодической печати во Франции была отменена, Мельгунов стал издавать журнал «Российский демократ» (№ 1 вышел в 1948 г.).

Связь с Б. И. Николаевским

С Борисом Ивановичем мы переписывались чуть ли не ежедневно. Как только после войны возобновилось почтовое сообщение с Америкой, я послал ему телеграмму, где мы, как и что. И тут же в ответ получил письмо, в котором он выражал свою радость, что мы благополучно пережили войну.

В последних письмах 1945 года Б. И. писал, что скоро приедет в Париж к нам и начнет розыски своего конфискованного гитлеровцами уникального архива. В частности, он писал и о том, что Мельгунов жалуется ему и другим демократам (Вишняку, Далину, Зензинову), что я не вступаю в его группу и не работаю в его сборниках.

В то время в Америке (в Нью-Йорке) была большая русская демократическая колония: меньшевики – Абрамович, Николаевский, Денике, Шварц, Александрова, Аронсон, Авинов и многие другие (со своим органом «Социалистически вестник»); эсеры: Чернов, Зензинов, Лебедев, Слоним, Вишняк, Воронович, Керенский (со своим органом «За свободу»); демократы разных оттенков, группировавшиеся вокруг «Нового журнала» (М. Карпович, МАлданов, М. Цетлин, Г. Федотов, Н. Тимашев и другие).

Вообще центр и культурной и политической жизни русской эмиграции после войны переместился в Нью-Йорк. Кроме журналов выходили русские газеты («Новое русское слово», демократическая редактор М. Вейнбаум), «Россия» (монархическая, редактор Рыбаков), «Знамя России» (монархический журнал Чухнова). Выходили газеты и в американской провинции («Русская жизнь», редактор П. П. Балакшин,

в Сан-Франциско) и другие. Так что русская эмиграция в Париже оказалась бедна и людьми и деньгами. И былая «мощь» 20-х годов к ней так никогда и не вернулась. Вот Мельгунов и старался, зная, что с русской Америкой у меня хорошие отношения, перетащить меня к себе.

В своих письмах Б. И. очень толкал меня связаться с Мельгуновым и вступить в его группу. Откровенно говоря, мне идти к Мельгунову что-то не хотелось. Всю «группу» только Мельгунов и представлял. А журнал? Журнал, конечно, был архиантисоветичен, архидемократичен, но и очень скучен. Вдруг от Б. И. я получил письмо, что ко мне на днях приедет Мельгунов. Вскоре получил я письмо и от Мельгунова, что он хочет поговорить со мной по серьезному делу. Делать нечего, я ответил Мельгунову, что «жду с удовольствием».

Мельгунова я до этого никогда не видал. Знал, конечно, по имени, как историка и, в частности, историка русского масонства, но от его работ никогда в восторг не приходил, ибо они казались мне всегда только неуправляемым «навалом фактов». В «Современных записках» Мельгунов поместил в свое время весьма лестный отзыв о моем «Дзержинском». (Тему советского террора Мельгунов знал, ибо сам выпустил книгу «Красный террор»). Но вот не тянуло меня в его сборники: и скучно, и литературно плохо. Мельгунов был и плохой публицист, и плохой редактор. Причем почти все для своих сборников он сам и писал: и статьи, и заметки, и получалась какая-то тоскливая и серая мешанина, не идущая ни в какое сравнение с нью-йоркским «Социалистическим вестником». Там вы могли соглашаться или нет, но публицисты были первоклассные, в особенности Р. А. Абрамович (Рейн). Его былые половинчатые «Викжеля» и «нельзя не сознаться, но нельзя и не признаться» теперь как рукой сняло. Передовицы его могли печататься в любой антибольшевицкой печати: сильно, ярко, убедительно и совершенно бескомпромиссно. Может быть, на это последнее подействовало личное горе: его

единственного, любимого сына Марка Рейна, поехавшего в Испанию к республиканцам, похитили большевики. В отеле его вызвали к телефону, и Марк Рейн «исчез». Вероятно, «закатали в ковер» и увезли в СССР, где и кончили.

Абрамович был подавлен своим горем – трагической судьбой сына и говорил, что знает наверное, что это сделано «по личному приказанию тов. Сталина». Это была личная месть старому врагу, ненавистному меньшевику Абрамовичу.

Эти операции по похищению и убийству людей большевиками в Испании проводились «чекистскими» батальонами, сформированными и из русских эмигрантов-совпатриотов во главе – наверху – с чекистом Александром Орловым (псевдоним), которого даже К. Хенкин называет в печати «большой сволочью». Этот кровавый мерзавец и убийца после бегства в Америку получил какую-то кафедру и до смерти жил припеваючи. Жаль, конечно, что его не повесили, как Эйхмана. Но таковы уж для чекистов удобства в Америке.

Помню, встретил я как-то Дона Левина, настоящего антибольшевика, с которым дружил.

– Знаете, как жесток оказался суд в отношении разоблаченного советского тайного агента Марка Зборовского?

– Нет.

– Ему дали кафедру энтомологии в каком-то университете

– Да что вы, Исаак Доныч!

– Прочтите в сегодняшнем «Таймсе», – и Дон Левин безнадежно махнул рукой.

С. П. Мельгунов

П. Б. Струве, хорошо знавший Мельгунова, говорил о его характере: «С Мельгуновым работать все равно что ежевику собирать: все пальцы исколешь и ничего не соберешь». Поработав с Мельгуновым, могу засвидетельствовать, что это –

истинная правда. Но когда Мельгунов приехал к нам, я этой оценки Струве еще не знал. Все было по-хорошему. Олечка приготовила чай, и мы начали «серьезный разговор».

Первое впечатление от Мельгунова было приятное. Среднего роста, худой, в легкой бороде и усах, нос с горбинкой, живые глаза. Типичный русский интеллигент, хорошо воспитанный человек. У Олечке по старинке поцеловал руку. Все в порядке.

Как я и предполагал, все дело было в моем сотрудничестве с его группой в «Российском демократе». Об этом он говорил весьма настойчиво: у него нет литературного редактора, и чтоб я ему в этом помог. В конце концов я не решился ему так, в глаза, отказать. Я сказал только, что очень занят своей литературной работой.

– Но у нас же собрания не каждый день! И собираемся мы в двух шагах от вас, на рю Лекурб. А я думаю, что вы могли бы в этом нужном деле очень помочь.

Одним словом, путь отступления был отрезан. И я в конце концов (против сердца) сказал:

– Ну что ж, давайте попробуем.

– Вот и отлично!

Мельгунов был человеком разговорчивым. Когда кончились официальные «серьезные» дела, начались разговоры обо всем. Я спросил, откуда он родом, где учился. На все вопросы Мельгунов отвечал охотно, подробно. Кстати, упомянул, что его мать полька – Грушецкая. Рассказывал о жизни в университете и в имении.

Все шло нормально, я слушал с интересом, но вдруг Мельгунов проговорил (уже не помню, в связи с чем):

– ...Но вы знаете, я же ведь сумасшедший...

Своего удивления я не показал. Наоборот, засмеявшись сказал, что это у нас «частая гипербола». Но, к моему удивлению, Мельгунов вдруг рассердился и повысил тон:

– Никакая не гипербола! Конечно, я не теряю сознания, как Павел I, но говорю вам, это факт, я – сумасшедший.

Мне стало как-то не по себе, неловко.

– С. П., – сказал я как бы шутя, хотя уже видел, что эта моя шутливость его начинает раздражать, – у сумасшедших есть же какие-то признаки, а у вас, слава Богу, их нет.

Мельгунов еще больше повысил голос, и уже крайне раздраженно: – Если я вам говорю, что я сумасшедший, значит, это так! И признаки у меня определенные есть!

«Господи!» – подумал я, – и зачем он мне все это говорит?»

– В России, например, – продолжал раздраженно Мельгунов, – когда я ездил по железной дороге, то обязательно должен был считать белые стаканчики на телеграфных столбах. Эта потребность была сильнее меня, я не мог их не считать. А тут, в Париже, в метро, я должен считать электрические лампочки...

Я не знал, что и ответить. А Мельгунов продолжал:

–А еще я не могу перейти через реку по мосту, меня тянет броситься через перила. Не выношу никакой высоты, не могу стоять на высоком балконе – тоже тянет броситься вниз.

– Ну это у многих бывает, – сказал я, чтобы найти какой-нибудь выход из этой не очень приятной темы. И быстро перешел на что-то редакционное из «Российского демократа». Мельгунов стал отвечать, и тема о сумасшествии, слава Богу, отпала. Но я понял, что мой новый знакомый, известный историк С. П. Мельгунов – крайний неврастеник, и это конечно, не сулило в наших отношениях ничего хорошего. Недаром его злой противник Гр. Алексинский писал: «Какой же он историк, он – истерик».

Чай мы пили долго, по-русски – с вареньем, с печеньем. Видимо, Мельгунову у нас понравилось, несмотря на тему о сумасшествии, которую он под конец, кажется, забыл.

Просидев долго, мы договорились, когда я должен прийти на собрание группы «Российского демократа». Мельгунов был доволен, прощаясь, опять поцеловал руку Олечке и стал одеваться. Я подал ему пальто (еще из России, тяжелое, на меху) и сказал, что провожу до станции метро. Мельгунов жил где-то далеко. Договорились мы встречаться с ним каждую субботу. Олечка уговорила его приезжать к завтраку. Он сначала было отказывался, но потом согласился. Так и начались наши ежесубботние завтраки-встречи.

Собрание Союза писателей и журналистов

Когда 16 марта 1946 года было созвано общее собрание Союза писателей и журналистов, для нас, людей пера, это было испытание: за исключением сборников В. Лазаревского вся эмигрантская печать была захвачена совпатриотами, многие из которых состояли членами Союза. Мы же, свободные, были не организованы.

Хорошо помню это собрание. На него пришло больше ста человек, что у нас в Париже редко когда бывало. Открыл собрание давний генеральный секретарь Союза Владимир Феофилович Зеелер (в прошлом – ростовский адвокат). Он и председательствовал.

Лидером совпатриотов (и весьма активным!) на собрании оказался Н. Рощин (по бунинскому прозвищу «капитан»). Этот «капитан» всю эмиграцию терся около Бунина, был, так сказать, «другом дома». Никто и не подозревал, что этот «капитан», «друг» Бунина, сотрудник правой газеты «Возрождение» Рощин – член французской компартии, что теперь и обнаружилось.

Я мало знал «капитана». Но все-таки встречал – белый офицер как белый офицер. И вот теперь, на общем собрании, окруженный совпатриотами, он первым попросил сло-

ва. Выступление его (язык у Рощина был неплохо подвешен) оказалось несколько неожиданным. «Капитан» начал с того, что эмиграция как таковая кончается, люди «возвращаются на родину», и потому он предлагает собранию Союза принять резолюцию с обращением в ССП в Москве, прося принять нас как *отделение* Союза советских писателей. Это, пожалуй, было уже чересчур. Выступление Рощина, за исключением хлопков совпатриотов, было встречено гробовым молчанием.

За ним выступил Юрий Павл. Анненков. Зная Юрия Павловича, я немного побаивался: «он может так, но может и иначе». Каково же было мое радостное удивление, когда вся его речь оказалась страстной защитой свободы слова, свободы печати, свободы человека. Анненков сел под бурные аплодисменты.

За ним выступил Гайто Газданов. За этого я не волновался, ибо твердо знал, что Газданов горой за свободу слова, свободу печати, даже с уклоном в «анархизм». И его речь собрание проводило хорошими аплодисментами. За Газдановым Мельгунов. Тут тоже можно было быть вполне спокойным. Мельгунов говорил очень резко. За Мельгуновым выступал я – не менее резко.

Донельзя отвратительным было выступление редактора «Русских новостей» А. Ф. Ступницкого. Это был какой-то просоветский лепет, ни для кого не убедительный. Столь же неудачным было и выступление редактора «Советского патриота» профессора Одинца. Вероятно, оба понимали, что большинство не с ними.

А когда мы перешли к голосованию – к выборам Правления, оказалось, что советчики биты: шестьдесят четыре голоса за нас, за свободу слова и сорок пять – за советчиков. В Правление Союза писателей и журналистов выбраны: Б. К. Зайцев (председатель), С. П. Мельгунов (товарищ председателя), я (товарищ председателя), Н. В. Вольский (Валентинов), про-

фессор С. Жаба (других не помню). Казначеем и генеральным секретарем Союза переизбрали Вл. Феоф. Зеелера, бессменно бывшего на этом посту с 1920-х годов.

Одним словом, все осталось по-старому, чему я был рад и что тоже было, конечно, ударом по кагебешной политике в отношении эмиграции, как массовый отказ эмигрантов от получения советских паспортов для возвращения «на Родину».

Виктор Кравченко

Как-то, дойдя до своего дома на 253, рю Лекурб, я, как обычно, стал подниматься по лестнице на свой пятый этаж. Без лифта – упражнение не из приятных. Кружишь-кружишь – и на каждом повороте украшение – две турецкие уборные. Вообще дрянная у нас была квартира. Одна комната с кухней.

При повороте к нашей квартире на пятом этаже я с удивлением увидел, что у нашей двери стоят два каких-то джентльмена. Что за притча? Кто это может быть? Джентльмены вежливо расступаются, и я открываю дверь. Вижу: Олечка не одна – перед нею сидит какой-то господин. Не успел я раздеться, как Олечка говорит:

– Как хорошо, что ты пришел. А у нас нежданный гость из Америки... Виктор Андреевич Кравченко.

Я удивился до крайности. Гость поднялся. Мы поздоровались.

– Очень рад, Виктор Андреевич, чем могу служить?

Кравченко чрезвычайно внимательно меня рассматривал. Мы сели.

– А вот чем, Роман Борисович. Я пришел к вам за помощью. И даже за срочной помощью.

– Очень рад... если чем-либо смогу помочь... Скажите, там в дверях стоят два джентльмена, это, вероятно, ваши телохранители?

– Да.

– Так чего же они стоят за дверьми, давайте попросим их войти.

– Пожалуйста.

Олечка тут же отворила дверь и попросила джентльменов войти. Они поблагодарили, вошли и сели в кухне, рядом с комнатой.

– Так вот, – начал Кравченко, – мне нужен в Париже человек, на которого я могу во всем положиться как на самого себя. Мне нужна здесь большая помощь. И наши общие друзья дали мне ваш адрес и сказали, что вы и есть такой человек.

Я засмеялся:

– Не знаю...

– Прежде всего мне *срочно* (подчеркнул Кравченко) нужен секретарь. Но секретарь совершенно особый: он должен знать русский и французский на все сто процентов. Он будет моим переводчиком во всех делах, будет и на суде. Он должен быть абсолютно честен, потому что будет иметь дело с деньгами, и я должен им располагать двадцать четыре часа, если мне понадобится. Мне этот секретарь нужен сию минуту, сегодня же. Есть ли у вас подходящий человек? Разумеется, его труд я буду хорошо оплачивать.

У меня на уме такого человека не было. Но Олечка тут же сказала: – Конечно, есть! – И, обращаясь ко мне: – Саша Зембулатов, лучше не выдумать. К нему надо сейчас же пойти.

Кравченко был доволен категоричностью Олечки, и мы решили так: после обеда мы с Олечкой идем к Зембулатовым, а Кравченко оставляет телефон своего отеля, куда я ему позвоню о результате.

– Если результат положительный, то привозите его тут же ко мне, – попросил Кравченко.

– Хорошо.

На этом мы и расстались.

Зембулатовы были прекрасной русской семьей, жившей русским бойскаутизмом. Я хорошо знал мать Саши, но самого Сашу никогда не видел. Его знала Олечка.

Пришли к Зембулатовым. Они все дома. Олечка тут же изложила им дело. Саша пришел в полный восторг: он юрист, кончил Сорбонну, как раз ищет работу, а тут такое архиинтересное предложение.

От них я и позвонил В. А. Он попросил, чтобы я и Саша сегодня же вечером приехали к нему в гостиницу. Забегая вперед, скажу: Саша подошел Кравченко на все сто процентов и стал не только его секретарем на процессе, но и близким человеком на долгие годы. Даже работал с Кравченко в Перу, когда тот занялся разработкой серебряных рудников.

На завтра Олечка за все это дело получила книгу Кравченко «Я выбрал свободу» (по-французски) с хорошей дружеской надписью и благодарственное письмо.

На процесс я ездил ежедневно. Обычно заезжал к Кравченко в гостиницу, где уже был Саша, и с ними вместе ехал в суд. Процесс Кравченко *был в центре внимания всего мира,* и каждое заседание было захватывающим.

Несколько слов об истории Кравченко. В. А., сын железнодорожного рабочего, был видным советским коммунистом. В 1943 г. он приехал в Вашингтон в составе советской закупочной комиссии. На нем лежала обязанность следить за погрузкой пароходов, отправляющихся в СССР. В 1944 г. он порвал с Москвой и «выбрал свободу». Сталин настаивал на выдаче Кравченко. Американцы медлили. В конце концов, Рузвельт стал склоняться к выдаче Кравченко. В это время Кравченко скрыла у себя в квартире Е. Л. Хапгуд. У нее, никуда не выходя, Кравченко прожил семь месяцев – до смерти Рузвельта. И тогда американцы решили не выдавать Кравченко. Он «вышел на свободу» и в 1946 г. выпустил книгу «Я

выбрал свободу» – о терроре, коллективизации и концлагерях в СССР.

За все существование коммунистического режима ему ни разу не был нанесен такой удар со стороны эмиграции, какой нанес ему Виктор Кравченко своим процессом против прокоммунистической газеты «Леттр франсэз». Книг, разоблачающих сущность этого режима, выходило много и до войны, но их взрывчатая сила по сравнению с «Я выбрал свободу» была силой бомбы в сравнении с атомным снарядом.

В Париже, политическом центре Европы, своим процессом Кравченко нанес необычайный удар коммунизму. Он не только вновь привлек внимание всего мира к страшной теме своей книги, но заставил весь мир выслушать о советском режиме показания живых свидетелей, советских граждан, недавно вырвавшихся из-за железного занавеса на свободу.

В борьбе с коммунизмом В. А. Кравченко делал дело мирового масштаба. Его борьба была борьбой Давида с Голиафом, борьбой *свободного человека* с аппаратом всемогущего тоталитарного государства. Конечно, Кравченко знал, как длинны руки МВД и как беспощадна месть Сталина. Поэтому для его выступления нужны были большое мужество, смелость и воля.

Кто присутствовал на заседаниях суда во Дворце Правосудия, тот воочию видел, какое отчаянное сопротивление Кравченке и его свидетелям оказывали коммунисты. Это убедительнее всего говорило о том, как расценивал Кремль силу этого удара. Из-за океана и через Ла-Манш на процесс прилетели мелкие и крупные интернациональные «фирлингеры»; на сцену выпущены были всякие «коммунизанствующие снобы» и попросту агенты Коминформа. Обойду молчанием показания всех этих «свидетелей», заслуживающих презрения.

Гораздо интереснее были выступления прилетевшей московской знати. Надо признать – и вовсе не для каламбура, – что самыми лучшими свидетелями для Кравченко были бесспорно эти, московские. Вероятно, подготовке их МВД посвятило не один десяток заседаний, дрессируя своих «свидетелей». И что же? Все кончилось полным провалом, признанным всей печатью. Впрочем, этот провал вполне естествен. Прилетевшие в Париж рабы-вельможи были бы великолепными «свидетелями» на любом московском процессе, где запытанные обвиняемые, под их показания, признавались бы во всех заказанных им преступлениях. Но свободный суд демократической Франции привел в замешательство сановников сталинского царства.

Вот перед судом – искушенный в сексотских делах коммунист Колыбалов. Он пересказывает заученный в Москве урок об «изменнике Кравченко». В горячей ответной речи Кравченко кричит Колыбалову, что это именно он, сталинец Колыбалов, загонял в концлагеря невинных людей, что Кравченко только случайно вырвался из лап НКВД на свободу. Речь Кравченко опрокидывает показания Колыбалова. Этого не расскажешь, но в зале суда есть такой передающийся присутствующим как бы ветер, по которому все безошибочно чувствуют, где правда. В этом поединке симпатии всего зала были на стороне человека, боровшегося против режима полицейского государства. Страстное обвинение Кравченкой сталинского режима вызывает единственную реплику Колыбалова: «Я прошу не оскорблять моего горячо любимого вождя!» Эти слова покрыты смехом публики, и блестящей ответной репликой мэтра Изара: «Не мы, французы, виноваты в том, что ваша фраза вызывает здесь смех!»

Тот же московский урок об «изменнике Кравченко» рассказывает суду и Василенко. Но знатного члена Верховного Совета берет в оборот сам мэтр Изар. Он задает свидетелю

вопрос за вопросом. Василенко старается увертываться, не отвечать. А когда мэтр Изар читает ему список расстрелянных НКВД его товарищей по партии, по службе, его начальников и, наконец, наркомов Украины, после каждого имени спрашивая, знал ли этих людей Василенко, вся публика в зале замирает, это самый патетический момент процесса. С посеревшим, растерянным и злобным лицом Василенко мечется у свидетельского барьера. Он отказывается отвечать, не понимая, какую неоценимую услугу этим он оказывает делу Кравченко. Под конец допроса, раздавленный «вызовом мертвых», Василенко неожиданно вскрикивает: «А почему, собственно, вас так беспокоит судьба всех этих господ!?» В свободном суде демократической страны подобная фраза звучит признаньем преступления и губит свидетеля сталинской диктатуры.

Все московские свидетели дезориентированы в атмосфере свободного суда. Последним появляется генерал Руденко. Его появление, вероятно, тщательно подготовлялось. Генерал вышел не оттуда, откуда выходят все свидетели. К удивлению самого председателя суда Дюркгейма, Руденко появился из двери на эстраде, где заседал суд, и не в штатском костюме, что приличествовало бы моменту, а в полной форме, с регалиями и даже в головном уборе с голубым околышем. С теми же стандартно-волевыми интонациями он дает свои показания об «изменнике Кравченко». Но первые же реплики В. А. Кравченко – «Вы лжете, Руденко!» – «Вы холуй режима!» – «Какое право вы имеете говорить от имени народа?!» – сбивают генерала с тона. Он просит председателя суда оградить его «от давления извне». Вероятно, в представлении этого коммуниста Кравченко должен бы был стоять перед ним со связанными за спиной руками. Но здесь свободная Франция, и Кравченко со всей присущей ему страстностью атакует Руденко, вскрывая перед судом биографию этого политиче-

ского «генерала», не окончившего военной школы. Руденко пытается рассказать суду о том, что советское правительство не помышляет о войне и занято только «борьбой с суховеями и превращением пустынь в оазисы». Кравченко кричит: «Вы бы лучше дали народу свободу, а потом уж занялись суховеями и оазисами!» Генерал пробует убедить французов, рассказывая им о чувстве дружбы, которую питает советское правительство к демократической Франции. Отвечая на это, Кравченко произносит свою самую сильную речь, захватившую всех присутствующих. Указывая на Руденко как на представителя сталинского режима, Кравченко приводит суду цифры миллионов тонн боеприпасов, сырья, продовольствия, поставленных Сталиным Гитлеру за полтора года «спаянной кровью» дружбы двух диктаторов. «Вы, Руденко, уверяете Францию в дружбе Сталина? Но ведь вы со Сталиным во время войны своими поставками Гитлеру убивали французов! Вы убивали французских женщин, стариков и детей. Вы политические и уголовные преступники! Это Сталин выдал Европу на растерзанье фашизму!» По залу проносится одобрение. Зал с Кравченкой, а не со сталинским «генералом». На эти обвинения Руденко молчит, ему нечего ответить. И обратившись к председателю за разрешением уйти через ту же эстраду, под презрительные крики адвокатов и публики, генерал неожиданно покидает зал. «Куда же вы, Руденко?! Будьте смелее! Оставайтесь! Я вызываю вас! У меня есть что рассказать о вас на этом суде!» – кричит ему Кравченко. Но генерал ушел. Вероятно, сам Кравченко, ведущий процесс с большой силой и смелостью, не предполагал такого быстрого уничтожения своего главного противника.

В двенадцатом заседании суда сама защита «Леттр франсэз» подтвердила поражение всех своих московских свидетелей, отказавшись от вызова остальных, а их было выставлено до двух десятков!

С самого начала процесса всем присутствующим на нем было ясно, что инициатива атаки всецело в руках В. А. Кравченко, мэтра Изара и его помощника мэтра Гейцмана. Но было бы несправедливо преуменьшать громадную роль, сыгранную на процессе новыми советскими эмигрантами. Этот имеющий первостепенное политическое значение процесс надо по справедливости назвать процессом новой эмиграции против коммунизма. И если в обстановке французского суда московские коммунисты оказались побеждены его свободой, то новые эмигранты этой свободой воспользовались чрезвычайно удачно. Всякий русский антибольшевик должен низко поклониться этим свидетелям. У многих из них остались в СССР родные и близкие. И все-таки на суде, не скрывая своих имен, они дали убийственные для сталинского режима показания, проявив тем большое гражданское мужество. В одних показаниях чувствовалась страшная измученность (тюрьмы, пытки, концлагеря, голод под Сталиным и под Гитлером), в других – жажда беспощадной борьбы. Я жалею, что переполненный разнообразными иностранцами зал (от фабричных рабочих до послов иностранных государств), не знал русского языка, не мог почувствовать по-настоящему глубину этого человеческого протеста против тоталитарного рабства. Но и в переводе эти показания дошли до иностранцев как предупреждение, как сигнал неминуемой борьбы. Из судебного зала эта тревога проникла в печать всего мира, и в этом было громадное значение процесса.

Кравченко ко мне привык. Мне доверял и часто разговаривал со мной *просто по-человечески* обо всем. Иногда, глядя на него, я думал: «*Как* он выдерживает страшное нервное напряжение этого процесса?» Помню, после одного заседания суда, усталый, зная, что на следующем заседании выступят какие-то приехавшие из Москвы «свидетели», он сказал

мне: «Я слышал, что они привезут мою первую жену, но это пустяки, а вот если они привезут мою мать, я не выдержу, я знаю, что *я не выдержу*».

Кравченко очень любил свою мать и знал, что говорил. Он всегда возил с собой портрет матери. И застрелился в Нью-Йорке перед ее портретом. Но большевики его мать почему-то не привезли. Умерла? Была в тюрьме?

Бывшую жену, полную «русскую красавицу», блондинку, голубоглазую, с высоким валиком волос и необычайно развитым бюстом – привезли. Этот ее русский бюст в парижских газетах имел успех. Его окрестили «poitrine agressive» («агрессивные груди»). Думаю, что эта жена была петая дура, и ее «показания» ничего, кроме смеха, у публики не вызвали. Тем не менее от нее ни на шаг не отходила маленькая, худенькая, черненькая женщина еврейского типа, явно приставленная чекистка. Она сопровождала ее даже в уборную. Так что, несмотря на все старания Кравченко и Саши, перехватить ее было нельзя и на полслова. Нежных чувств к ней Кравченко давно не испытывал. Он только хотел ей предложить остаться в свободном мире при его поддержке, но это не удалось.

Помню мое одно неожиданное столкновение с Олечкой из-за Кравченко. И ее победу. Кравченко был потомственный пролетарий, сын железнодорожного рабочего, комсомолец, коммунист, «большевик по нутру», ни в Бога, ни в черта не верующий, что он не раз подчеркивал. Когда я собирался ехать к нему в день вызова в суд московских свидетелей, вижу, Олечка с чем-то возится, что-то зашивает. И потом протягивает мне ладанку на шнурке, говоря:

– Вот, Рома, передай это Виктору Андреевичу, у него сегодня трудный день.

Я удивился и говорю:

– Олечка, ну что за чепуха! Атеисту, коммунисту, ни во что не верующему Кравченко я буду давать ладанку?! Ты пони-

маешь эту нелепость? Нет, я не возьму, да он чего доброго засмеется над этой ладанкой. Если не в глаза, так за глаза.

Но Олечка была настойчива:

– Ведь не ты даешь, а я! Какое ж тебе дело? Так и скажи, что я просила тебя ему передать.

Олечка так упорно настаивала, что, как я ни отказывался, а в конце концов взял ладанку и сунул ее в карман.

– Только дай слово, что передашь! Честное слово!

– Хорошо. Даю. Для тебя. Честное слово. Но я считаю это диким и нелепым...

– Это все равно, как ты там считаешь...

Когда я приехал к Кравченко, было еще рано. Он нервничал. Я понимал, что мысль о матери не выходила у него из головы, и я не знал, как же мне эту ладанку дать? Стеснялся: попадешь в глупое и смешное положение. Но я обещал Олечке и перед уходом от Кравченко все-таки решился, полез в карман, вынул завернутую в папиросную бумагу ладанку и, запинаясь, нерешительно пробормотал:

– Виктор Андреевич, вот вам жена прислала, просила обязательно передать.

– Что такое? – удивился Кравченко, разворачивая пакетик, и вдруг его лицо просветлело.

– Пожалуйста, передайте Ольге Андреевне мою большую благодарность. Большое спасибо.

И он пожал мне руку. А на следующий день опять благодарил, говоря: – Какая чудная и чуткая у вас Ольга Андреевна! Мне вчера было так одиноко, и эта ладанка пришла как раз вовремя.

Приехав домой, я увидел на столе грандиозный букет красных роз. Пересчитал: тридцать шесть штук!

– Вот это гонорар! – засмеялся я.

– Ну что, кто оказался прав, я или ты?

– Ты, и только ты! Он благодарил тебя невероятно!

– Благодарности и букеты мне не нужны. Но я рада, что поддержала человека в трудную минуту, – сказала Олечка.

Известно, что несмотря на все ухищрения Москвы с вызовом свидетелей, вплоть до архиепископа Кентерберийского, Кравченко выиграл процесс против «Леттр франсэз» по обивнению в клевете. Это послужило лишней мировой рекламой для и без того шедшей бестселлером чуть ли не в тридцати странах его книги «Я выбрал свободу». Кравченко стал миллионером. Именно это и привело его к преждевременной смерти – к самоубийству.

В феврале 1950 г. мы с Олечкой приехали в Америку. Здесь, в Нью-Йорке у Елизаветы Львовны Хапгуд и у нее же в Питерсхеме, я часто встречался с В. А. Кравченко. Надо сказать, что Елиз. Львовну Кравченко просто «обожал». Во-первых, она была человеком, который спас его жизнь, когда Рузвельт хотел выдать Кравченко Сталину. Во-вторых, Елиз. Львовна очень помогла ему в создании «Я выбрал свободу». Я пишу – *в создании,* потому что Кравченко был не только не писатель, но человек малокультурный. Он мог вывалить весь душевный материал на бумагу, но организовать его и литературно обработать был не в силах.

И тут на помощь пришел Юджин Лайонс, известный американский журналист, русский еврей по происхождению, блестяще владевший и английским и русским. Он взялся за приведение всего материала Кравченко в литературный вид, сразу же по-английски. Когда этот адов труд (книга под тысячу страниц!) был окончен, Кравченко, человек невероятно недоверчивый, боясь каких-либо неверностей, изменений и прочее, просил Елиз. Львовну перевести ему *устно,* фразу за фразой, всю книгу с английского на русский. Это была труднейшая работа. Со стороны Е. Л. просто подвиг. Но она его совершила. Правда, после этого заболела от нервного пе-

реутомления. Помогала Е. Л. Кравченко и во многих других жизненных делах, ибо английским Кравченко почти не владел (с пята на десята).

Дабы быть ближе к Е. Л., Кравченко в Нью-Йорке снял недалеко от нее небольшую трехкомнатную квартиру, где жил под чужим именем (кажется, Питер Мартен). Я у него бывал, видел на письменном столе хорошо обрамленный портрет его матери – тот, под которым Кравченко застрелился 25 февраля 1966 г.

Кравченко был человек сильной воли. Многое пережил. Отчего же он сдался, покончил самоубийством? Он был очень русский, и именно свойственные русскому характеру черты довели его до дула пистолета. В его характере была одна подавляющая все русская черта – самохвальная уверенность, что все кругом дураки, а я умный. Любимой темой его разговоров было: «Да разве американцы умеют работать? Да ни черта не умеют! Вот я им покажу, как надо работать!» И в своей самохвальной уверенности Кравченко был неколебим.

Вместо того, чтобы на свои миллионы начать какое-нибудь нормальное дело, он сразу бросился «делать из миллионов миллиарды», в полной уверенности, что он их сделает и всем американцам «утрет нос».

Посему он бросил Нью-Йорк и уехал в Перу на разработку серебряных руд. С ним уехал и Саша Зембулатов. Не помню, сколько времени Кравченко разрабатывал эти руды, став компаньоном какого-то большого американского предприятия, но миллионы в миллиарды не превратил. А в одно прекрасное утро «акулы американского капитализма», которым В. А. хотел «утереть нос», проглотили его, как мелкую плотву.

Все произошло просто. Правление постановило, что у каждого члена в предприятие должно быть вложено не менее «энной» суммы денег. У Кравченко этой суммы не оказалось, и ему пришлось покинуть предприятие.

Но русское упрямство и тут ничему Кравченко не научило. Он *один* начал эксплуатировать какой-то небольшой заброшенный рудник, причем занял деньги и у Е. Л. Хапгуд, уверив ее, что это дело «изумительно пойдет». И тут потерял остальное.

После этого Кравченко вернулся в Нью-Йорк. Он был в отчаянии, и от потери собственного капитала, и от потери денег Е. Л. Он почти не выходил от Е. Л., рассказывая ей все подробности своего неожиданного прогара, причем в одном из разговоров Е. Л. впервые услышала: «Остается только пулю пустить в лоб». Е. Л. его успокаивала, но чем и как можно было успокоить?

Помню, при мне как-то Кравченко рассказывал, как его «успокаивал» адвокат:

– Вы не отчаивайтесь, Виктор, у вас такое большое имя во всем мире и в Америке, что если вы откроете какое-нибудь дело, оно прекрасно пойдет. Например, ресторан!

От такого совета Кравченко приходил в совершенное бешенство:

– Виктор Кравченко открывает ресторан! Этого еще не доставало! Я лучше пулю пущу в лоб!

Отсюда пришло и то, что он стал жить ложными политическими иллюзиями. Он ненавидел Сталина, как только можно было ненавидеть. Но Сталина нет, и, будучи долголетним партийцем и психологически совершенно «советским человеком», к Хрущеву он уже никакой ненависти не питал.

– Вы не понимаете Хрущева, – говорил он мне, – а я его знаю, я его понимаю. Никита неплохой, вот вы увидите, он повернет к народу, даст свободную и хорошую жизнь.

Никаких возражений Кравченко не хотел и слушать.

После конца Никиты Кравченко помрачнел. Но вскоре стал строить новые иллюзии: Леня Брежнев. Его Кравченко

знал, с ним вместе учился, был на «ты». И вот Леня теперь повернет к народу. Когда же в Москве поставили процесс Синявского – Даниэля, надо было видеть, как это подействовало на Кравченку.

– Стало быть, ничего не меняется? – повторял он.

На него, уже нервно разбитого, находившегося все это время в крайне напряженном состоянии, этот процесс подействовал потрясающе. Стало быть, он опять ошибся в своем прогнозе «оттепели?»

Кравченко все мерещилась некая иллюзорная перспектива: СССР пойдет направо, а США немного налево, и вот тогда наступит настоящее дружественное сосуществование двух великих сверхдержав. И он, Кравченко, сыграет тут не последнюю роль, ибо хорошо знает и СССР и США. И именно он подаст эту «идею». Об этом он писал куда-то (кажется, в Госдепартамент). Но нелепые его иллюзии рассеивались на глазах, и Кравченко впадал в черный пессимизм.

Как-то Е. Л. расстроено сказала мне:

– Был Кравченко и спросил меня: – Знаете, сколько у меня денег в банке? Всего-навсего? ...250 долларов! И это все!

Чуя недоброе, Е. Л. просила его пожить эти дни у нее. Кравченко согласился, и каждый день разговоры его кончались – «пулю в висок». Е. Л. пыталась его как-то успокоить. Но разве можно было его успокоить!? Пыталась успокоить его и жившая у Е. Л. Варвара Петровна Булгакова (бывшая актриса МХАТа).

В роковой день самоубийства к Е. Л. приехал Питер (муж ее дочери, профессор Питсбургского университета). И вдруг Кравченко после обеда говорит, что ему надо пойти к себе на квартиру на час-другой по делам. Все бы это было ничего, но когда он стал прощаться с Е. Л., она почувствовала какую-то странность, до того нежно и долго он целовал ее руки и все благодарил. Потом вдруг сказал: «Давайте поцелуемся!» По-

целовались. То же самое произошло и при прощании с В. П. Булгаковой. Е. Л. почувствовала что-то неладное и попросила Питера проводить Кравченко и побыть у него часдругой. Тот, конечно, согласился, и они вдвоем вышли из квартиры Хапгуд.

Как только они вошли к Кравченко, Виктор Андреевич попросил Питера пойти купить ему чистилку для трубки – он забыл ее купить. Ничего не подозревая, Питер пошел купить чистилку, а когда вернулся – перед портретом матери Кравченко лежал на полу мертвый с простреленным виском.

В своем завещании Кравченко просил, без всяких церковных обрядов и без гражданской панихиды, сжечь его тело, а урну с пеплом сохранить и, когда будет возможность, отвезти в Россию и бросить в волны любимого им Днепра.

Е. Л. Хапгуд в 1974 г. умерла. Урну она закопала в саду в Питерсхеме. Но дети продали усадьбу и урна с пеплом так, и осталась закопанной где-то в саду.

Н. В. Вольский

Я довольно часто ездил к Н. В. Вольскому. Он жил под Парижем в Плесси Робенсон. Жил в нужде. М. С. Маргулиес говорил о Вольском: «Это самый блестящий человек в эмиграции». Автор замечательных книг «Встречи с Лениным», «Малознакомый Ленин» был действительно человек выдающийся. Талантливый публицист, широко образованный и, если хотите, действительно – блестящий. Но насчет «самый» – не думаю. В эмиграции было много «блестящих» людей. И отдавать пальму первенства Николаю Владиславовичу Вольскому я бы все-таки не решился.

Н. В. был экономист, публицист, автор философских и социологических работ. И, как выяснилось при первом же нашем разговоре, по России был почти моим земляком. Он

родился в 1879 г. в уездном городе Моршанске Тамбовской губернии, в помещичьей семье. Его отец (польского происхождения) был уездным предводителем дворянства, а мать, урожденная Рымарева, – из богатой коннозаводческой помещичьей семьи. Детство и юность Н. В. провел в имении родителей «Подъем», и эту жизнь в имении он всегда вспоминал лирически, с большой теплотой. Но своего отца почему-то не любил. И, став студентом, порвал с ним все отношения.

В Петербурге Н. В. учился в Технологическом институте. И тут, как он говорил, под влиянием проф. М. Туган-Барановского, стал марксистом. Данный ему от природы страстный темперамент увлек его на самый левый край русского марксизма – он стал большевиком. После тюрьмы и ссылки в Уфу Н. В. работал в Киеве, в подполье. В 1903 г. он встретил и полюбил Валентину Николаевну, ставшую верным другом всей его жизни. Она тоже происходила из тамбовской помещичьей семьи. В Петербурге стала опереточной певицей. И имела успех.

В 1904 г., чтобы избежать ареста, Н. В. бежал за границу и там, в Женеве, на некоторое время близко сошелся с Лениным. Но духовная независимость Вольского, потребность мыслить по-своему, а не «по Ильичу» быстро привела к разрыву с Лениным и большевиками. Очень ярко суть этого разрыва дана Вольским в таком диалоге с Лениным:

«– Из ваших слов вытекает, что ни одна гадость не должна быть порицаема, если ее учиняет полезный партии человек. Так легко можно дойти до «все позволено» Раскольникова.

– Какого Раскольникова?

– Достоевского из «Преступления и наказания».

Ленин остановился и, засунув большие пальцы за отворот жилетки, посмотрел на меня с нескрываемым презрением.

– Все позволено! Вот мы и приехали к сентиментам хлюпкого интеллигента, желающего топить партийный и революционный вопрос в морализирующей блевотине. Да о каком Раскольникове вы говорите? О том, который прихлопнул старую стерву-ростовщицу, или о том, который потом на базаре в покаянном кликушестве лбом хлопал о землю? Вам, посещавшему семинарий Булгакова, может быть, это нравится?» («Встречи с Лениным, 331 ст.).

Было короткое время – в 1905 г. – когда Н. В. пробовал стать меньшевиком, но и они ему не подошли – «по темпераменту». Он очень скоро от них ушел, оставаясь, как говорил, «беспартийным социалистом». «Меньшевики это те же большевики, но в полбутылках», писал – П. Б. Струве.

В те годы Н. В. много и блестяще писал, и кончилось это тем, что владелец самой распространенной в России газеты «Русское слово», И. Д. Сытин, знавший толк в людях, пригласил Вольского на пост фактического редактора «Русского слова». Официальный редактор, знаменитый тогда Влас Дорошевич, делами газеты занимался мало, часто уезжал за границу. Так что фактически Н. В. редактировал всю газету, что давало большое положение и большие деньги. Так он проработал до Первой мировой войны.

Как-то я спросил у Н. В.:

– Но ведь вы тогда у Сытина получали, наверное, громадные деньги, могли стать богатым человеком...

– Ох, не говорите, стыдно вспомнить, – отозвался Н. В. – Получал две тысячи рублей в месяц, тогда как губернаторы получали, кажется, шесть тысяч в год. И знаете что? Все съедал тотализатор. Это была страсть, и глупая страсть. Бывало, как получу деньги – тут же на бега. Ну, лошадки все и съедали!

Этого я от Н. В. никак не ожидал.

В эмиграции Н. В. много писал – в «Современных записках», в «Последних новостях», в «Новой России» (у Керенско-

го), в «Новом журнале» (у Карповича), в «Народной правде» (у меня), в «Социалистическом вестнике», в «Новом русском слове», в «Русской мысли». Статьи обычно подписывал псевдонимами – либо «Н. Валентинов», либо «Е. Юрьевский».

После войны, в Мюнхене, Н. В. выпустил интереснейшую книгу «Доктрина правого коммунизма». Говорят, что в архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке хранятся многие его рукописи. Из них я знаю «Раннего Ленина» и «Символистов». Рукопись «Символисты» я читал. Это очень плохая работа, ибо тут Н. В. взялся не за свое дело. К художественной литературе «уха» у него не было. Он ее не чувствовал. Но многих символистов знал лично, в молодости был дружен с Андреем Белым, Эллисом и другими. И как человек, хорошо понимавший Белого, смеясь, говорил: «Белый – что? Белый как ангел – голова, кудри, плечики, начало туловища, а дальше – ничего».

Насколько хорошо Н. В. относился к Белому и все ему прощал, настолько он ненавидел (действительно *ненавидел*) Александра Блока. Н. В. сам рассказывал, как в «Русском слове» он, как редактор, наложил на Блока «табу». Блок часто присылал в газету свои стихи, но все они, как говорил Вольский, «летели в мусорную корзину»: «Я лично его не знал, но, по чести скажу, ненавидел».

Ничего не понимая, я пристал к Н. В., чтоб он объяснил мне причину этой ненависти. Можно любить или не любить Блока, я тоже в нем кое-чего не люблю, говорил я, например, эту «Жену, облеченную в солнце», но Блок – большой поэт, и тут нет никакого спора, он, конечно, был бы украшением «Русского слова».

– Дело не в поэте, а в человеке, – сказал Вольский. – Я его презирал!

– Но почему же?! – приставал я.

Наконец Вольский сдался.

– Хорошо, я скажу, но пусть это останется между нами. Как-то Белый, когда он был в ссоре с Блоком и с ним не встречался, рассказал мне, что у Блока подразумевается под «ночными фиалками». И после этого Блок мне физически опротивел.

– Не представляю себе, что же тут может подразумеваться под «ночными фиалками»? – приставал я.

Вольский никак не хотел говорить, но, наконец:

– Хорошо, я вижу, вы так заинтригованы этими «ночными фиалками», что я скажу вам. Так вот, подразумевается под «ночными фиалками» некая небольшая часть женских гениталий, по-медицински это – клитор, а по-простонародному – с...ь. И вот этими «ночными фиалками» (конечно, у проституток) он и занимался, их и любил. Как только я услыхал это от Белого – кончено, Блок мне физически опротивел. И я побороть себя уже не мог, да и не хотел. Потому и летели все его стихи в мусорную корзину. За все эти годы только раз я сделал исключение для стихотворения, которое отвеча ло моим взглядам на предвоенное развитие российской промышленности, что-то такое – «Разгорается... Америки новой звезда».

В 1964 г. в Плесси Робенсон после невероятно мучительной болезни Н. Вольский скончался. Заместителя такому эмигранту не нашлось.

Б. И. Николаевский

Борис Иванович наконец прилетел в Париж. Я снял ему комнату в отеле наискосок от нас. С аэропорта он приехал прямо к нам. За время войны Б. И. не изменился, разве немного пополнел. Встретились мы очень дружески. Олечка приготовила чай. Помню, мой первый вопрос был:

– Ну, Б. И., как же там, в Америке-то, довольны?

На что Б. И. с какой-то застенчивой улыбкой ответил:

– Да, в Америке-то очень хорошо, только где-нибудь в Белебее мне было бы лучше. Я ведь в «заграницах» нигде неприживаюсь.

Это была правда. Несмотря на все свои «интернационалы» и «социаль-демократии» (он произносил по-старинке, с мягким «л»), Б. И. был страшно русский и, как Тургенев, Вырубов, Мечников, не мог бы добровольно жить в «заграницах».

Родился Б. И. в Белебее Уфимской губернии в 1887 г. В его характерной наружности было что-то от тех краев – славяно-башкирское, даже башкирское – больше. Он как-то показал мне фотографию матери – женщины с типично русским хорошим лицом. Он ее очень любил. Но наружностью Б. И. пошел не в мать. Помню, в Париже до войны я был в его комнате, когда он ждал звонка от матери из Москвы. Помню его страшное волнение, когда он, услышав голос матери в трубке, кричал в телефон каким-то надтреснутым, готовым перейти в плач голосом:

– Мама, это я, Боря! Боря!

Разговор не то из-за плохой слышимости, не то из-за «чего-то другого» – оборвался. Думаю – из-за «чего-то другого»: НКВД «в личном порядке» мстило своему заядлому врагу, высланному меньшевику Николаевскому.

Отец Б. И. был священником, и в его роду, как он говорил, было «премного поколений священников». У Б. И. бережно хранилось самотканное деревенское полотенце с вышивкой синим и красным крестиком: «Отцу Иоанну от верных прихожан» – подарок сельскому священнику, о. Иоанну Николаевскому.

Но Б. И. с юности принял иной «сан» – сан революционера-интеллигента. И в этом сане он был весьма типичен, один из последних могикан этого покроя. Таких уж нет, не та эпоха. Может быть, когда-нибудь, несмотря на их мировоззрен-

ческую узость и на их многие государственные прегрешения, в этом типе людей найдут и нечто привлекательное – интегральный идеализм. Недаром такой их антипод, но тонкий психолог и «ловец человеческих душ», как В. В. Розанов, написал об этих людях замечательные строки в «Опавших листьях».

С юности Б. И. стал марксистом, и навеки. Он знавал аресты, тюрьмы, ссылки – это были его «университеты». Не имея законченного образования, Б. И. был широко и разносторонне образованным человеком. В 1917 г. он был избран в ЦК РСДРП. А в 1922 г. вместе со всей головкой меньшевиков (отсидев предварительно в Бутырке) был выслан большевиками за границу. Тогда-то, в 1922 г., я и познакомился с ним в Берлине, в «Новой русской книге», а потом подружились. Б. И. мне много помог в документации моих книг «Азеф», «Дзержинский», «Тухачевский» и других.

Сейчас Б. И. приехал во Францию и Германию на розыски своего уникального архива, захваченного нацистами в первые дни после их вступления в Париж. Приехал с «аршинными» бумагами из Америки к местным американским и союзным властям с просьбой оказывать Б. И. всяческую помощь в деле разыскания его архива или хотя бы его остатков.

Олечка сказала Б. И., чтобы он по утрам непременно приходил к нам пить чай и подкрепляться.

– Ольга Андреевна, вы же не знаете, когда я начинаю свой день, – в шесть утра!

– Прекрасно, завтрак будет вас ждать в шесть утра.

И ежедневно, в шесть утра Б. И. стучался в нашу дверь. Во Франции у него была большая удача: чемодан, который он зарыл у знакомых под Парижем в саду, оказался в полной сохранности. Но книги, пачки с вырезками, комплекты газет и журналов, масса документов, все, что было в помещении архива, бесследно исчезло, захваченное нацистами. Через несколько дней Б. И. отправился на их розыски в Германию.

За то время, что Б. И. был в Париже, мы все, что нужно, обсудили, обговорили. Он спросил о Мельгунове. Я сказал, что едва ли останусь у него в редакции: тут и неврастенический характер С. П., и его методы работы, да иногда и направление журнала. Все говорит за то, что я оттуда уйду. Б. И. рассказал о скором основании в Нью-Йорке Лиги борьбы за народную свободу. Просил быть, пока негласным, представителем ее в Париже. Я согласился. Я рассказал, что ни Ник. Влад. Вольский (Валентинов), ни П. А. Берлин к Мельгунову в журнал не идут, издавна зная его характер. Упомянул, что когда я сказал Ник. Влад. Вольскому, что вступил в редакцию Мельгунова, Вольский с горячностью ответил: «Ну, большей глупости, дорогой мой, вы сделать не могли. Я же его знаю еще по Москве. С ним нельзя работать. Он патологический тип, невропат».

Действительно, то, с чем я сталкивался на редакционных собраниях, меня нисколько не ободряло, а многое просто поражало, когда, например, на заседании редакции Мельгунов вдруг не своим голосом кричал на секретаря редакции – Якова Константиновича Бычека: «Идиот!»

Б. И. меня понял и не уговаривал продолжать работать с Мельгуновым. Он понял, что я уйду от Мельгунова, и сказал, что инициаторы создания Лиги считают, что я должен переехать в Нью-Йорк. И что Далин насчет виз для нас говорил с секретарем американского посольства в Париже – Чипманом. «Так что тут препятствий не будет никаких», – сказал Б. И.

«Народная правда»

Не буду говорить о последних причинах моего ухода из редакции журнала С. П. Мельгунова. Малоинтересно. Ушел и ушел («по принципиальным соображениям», как говорится), став поэтому у Мельгунова чем-то вроде «врага № 1». В осо-

бенности потому, что я вскоре – с помощью своих американских друзей – стал издавать ежемесячник «Народная правда». В нем, к раздражению Мельгунова, писала вся наша демократическая элита публицистов: Н. В. Вольский, Б. И. Николаевский, Д. Ю. Далин, П. А. Берлин, М. В. Вишняк, Ю. П. Денике, В. М. Зензинов, Г. П. Федотов; все они ценили журнал Мельгунова как «свободное слово», но в нем не писали.

Никого сотрудничать в «Народной правде» уговаривать не пришлось. Только – П. А. Берлина. Но «возражал» он не очень долго. П. А. был видный экономист, публицист на разнообразные темы, автор нескольких книг. Когда я, придя к нему на квартиру на рю де ля Конвансьон, изложил, в чем дело, он слегка «замялся»:

– Видите ли что, Р. Б. Я, конечно, очень сочувствую вашему начинанию, но одно обстоятельство меня смущает.

– Какое же, П. А.?

– В «Народной правде» будет, кажется, сотрудничать некто Икс, и меня это шокирует.

Я знал, что за этим последует, но хотел выслушать и спросил:

– А что именно?

– Ведь Икс же сочувствовал Гитлеру, и это общеизвестно. Написал о Гитлере какое-то стихотворение. Раз мне рассказали такую историю. В одном русском доме в самый разгар депортации евреев из Парижа в Германию все были этим потрясены и взволнованы. Об этом только и говорили. И вдруг Икс с улыбкой говорит: «Господа, не понимаю, почему вы все так волнуетесь? Ведь мы же не евреи?» Говорят, на Икс напали, но слово не воробей: что на языке, то и на уме. И когда кончилась война и открылись почтовые сообщения, я написал об этом в Нью-Йорк в редакцию «Нового русского слова», описав весь этот инцидент. Они мне ответили, что ес-

ли Икс приедет в Нью-Йорк, они ему руки не подадут. А ведь в «Последних новостях» Поляков, Седых, Икс все вместе работали в редакции лет двадцать и больше.

Тут мне пришлось объяснять П. А. мое отношение к коллабо. Я сказал, что этот вопрос мы обсуждали с Николаевским, Далиным, Вольским и все были согласны, чтоб никакими «преследованиями» мелких коллабо не заниматься, а наоборот – открыть двери некоторой части «для исправления», так сказать. И вскоре Павел Абрамович дал в «Народную правду» прекрасную статью «О холодной войне». В ней он писал:

«Если есть возможность избежать войны, то, конечно, надо ее всячески избегать. Но если на буйный и наступательный большевизм нельзя надеть смирительную рубашку, если надо отдать на коммунистическое съедение всю Европу и Азию и нельзя мирными средствами сломить упорство Сталина, если война, как это считали Ленин и Сталин, неизбежна, то как подавить в себе сознание, что уж лучше воевать, пока Сталин не готов, пока он поэтому и не начинает войну, чем когда он сочтет себя готовым и пошлет атомные бомбы, объявляя ими войну? Все это упирается в один вопрос: на кого работает будущее?»

Цитирую это потому, что все №№ «Народной правды» были посвящены этой главной теме: наступлению тоталитарного большевизма на свободный Запад. И призывали – к сопротивлению Сталину. Как знает читатель, тема эта сейчас особенно злободневна: удастся ли Западу (президенту Рейгану) защитить (теперь уже «звездной войной») демократию?

В «Народной правде» я делал ставку на привлечение новых советских эмигрантов и объединение с ними. И этого, по-моему, я достиг. В № 1 «Народной правды» я поместил свою статью «Смысл встречи двух эмиграции», где писал:

«На российских эмигрантов история наложила две задачи: быть кадрами борцов с большевизмом за Россию и быть передатчиками этой борьбы в мир, предупредителями мира о грозящей ему опасности.

В течение почти тридцати лет в меру своих сил эмиграция эти задачи выполняла. Но с каждым годом они до чрезвычайности осложнялись, ибо большевики все плотнее закрывали Россию железным занавесом. И вскоре закрыли Россию столь плотно, что во внешнем мире даже самая зоркая – российская эмиграция – перестала ее видеть.

Конечно, мы знали факты. Но для дела эмиграции не в них была суть. Мы не могли узнать единственно решающего: отношения народа к власти. Изжито ли народом коммунистическое наваждение, освободился ли от октябрьского обмана, понял ли наконец народ, что его национальную революцию, всю вековечную надежду на землю и волю для чуждых народу целей украли у него коммунисты?

Зато после этой войны мы, старая эмиграция, впервые за тридцать лет узнали Советскую Россию. Мы узнали ее, встретившись с нашими братьями, с новой, уже советской, эмиграцией. Вместе с землей российских дорог, которую новая эмиграция принесла в Европу на своих сапогах, она принесла и разрешение единственно нужного вопроса.

Новая эмиграция прорвала для нас железный занавес. От нее мы узнали, что от октябрьского обмана в России не осталось следа, что между народом и властью – полный разъем. Это свидетельство наших братьев, оставшихся тут, вместе с нами, в Европе, и есть основной смысл встречи двух российских эмиграции.

Новая эмиграция показала нам и нового пореволюционного человека. Это не Платон Каратаев, как бы ни хотели этого некоторые старые эмигранты. Пореволюционный человек трезв, реалистичен, силен и целеустремлен. Всякое беспоч-

венное мечтательство из него вышиблено Сталиным навсегда. Он хочет жить разумно, а не заумно, он стал чем-то похож на американца. И эта его трезвость сулит большую крепость будущему государству. Не будем его идеализировать. Упомянем только, что, провожая освобожденного польского еврея Ержи Гликсмана с края света, из Ухтыжемского концлагеря, где гибнут миллионы российских людей, замученный ленинградский профессор сказал уходящему Гликсману: «Если вы и в самом деле расскажете о том, что вы здесь видели, то не забудьте прибавить, что страдающий русский народ в своей основе хорош».

Статью «Шансы войны и мира» нового советского эмигранта Николая Турова, опубликованную в №1 «Народной правды» в 1948 году, автор писал так, будто это был не 1948, а 1986 год. Вот цитаты:

«Резко обострившиеся за последнее время взаимоотношения между Советским Союзом и его бывшими союзниками – явление совершенно закономерное. Оно, по существу своему, не содержит в себе никакой неожиданности. Можно с уверенностью утверждать, что это очередное обострение далеко не последнее из числа тех, свидетелями которых нам еще предстоит быть. В результате многочисленных наглядных уроков, преподанных ему Советским Союзом, Запад начинает наконец немного понимать сущность и цели сталинской агрессии. Перспектива возможного возникновения третьей мировой войны приобретает все более реальные очертания. Весь мир с понятной тревогой следит за ходом событий. Сегодня один основной вопрос волнует все человечество: неизбежно ли военное столкновение сталинского агрессивного тоталитаризма с демократиями?

На этот вопрос не хотелось бы отвечать утвердительно, и в то же время вряд ли кто-нибудь рискнет полностью исключить возможность столкновения. Причина тому – природа

сталинизма, органически не подверженная, в силу своего существа, никаким положительным эволюционным воздействиям. «Ни при какой погоде» кремлевские правители неспособны отказаться от проведения в жизнь мировой коммунистической революции. Некоторые возлагают надежды на возможность внутреннего взрыва в Советском Союзе, который повлек бы за собой уничтожение коммунистической диктатуры. Но нам, людям, знакомым с «техникой власти» в СССР, надеяться на это, к сожалению, никак не приходится.

Теория не уничтожения зла, а только ограждения себя от него уже достаточно осуждена историей. В назидание можно вспомнить хотя бы историю отношений демократий и Гитлера. Быть сильным, защитить себя от любых возможных неприятных случайностей со стороны Советского Союза, а в идеале все-таки, несмотря ни на что, найти какую-то формулу для дальнейшего совместного проживания с Коминформом – такая психология в корне порочна и содержит в себе много благоприятных факторов для дальнейшей разрушительной деятельности коммунистов. Красноречивым доказательством этому служит хотя бы создание так называемой «сферы советского влияния», превратившейся на глазах всего мира в сферу распространения коммунистической агрессии, в грандиозный концлагерь для нескольких ранее свободных европейских народов. При такой постановке вопроса все будет сводиться только к одному: на кого будет работать время?

Не останавливаясь ни перед чем, по сталинским директивам коммунисты всячески расшатывают устои западной культуры, пытаясь создать Советскому Союзу новых послушных сателлитов. Вся деятельность Коминформа и его многочисленных пятых колонн, все подчинено единой воле Кремля и единой цели – ликвидации независимого от коммунистической тирании мира.

Когда-то Сталин писал: «Цель нашей стратегии – выиграть время, разложить противника и накопить силы для перехода в наступление» (том VI, стр. 160).

Нелегко отрешаясь от традиционного понимания международного права, в течение долгого времени ошибочно рассматривая Советский Союз как государственный организм «нормального», но несколько «особого типа» и строя i: ним свои взаимоотношения в обычно принятом правовом порядке, западная демократия в своей политической деятельности допускала и допускает трудно поправимые ошибки. В основе их лежит все то же непонимание, что СССР – это вовсе не «нормальное государство», это вовсе не Россия.

Готовясь «к последнему и решительному бою», Кремль ведет энергичную политическую подготовку как внутри Советского Союза, так и вне его, за границей, правильно сознавая все колоссальное значение этого участка в грядущем столкновении. Демократии должны стать сильнее Сталина. В этом и только в этом единственная возможность преградить путь коммунистической агрессии в ее наступлении к захвату мира».

Чтобы доказать, как широко новые советские эмигранты показали в «Народной правде» советскую тоталитарную действительность, я приведу хотя бы заглавия их статей.

Темы самые разнообразные: А. Струнский «Страх Кремля перед покушениями», К. Жихарев «ЭКУ против плана Маршалла», В. Яновский «Национальный вопрос и народы России», Н. Бондарь «Рассказ бывшего преподавателя школы НКВД», А. Юрлов «Как строятся «персональные» дачи», Бек-Булат «Берия – маршал жандармерии», С. Максимов «Цена одной прогулки Сталина», Ю. Елагин «Новогодний вечер в Кремле», В. Орлов «Красная армия и компартия», Вл. Поздняков «Как Ежов принимал НКВД», Н. Бенедиктов «Сексоты», профессор Н. Голубев «Сталинский антисемитизм», А. Волгин «Психиатры МВД», Р. Менский «Как делили кол-

хоз», Я. Тягов «О трудовом крестьянском хозяйстве», доцент Г. Александров «Советская власть и русская интеллигенция», Быв. ЗеКа «Строительство Норильска», старший лейтенант П. Снегирев «Я бежал из СССР», П. Ольховский «Польский коммунизм и Сталин», В. Денисов «Массовые акции КРУ и СПУ НКВД», Е. Андреевич «Сов. радиопропаганда», О. П. «Сто один километр», полковник И. Дмитриев «Как создается немецкая коммунистическая армия», Ив. Медник «Почему я перебежал», И. Курганов «Классы в СССР», В. Малинин «Кусок хлеба и съезд писателей», Р. Менский «Спецпереселенцы», П. Павлов «Разгром Совнаркома Украины», Ю. Матвеев «О пятых колоннах», Ю. Елагин «Музыкальная политика Кремля», А. Зотов «Пасха в тюрьме» и другие. Кроме русских эмигрантов в «Народной правде» писали эмигранты поляки: Зигмунд Заремба, Иосиф Чапский, Иосиф Долина, балканские эмигранты: Живко Топалович, К. Шопов, Георгий Димитров, Ценко Барев и другие.

Всего выпустил я восемнадцать номеров «Народной правды» (1948–1951 гг.) Прекратился журнал в Америке из-за моего политического разрыва с Б. И. Николаевским. Разрыв же произошел из-за того, что для меня марксизм-ленинизм-сталинизм – были *единым* политическим явлением. А для Николаевского сталинизм был искажением и того и другого. Меньшевики тогда выдумали «фокус-покус» об «искажении» Сталиным большевицкой революции.

Лига борьбы за народную свободу

13 марта 1949 г. в Нью-Йорке организовалась Лига борьбы за народную свободу, В нее вошли новые и старые эмигранты. Инициативная группа составилась из Р. Абрамовича, В. Бутенко, М. Вишняка, Д. Далина, Б. Двинова, К. Х. Денике, В. Днепрова, Ю. Елагина, В. Зензинова, Н. Калашникова,

В. Касьяна, А. Керенского, профессора Б. Константинова, профессора И. Миролюбова, Б. Николаевского, профессора А. Спасского, профессора Г. Федотова, А. Чернова, и В. Чернова. В этот день Лига устроила в Нью-Йорке первый свой большой митинг под председательством профессора М. Карповича. На митинге выступили старые эмигранты: редактор «Социалистического вестника» Р. Абрамович, редактор «Нового журнала» профессор М. Карпович, редактор «Грядущей России» А. Керенский и председатель бюро Лиги Б. Николаевский. Из новых – секретарь Лиги В. Днепров, профессор Б. Константиновский и недавно бежавший из СССР, улетевший на самолете лейтенант-летчик А. Барсов.

Зал был переполнен настолько, что несколько сот желавших проникнуть туда не были допущены. На следующий день все крупные американские газеты – «Нью-Йорк таймс», «Нью-Йорк геральд трибюн», «Нью-Йорк пост», «Нью-Йорк уорд телеграмм», бостонская «Крисчен сайенс монитор» и другие – писали о рождении Лиги и о ее митинге. Сообщения появились в английских, французских, швейцарских, бельгийских газетах. На разных языках, на двадцати шести волнах из Америки была передана информация о Лиге. «Голос Америки» передал специальное сообщение на русском языке, предназначенное для Советского Союза. 27 марта – в противовес созванной в Нью-Йорке по приказу Москвы Конференции Мира, на которую специально из СССР были командированы Фадеев и Шостакович, – Лига борьбы за народную свободу устроила свой второй открытый митинг, прошедший с еще большим успехом. На этом митинге под председательством А. Ф. Керенского выступили с речами старые эмигранты: Б. И. Николаеве кий, профессор Г П. Федотов и новые – Оксана Косенкина, второй бежавший из СССР лейтенант-летчик П. А. Пирогов, инженер И. Тополев, студент Ю. Хабданк, артистка З. Сергеева и инженер И. Некрасов.

Вместе с русскими ораторами на этом собрании выступили и друзья *Лиги*, представители иностранных демократических организаций – знаменитый чешский летчик генерал Ян Амброш, генсек Крестьянского Интернационала и председатель болгарской крестьянской партии Георгий Димитров, член хорватской крестьянской партии Богдан Радица, представитель армянской партии Дашнакцутюн Вартан Агаронян и представитель польской организации «Свободная Польша» Шумский.

Еще в мае 1948 года в своем первом воззвании группа «Народного движения» призывала к созданию широкого российского демократического фронта. Для борьбы со сталинизмом не на словах, а на деле была необходима широкая демократическая организация с авторитетным представительством, к работе которой прислушивалась бы как российская эмиграция, так и иностранное общественное мнение, а самое главное – наши братья за железным занавесом.

У *Лиги* были все возможности к тому, чтобы развернуть работу большой политической ответственности перед нашей страной. Международное положение было крайне напряженным. Необходимо было и нам организоваться, создать политический центр борьбы российской демократии. Центр был необходим здесь, в эмиграции, как база нашей борьбы. Но он еще более был необходим и для наших братьев по ту сторону рубежа, за железным занавесом, чтобы *там* знали, что за границей *существует* организованная борьба за их свободу. Чтобы там знали наш *адрес.*

Всякий новый эмигрант хорошо знает настроение подсоветских людей и всегда подтвердит (и подтверждает!), какое громадное значение имеют заграничные радиопередачи, доносящие *туда* сведения о борьбе российских антикоммунистических организаций.

Из бюллетеня Лиги мы узнали, что параллельно с выступлением Лиги в Америке организовались общества «Друзей русского народа» и «Друзей русской свободы». Создание таких обществ было необходимо и в других странах, это – наша опора в иностранном общественном мнении, в противовес существующим везде пятоколонным «Обществам друзей Советского Союза».

Одновременно с двумя митинговыми выступлениями Лига начала выпускать и свой бюллетень «Грядущая Россия» под редакцией А. Ф. Керенского. В первых трех номерах были напечатаны статьи Днепрова, Спасского, Николаевского, Миролюбова, Карповича, лейтенанта Пирогова, Абрамовича, Федотова, Бородина, Далина, Зензинова, Елагина. Как эти статьи, так и опубликованные «Основные положения» ясно определяли программу и задачи Лиги. Кого объединяет Лига? «Основные положения» говорили: «Мы зовем ВСЮ свободолюбивую эмиграцию поддержать почин Лиги и вместе с ней развить общую деятельность для непримиримой борьбы с коммунистической тоталитарной диктатурой и для создания свободной демократической России». Конечно, «Основные положения» Лиги не явились исчерпывающей политической программой, да таковой у Лиги и быть не могло, ибо это была не «политическая партия», а широкий союз демократов, куда входили люди разнообразных оттенков политической мысли, единых в своей приверженности народному делу, народной правде, демократизму. «Основные положения» Лиги были только наметкой общедемократической программы будущего. В своей статье о Лиге я писал:

«Если Лиге дано стать зачинателем широкого объединения демократических сил за рубежом, то для правильного и успешного ведения антикоммунистической борьбы нам кажется необходимым, чтобы в этот центр на совершенно равных правах вошли представители зарубежных демокра-

тических организаций всех народов России. В этом случае Лига станет многонациональным центром, правильно представив лицо нашей родины. Не будем закрывать глаза, что национальный вопрос сейчас вызывает самые острые распри в эмиграции, парализуя возможность общей работы и суля в будущем многие осложнения. Судя по «Основным положениям» и статьям секретаря Лиги В. Днепрова, развивающим эти положения по национальному вопросу, Лига возьмет на себя инициативу широкого сговора демократов всех национальностей нашей страны. Представители старшего поколения старой эмиграции в этом вопросе должны прислушаться к голосу молодой советской эмиграции. На основании длительного советского опыта эта эмиграция неожиданно для многих принесла новое понимание национального вопроса в России и новое национальное самосознание».

В передовой статье первого бюллетеня редактор отмечал: «Новые межнациональные отношения внутри Союза глубоко вошли в сознание всех народов страны, в том числе и в сознание нового поколения русского народа. История вспять не идет!» В «Основных положениях» мы читаем: «Лига полагает, что строем, наиболее соответствующим сегодняшней современной обстановке, может быть только демократическая республиканская федерация народов России. Только Союз народов, созданный свободным соглашением...»

Вместе с новыми эмигрантами в Лигу вошли старые известные политические деятели российской демократии. Но, поскольку можно было судить и по речам выступавших на митингах, и по статьям в бюллетене, ударение и весь пафос Лиги ставился на силы новой, советской эмиграции. В своей прекрасной статье «Две иль одна», в первом номере бюллетеня профессор Г. П. Федотов говорил об этом так: «Смена пришла неожиданно, с той стороны, откуда мы ее не чаяли. Россия двинулась на нас не отдельными беглецами, но

сплошной массой: она затопляет нас, оглушает своими криками, будит, зовет к борьбе. Какое счастье! Мы не одни. Россия пришла, мы с ней. Она говорит на наших митингах, издает политические газеты, свидетельствует потрясающим голосом на процессе В. Кравченко. Железный занавес прорван. А поток людей, «выбравших свободу», не иссякает. Бегут по земле, летят по воздуху. Клянутся в ненависти к тиранам, готовятся к борьбе».

Чтобы стать настоящей силой, которая могла бы перебросить борьбу туда, Лига должна превратиться в массовую деятельную организацию, а стать таковой это значит влить в Лигу все демократические силы новой эмиграции. На втором митинге Лиги, 27 марта, обращаясь к летчику А. П. Барсову, А. Ф. Керенский сказал: «Мы, старики, теперь можем быть спокойны. Программа Лиги – не наша программа. Ее продиктовали нам люди из России». Эти слова звучат как передача знамени борьбы от старой эмиграции к новой.

«Мы не знаем, как разрядится сегодняшнее напряжение международного положения. Но независимо от этого, во имя освобождения нашего народа, мы должны готовить борьбу с сталинизмом не на жизнь, а на смерть. А для этого нужно прежде всего организационное единение демократических сил. В рождении Лиги борьбы за народную свободу, мы хотим видеть краеугольный камень мощной демократической организации».

Речь сенатора Мак-Магона

Мне хотелось бы теперь привести речь американского сенатора Мак-Магона, произнесенную им 20 марта 1951 г. перед членами американской организации «Друзья борцов за свободу России». Его выступление подтверждало, что среди крупных политических деятелей Запада были люди, пре-

красно понимавшие советскую действительность и не смешивающие русский народ с кремлевской диктатурой.

«Я глубоко благодарен за возможность выступить перед организацией «Друзья борцов за свободу России». В борьбе, которую американский народ ведет за дело мира, создание такой организации американскими гражданами говорит об их горячей преданности идеалам мира и свободы. Американцы все сильнее убеждаются в той основной истине, что народы Советского Союза и их кремлевские диктаторы разделены глубокой пропастью. И мы понимаем, что самым мощным оружием в наших руках является чувство дружбы, объединяющее американский народ и народы Советского Союза, которых мы отнюдь не смешиваем с подавившей эти народы властью. Мы знаем, что так же, как и мы, народы Советского Союза не хотят войны.

Простые русские люди стремятся к тому же, к чему стремятся и все народы мира. Они хотят обеспечить себе достойный уровень жизни и те свободы, без которых нет достоинства человеческой личности. Русские не хотят ни убивать, ни быть убитыми. Они хотят сами жить и дать жить другим. И не русский народ, а сталинский режим коммунистического империализма препятствует установлению всеобщего и прочного мира.

Если по эту сторону железного занавеса есть еще люди, которые сомневаются в том, что подавляющее большинство подвластных коммунизму народов наши друзья и союзники, то пусть эти люди обратятся к фактам: четырнадцать миллионов мужчин и женщин в лагерях рабского труда Советской Империи являются живыми свидетелями той борьбы за свободу и того духа сопротивления, которые продолжают жить в народных массах Советского Союза даже под железной пятой тоталитарной диктатуры.

Уничтожение свободы слова и свободы печати, лишение русских людей свободы поездок за границу – свободы, которая предоставляется только небольшой кучке тщательно проверенных высших чиновников и, наконец, герметическое закрытие советских границ для иностранцев – все это служит неопровержимым дока-

зательством вечного страха, который преследует кремлевских диктаторов.

Если бы Сталин знал, что у него есть поддержка народа, он не изолировал бы этот народ от внешнего мира и не лишил бы его возможности соприкосновения с западной цивилизацией. Эта слабость Сталина должна стать источником нашей силы. Мы должны и мы можем найти пути и средства говорить прямо с народами России. Мы должны сказать им, что они не одиноки, что мы их не забыли. Как наши предки, основавшие Свободные Соединенные Штаты Америки, мы должны высоко поднять факел свободы, чтобы его свет, через все преграды, проник за пределы железного занавеса и дал бы надежду миллионам людей, порабощенных и заточенных под эмблемой серпа и молота.

Соединенные Штаты всегда стояли за свободу и мир. Это сознание мы должны перебросить в Россию, это должны знать русские люди, страдающие в Советском Союзе. Народы Советского Союза страстно желают конца режима, который ссылает миллионы людей в лагеря рабского труда, – режима, который лишает крестьян их собственной земли, преследует религию, не допускает существования свободных профсоюзов, душит науку и искусство, не допускает общения народов СССР со свободными народами мира и сохраняет страшную шпионскую систему и огромную полицейскую армию. Каждый день из-за железного занавеса к нам приходят новые доказательства страстного стремления русского народа к свободе.

За последние годы мы узнали от многих тысяч советских граждан, бежавших на Запад, что это стремление к свободе живо не только среди массы русского народа, среди офицеров и солдат советской армии, но даже и в самой коммунистической партии. Продолжающиеся после войны чистки и яростная пропаганда против западных, и в частности американских, влияний являются лишним доказательством того, как *боятся* советские правители глубоко укоренившегося в русских людях стремления к свободе и дружественному общению с другими народами.

Наша задача, в их интересах и в наших собственных, дать понять русским людям, что их стремление к свободе и наша борьба за мир – это одно и то же. Русские должны знать, и мы обязаны сделать все

для того, чтобы они это знали, что *основным препятствием на пути к всеобщему миру и всеобщему благосостоянию стоят нынешние советские правители, которые угнетают народы СССР и угрожают нам.*

Мы убеждены, что правительство, которое представляло бы подлинные интересы русского народа, заняло бы руководящее место в осуществлении общей задачи построения свободного, процветающего мира. Это правительство приветствовало бы установление международного контроля над атомной энергией, оно согласилось бы на всеобщее разоружение и сотрудничало бы в осуществлении экономических, социальных и гуманитарных задач, стоящих перед Организацией Объединенных Наций. Мы убеждены в том, – и русские люди должны это знать, – что правительство, которое отражало бы свободную волю народов СССР, жило бы в мире со своими соседями и со всеми свободными народами мира.

Русские еще помнят действенную американскую помощь во время голода 1921 года. Они вспоминают американскую помощь продовольствием, одеждой и медикаментами во время Второй мировой войны. Многие тысячи советских офицеров и солдат, которые в последние дни этой войны встретились с американской армией, сохраняют живую память о подлинной дружбе и демократическом духе, которые они встретили в американских союзниках.

Советские правители не могут вести войны без поддержки русского народа. Вот почему настоящее доказательство нашей дружбы к русскому народу является оружием, которого Сталин боится больше всего! Для того, чтобы это оружие служило делу мира, мы должны на деле показать русским, что мы преисполнены решимости помочь им вновь стать на путь, ведущий к обретению подлинной свободы.

Эта помощь русским, ищущим свободы, уже оказывается им различными способами. К этой помощи следует причислить и усилия организации «Друзей борцов за свободу России». Конкретная помощь, оказываемая этой организацией советским гражданам, которые, рискуя своей жизнью, бегут на Запад, является не только гуманитарным делом. Она вдохновляет – я уверен – и других русских искать новые пути борьбы за свободу. На Западе живут многочисленные группы бывших советских граждан, которые забо-

тятся о том, чтобы их газеты и журналы попадали в руки советских солдат в Германии и Австрии. Они мужественно содействуют тому, чтобы рухнул железный занавес!

Со своей стороны, наше правительство продолжает стремиться к расширению «Голоса Америки» и к тому, чтобы перед его микрофоном выступали *новые борцы* за русскую свободу!

В огромной задаче изменить ход событий и не допустить катастрофы атомной войны основное бремя должно пасть на американский народ. Русский народ должен слышать голоса не только своих единомышленников, но и голос американского правительства и также голос американского народа. Вот почему, когда я внес в Сенат резолюцию о декларации американской дружбы к русскому народу, я предложил, чтоб это стало известно в каждом американском городе и в каждом американском местечке. Я надеюсь, что под этим подпишется каждый американец. Мы должны дать возможность тем американцам, которые участвовали в войне, обратиться к их бывшим союзникам. Мы должны дать возможность участникам американского рабочего движения регулярно обращаться к советским рабочим. Мы должны дать возможность американским матерям сказать русским женщинам об их общем желании мира. Мы должны дать знать русским, что ВСЕ слои населения Соединенных Штатов поддерживают их законные стремления к свободе и социальной справедливости. Мы должны заверить русских в том, что американский народ активно поддерживает их стремление к свободе! Тем самым мы укрепим русских людей в их сопротивлении агрессивной и пагубной политике нынешних правителей России.

История учит, что, в конечном счете, сила бессмертных идеалов побеждает зло, угнетение и войну. Эти бессмертные идеалы – идеал человеческой свободы и христианский идеал всечеловеческого братства. Эти идеалы, за которые борется и русский народ, сильнее всех орудий пыток, созданных для их подавления. Несмотря на тридцатилетнее владычество, кремлевские диктаторы не смогли подавить в русских людях эти идеалы свободы и христианской веры. Если во имя их американский народ протянет руку дружбы народам России, мы тем самым совместными усилиями поднимем железный занавес и обеспечим прочный мир.»

«Ольга Андреевна, вы – сильный человек»

Мой окончательный разрыв с Николаевским произошел необычно и для меня совершенно неожиданно. У нас было заседание Лиги. Заседания всегда устраивались на нашей квартире 506 West 113 Street. Как председатель Лиги, Николаевский открыл собрание, но вместо текущих дел начал с личных нападок на меня. Я был у него как бревно в глазу из-за неприятия его марксизма. Нападки могли быть всякие, но то, что начал говорить Николаевский, для меня было просто невероятно. Он начал на меня лгать и клеветать, чего я никогда от него не ожидал. Он стал говорить о том, что куда бы я ни вошел, я разлагаю всякую организацию, что я испортил его личные дружеские отношения с Мельгуновым. Я закричал с места:

– Борис Иванович, ведь вы же говорите неправду! Ведь черновик письма об окончательном разрыве с Мельгуновым писали вы! Я только литературно его отредактировал.

На что Борис Иванович чрезвычайно раздраженно бросил:

– Это неправда! Было так, как я говорю!

Я был крайне поражен ложью Бориса Ивановича как методом борьбы со мной. Но Борис Иванович продолжал:

– Из-за Гуля у меня порвались отношения с Берлиным.

Я опять с места крикнул:

– Борис Иванович, побойтесь Бога, вы сами порвали отношения с Берлиным, потому что в чем-то ему не доверяли.

– Неправда, было так, как я говорю! – ответил Николаевский.

В этот момент из кухни в комнату заседания вошла Олечка, она всегда во время заседаний была в кухне и приносила оттуда чай, печенье, варенье. По лицу Олечки я увидел, что она взволнована до крайности. И вдруг Олечка чрезвычайно энергично проговорила, обращаясь к Борису Ивановичу:

– Борис Иванович, в моем доме вы бесстыдно лжете и клевещете на моего мужа, я этого не допущу! Будьте любезны немедленно покинуть мою квартиру!

Произошло замешательство. Я невольно бросился к Олечке, но она меня отстранила. Одно мгновение Борис Иванович сидел без движенья, как бы не зная, что ему делать. Потом встал, сложил в портфель свои бумаги и молча ушел из квартиры. Это и был окончательный разрыв личных и общественных отношений с Николаевским. Вскоре Лига прекратила свое существование. Интересно отметить, что когда Николаевский на улице встречал меня, он мне не кланялся, но когда встречал Олечку – кланялся ей.

В разрыве с Николаевским меня беспокоило одно. Я думал, что это отразится и на наших добрых отношениях с И. Г. Церетели. Но к моему удивлению, этого не произошло. Ираклий Георгиевич, как всегда, звонил нам по утрам, и отношения продолжали оставаться такими же дружескими.

Когда мы собрались летом ехать в отпуск в Питерсхем, к Е. Л. Хапгуд, И. Г. попросил нас устроить и его в Питерсхеме. Олечка сняла ему комнату прямо напротив того дома Е. Л. Хапгуд, который мы у нее снимали. Дом был в два этажа. Места было много, и Олечка стала уговаривать И. Г. переехать к нам. Она говорила ему и о том, что ему не к чему самому готовить, стелить постель и прочее. Все это будет делать она без всякого труда, Ираклий Георгиевич долго сопротивлялся, но напор Олечки был так силен, что в конце концов он согласился и переехал к нам на второй этаж. Жили мы очень дружно и ежедневно к пяти часам ходили к Е. Л. Хапгуд пить чай.

Я в это время служил на радиостанции «Свобода» и приезжал только в пятницу. Бот приезжаю я в одну из пятниц, Олечка, как всегда, ждет меня у остановки автобуса и по дороге домой рассказывает:

– Ты знаешь, на днях Ираклий Георгиевич за завтраком вдруг говорит мне: «Ольга Андреевна, расскажите, пожалуйста, как у вас произошла ссора с Николаевским». Я ему подробно рассказала, он довольно долго молчал, а потом вдруг говорит:

– Ольга Андреевна, вы – сильный человек!

«Новый журнал»

«Новый журнал» существует в Нью-Йорке уже сорок пять лет. Это небывалый срок для эмигрантского «толстого» журнала. Но это естественно, ибо и созданная в былой России тоталитарная империя – явление в новой истории небывалое.

«Новый журнал» расходится в тридцати шести странах, хоть тираж его и невелик. Я редактирую журнал тридцать лет. Как же создался этот русский свободный журнал? Когда Гитлер, поддержанный тогда Сталиным («дружба, спаянная кровью»), занял свободную Францию, парижский русский толстый журнал «Современные записки» прекратился и многие его сотрудники приплыли новыми эмигрантами в Соединенные Штаты.

Здесь у постоянных сотрудников «Современных записок» – у М. О. Цетлина и М. А. Алданова возникла мысль о продолжении издания русского свободного толстого журнала, то есть о продолжении «Современных записок».

Как рассказывает Алданов, эта мысль впервые возникла у него и у Цетлина еще в 1940 году во Франции, в Грассе, в беседе с Иваном Алексеевичем Буниным, перед отъездом Алданова и Цетлина в Америку. Совсем уже перед погрузкой на пароход Алданов писал Бунину из Марселя: «В Нью-Йорке я решил первым делом заняться поиском денег для созданья журнала». А в 1941 году, уже из Нью-Йорка, Алданов пишет Бунину: «Толстый журнал будет почти наверное... можно будет выпустить книги две, а потом будет видно...»

Никаких субсидий и дотаций со стороны не было. Конечно, тогда Цетлин и Алданов не могли себе представить, что их «Новый журнал» просуществует сорок пять лет и будет издано не «две книги», а вот уже сто шестьдесят две. Если к этим ста шестидесяти двум книгам «Нового журнала» прибавить семьдесят книг «Современных записок», ибо «Новый журнал» явился их продолжением, то надо признать, что двести тридцать книг свободного русского толстого журнала, изданного русскими эмигрантами, – это серьезный вклад в русскую культуру.

В редакционной статье первой книги «Нового журнала» задачи его определялись так: «Наше издание, начинающееся в небывалое катастрофическое время, – единственный русский толстый журнал во всем мире вне пределов Советского Союза. Это увеличивает нашу ответственность и возлагает на нас обязанность, которой не имели прежние журналы: мы считаем своим долгом открыть страницы «Нового журнала» писателям разных направлений – разумеется, в известных пределах: люди, сочувствующие национал-социалистам и большевикам, у нас писать не могут».

Так было сказано сорок пять лет тому назад, так остается и теперь: люди, сочувствующие идеям, убивающим свободное творчество, не могут быть сотрудниками «Нового журнала». И в то же время я хочу подчеркнуть, что на протяжении всех сорок пять лет редакция «Нового журнала» давала и дает возможность высказаться всем, кому дорога свободная русская культура. Мы исповедуем принцип самой широкой терпимости ко всякому инакомыслию – политическому, мировоззренческому, к разным литературным направлениями, вкусам, школам, даже модам. Исключались всегда и исключаются поныне только сторонники тоталитарных идеологий, то есть сторонники массовой антикультуры. Шестьдесят девять лет тому назад государственный секретарь в админи-

страции президента Вудро Вильсона Колби так писал американскому послу в Лондоне Дэвису: «Правительство США разделяет *отвращение цивилизованного мира к тирании, которая ныне господствует в России...*» Вот в течение шестьдесяти девяти лет мы и сохраняем это отвращение, и оно помогает нам, порой в очень трудных условиях, продолжать издание нашего журнала, посвященного русской свободе. К сожалению, в наши дни на Западе многие либералы-демократы это «отвращение» утеряли. Кстати, один из бывших редакторов «Нового журнала», М. А. Алданов, автор многих замечательных романов и политических эссе, очень хорошо, по-моему, говорил о взаимоотношениях Свободного Мира и Советского Союза, используя название знаменитой драмы Шиллера: «Отношения между Европой и Советской Россией – трагикомедия коварства и любви». А о капиталистическом строе Алданов добавлял: «Поистине должна быть какая-то внутренняя сила в капиталистическом мире, если его еще не погубила граничащая с чудесным глупость нынешних его руководителей».

Но основатели «Нового журнала» – Цетлин и Алданов – недолго были его редакторами. В 1945 году смерть прервала работу М. О. Цетлина над одиннадцатой книгой журнала. До последней минуты, уже тяжело больной, в постели, Цетлин все еще редактировал рукописи, читал корректуру. И один из ближайших его друзей говорил: «Если бы М. О. отказался от этой своей работы, он, вероятно, умер бы раньше: только эта работа его и поддерживала».

Говоря о первом периоде журнала, я хочу (и я должен) остановиться на его основателях. Из всех редакторов «НЖ» я не знал лично только М. О. Цетлина. Но его облик я представляю себе ясно по рассказам близких ему людей и по тем воспоминаниям, которые о нем опубликованы. М. О. Цетлин родился в 1882 году в Москве, в богатой семье. Тихий, болез-

ненный человек, чьи интересы смолоду были – поэзия, музыка, живопись. Правда, в 1905 году он примкнул к партии эсеров, но это была некая «дань времени»; партийцем, политическим человеком он никогда не был и не стал. С 1906 года Цетлин долго жил за границей. Он был прекрасно образован, владел всеми главными европейскими языками, по своему складу был типично русским интеллигентом дореволюционной формации. Некоторые писатели, знавшие Цетлина, отмечают в нем некую старомодность вкусов. Это в каком-то смысле должно быть верно. Во всяком случае, кораблю современности он предпочитал корабль вечности. И был не из тех, кто при всяком удобном и даже при неудобном случае «задрав штаны бежит за комсомолом», будь то «комсомол» московский, или английские битлс, или поп-арт, или оп-арт. В одной своей статье «О критике» Цетлин ясно выражает свое литературное кредо. Говоря о критиках-формалистах (вернее, о крайних формалистах, которых я бы назвал «механистами»), Цетлин пишет: «Для критиков-формалистов не существует в произведениях вопроса «что», а только «как»; для них единственный вопрос – *как это сделано*? Это очень любопытно, но такой вопрос задает себе часто ребенок при виде игрушки и для удовлетворения любопытства ломает игрушку и не употребляет ее для игры.

Критики-формалисты так и думают: игрушки существуют не для игры, но для того, чтобы быть сломанными. Критики-формалисты не только отрекаются от своей личности, но и уничтожают личность автора. Для них не существует биографии. Для них литература – безличная эволюция литературных приемов, отдельные группы, которые носят случайные псевдонимы – например, Лермонтов или Гоголь». Цетлин был сторонником философской критики (Влад. Соловьев, Розанов, Шестов, Мережковский). «Здесь, – пишет Цетлин, – критик является представителем человеческого в

самом общем и углубленном его выражении. И в самых высоких своих образцах критика философская переходит в критику религиозную».

За годы своей жизни Цетлин выпустил пять сборников стихов. Поэзию он чувствовал тонко, но приметным поэтом не стал. Книги его стихов забыты, хотя в них бывали подлинные строфы. Так, в одном из стихотворений, несколько напоминающем русскую латынь Валерия Брюсова, Цетлин так говорит о современности, в своем сознании связывая ее с падением античного мира:

Он с обреченными связал свою судьбу.
Он близких к гибели и слабых на борьбу
Звал за бессильные и дряхлые законы.
Но с триумвирами – и рок, и легионы,
Но императорских победен взлет орлов,
А у Сената что? Запас красивых слов!

Это стихотворение называется «Цицерон». Оно довольно «актуально», если в «Цицероне» видеть русскую демократию во главе с А. Ф. Керенским, полную «красивых слов». А в триумвирах и легионах – Ленина, Троцкого, Сталина с победоносным, все захлестывающим охлосом. В Париже в журнале «Современные записки» Цетлин был бессменным редактором отдела поэзии. И эту работу выполнял прекрасно. Но главное литературное наследство, оставленное им, была не его поэзия, а две книги его прозы – «Декабристы» и «Пятеро и другие». Первая посвящена теме декабрьского восстания 1825 года. А «Пятеро и другие» – знаменитой «могучей кучке» русских композиторов и людей, их окружавших – Мусоргский, Балакирев, Римский-Корсаков, Бородин, Стасов, Глинка, Даргомыжский, Серов, Кюи. Алданов назвал обе книги Цетлина – «высокими образцами историко-биографической ли-

тературы». Я не думаю, чтобы в этой оценке было чрезмерное дружеское преувеличение. К обеим этим книгам Цетлина русский читатель будет не раз возвращаться. А если б они были изданы в свободной России, то их успех и у широкого читателя, и у знатоков эпохи, мне кажется, был бы обеспечен.

Я хочу думать, что эти беглые отрывки о Цетлине дадут все-таки какой-то литературный облик основателя и первого редактора «Нового журнала».

Теперь о М. А. Алданове. Алданов родился в 1886 году в богатой семье в Киеве. Получил хорошее образование: окончил два факультета Петербургского университета: физико-математический и юридический и парижскую Ecol des Sciences Sociales. Много путешествовал по Европе, бывал в Азии, в Африке, в Америке. Начал писать еще в России, до революции выпустил три книги: «Ошибка Толстого», «Армагеддон» и «Толстой и Роллан». Но только в эмиграции литературная работа Алданова развернулась широко. За рубежом он написал около тридцати книг. Из них двадцать четыре были переведены на иностранные языки, переводы были даже на бенгальский (чему Алданов шутливо радовался!). Многие книги Алданова, особенное его историческая тетралогия («Св. Елена, маленький остров», «Девятое Термидора», «Чертов мост», «Заговор») имели очень большой успех как у русских, так и у иностранных читателей. Кроме исторических романов и романов из современной жизни, Алданов писал рассказы, выпустил философскую книгу «Ульмская ночь» и четыре книги очерков, в которых его блестящие политические портреты разных государственных деятелей обнаруживают необычайную эрудицию, осторумие и меткость характеристик.

Н. И. Ульянов в статье «Алданов-эссеист» дает некоторые образцы такой писательской меткости. Приведу некоторые из них. О Леоне Блюме: «Блюм в социалистическом лагере –

профессионал любезности. Жаль, что он улыбается преимущественно левой стороной». Еще о Блюме: «Программа Леона Блюма очень хороша. Осуществить ее невозможно». О крайне левых партиях: «Левому крылу нередко надо бросать кость – быть может, с искренним пожеланием, чтобы оно этой костью подавилось». О графе Эстергази, виновнике дела Дрейфуса: Эстергази заявлял: «У меня в жизни было двадцать две дуэли: две из-за собак и ни одной из-за женщин».

Некоторые критики считают, что политические эссе – лучшее в творчестве Алданова. Другие, напротив, высоко ставят его исторические романы. О вкусах, как известно, не спорят. Но бесспорно одно, что М. А. Алданов был своеобразным и выдающимся писателем и человеком. И живи он в свободной России, его книги расходились бы миллионными тиражами.

По характеру Алданов был сродни Цетлину. Оба были мягки, ко всем благожелательны, очень терпимы к чужому мнению. По своему мировоззрению Алданов был скептик и пессимист. Но не питая никаких иллюзий в отношении ближнего, он в общении решительно со всеми был изысканно вежлив и неизменно доброжелателен. Карпович говорил, что в основе благожелательности Алданова лежало прежде всего то, что он был человеком культуры. Это верно. Недаром Бунин называл Алданова «последним джентльменом русской эмиграции». Впрочем, эта роль была не очень трудна.

Алданов отошел от редакторства после выхода четвертой книги. Вскоре он уехал в Европу. Умер Алданов в 1957 году в Ницце.

В 1945 году, с одиннадцатой книги руководство журналом перешло к Михаилу Карповичу, профессору Гарвардского университета. Я знал М. М. долго и хорошо, работая вместе с ним с 1952 года и до его смерти в 1959 году. Но о нем я скажу позже. А сейчас, я думаю, надо подвести некий итог первому

периоду «Нового журнала»: с основания и до конца мировой войны.

К недостаткам этого периода, по-моему, надо отнести переполнение первых книг «Нового журнала» политически злободневными статьями. Конечно, была война, и печатание таких статей было понятно. Даже сейчас некая ценность их остается, как отображение тогдашних военных и политических событий и оценка их демократическим сектором русской эмиграции. Но для журнала, каким он был задуман, это все-таки был недостаток, что, кстати, сознавали и сами редактора. В первой книге «НЖ», в редакционной статье, говорилось: «Быть может, читатели простят нам, что во втором отделе настоящей книги политика, «рок наших дней», частью вытесняет другое. «Современные записки», «Русские записки» и те старые русские журналы, традициям которых мы хотим следовать, издавались в мирное время .и могли, естественно, уделять больше места общекультурным, философским, научным вопросам. Мы, однако, надеемся, что нам удастся в дальнейшем исправить этот большой недостаток первой книги». Свои извинения редактора приносили читателями и за некоторую политическую одномастность своих сотрудников. «В посильном нам масштабе мы хотим осуществлять идею единения в подборе сотрудников «НЖ». Но, по случайности, в публицистическом отделе первой книги преобладают люди левого лагеря. Во второй книге будут статьи публицистов иного направления», – так писала редакция.

Другим недостатком начальных книг журнала был плохой стихотворный отдел. Сейчас всякий человек, более или менее чувствующий поэзию, в комплекте «НЖ» увидит, что первые книги наряду с ценными стихами часто содержат не очень интересную поэзию, говорящую только о необычайной терпимости его редакторов. Конечно, и этот недостаток отчасти обусловливался отрезанностью от Европы, но и мягкость

М. О. Цетлина была тоже виною. По своей деликатности Цетлин не мог отказать многим, писавшим стихи без всякого к тому основания. Но, в конце концов, все это мелкие недостатки по сравнению с тем замечательным и ценным материалом, который был опубликован в «НЖ» за этот период. У меня нет возможности перечислять *все* ценное. Я отмечу только некоторые произведения, чтобы показать значимость публикаций «НЖ» с 1942-го по 1945 год.

За это время в отделе художественной прозы были напечатаны прекрасные рассказы Ив. Бунина – «Речной трактир», «Пароход Саратов», «Таня», «Генрих», «Дубки», «Натали» и другие; роман М. Алданова «Истоки», вещи Б. Зайцева, В. Набокова, М. Осоргина, В. Яновского. Но что мне хотелось бы особенно выделить, так это изумительные записки Михаила Чехова, известного актера МХТ – «Жизнь и встречи». «Жизнь и встречи» Михаила Чехова, я думаю, одна из самых примечательных публикаций «Нового журнала» за «военный период». Очень хороши и воспоминания известного художника М. В. Добужинского. Среди других ценных воспоминаний и статей отмечу воспоминания бывшего царского министра графа П. Н. Игнатьева, известного композитора А. Т. Гречанинова, знаменитого химика профессора В. Н. Ипатьева, статьи профессора Бабкина об академике И. П. Павлове, воспоминания бывшего советского дипломата А. Г. Бармина, бывшего редактора газет «Речь» и «Руль» И. В. Гессена, статьи музыковеда И. Яссера. В публицистике за этот период было тоже много ценных статей – известного историка П. Н. Милюкова, известных социологов Н. С. Тимашева и П. А. Сорокина, философа и публициста Г. П. Федотова, профессора Г. Гинса, известного экономиста В. С. Войтинского, А. Ф. Керенского, А. А. Гольденвейзера, В. М. Чернова, М. В. Вишняка, Б. И. Николаевского, Г. Я. Аронсона, Д. Ю. Далина, В. Александровой, Ю. П. Денике, Д. Н. Шуба, С. М. Шварца и других.

Второй период «Нового журнала» начался со времени окончания войны, когда редакция могла уже связаться с русскими писателями, оставшимися во время войны в Европе. Это началось примерно с книги четырнадцатой. Тогда стал печататься роман Б. Зайцева «Путешествие Глеба», отрывки из его книги «Жуковский», «Плачужная канава» А. Ремизова, проза Н. Берберовой, Вл. Варшавского, Г. Газданова, Р. Гуля, Л. Зурова, М. Иванникова, Ю. Марголина, И. Одоевцевой. В это же время впервые в «НЖ» стали сотрудничать советские послевоенные эмигранты. В отделе прозы – повесть о концлагере Г. Андреева «Трудные дороги», повесть П. Ершова «Нинель», рассказы Н. Ульянова и других. В отделе поэзии, наряду со стихами И. Бунина, Ю. Балтрушайтиса, М. Волошина, З. Гиппиус, М. Цветаевой, Ф. Сологуба, Н. Клюева, Георгия Иванова, И. Северянина, Вл. Корвин-Пиотровского, И. Елагина, В. Набокова, Странника, Ю. Одарченко, К. Померанцева, И. Одоевцевой, Вл. Смоленского, А. Величковского, Лидии Алексеевой, Е. Таубер, Г. Евангулова, Ю. Терапиано, Г. Кузнецовой, Н. Туроверова, Н. Оцупа, Вл. Злобина, Я. Бергера, И. Чиннова, стали печататься стихи – Ольги Анстей, Глеба Глинки, О. Ильинского, Д. Кленовского, В. Маркова, Н. Моршена и других. По-моему, особенно ценны – за этот период – были публикации в отделе воспоминаний и документов: Зинаида Гиппиус о Мережковском, Федор Степун о предреволюционной России, Юрий Анненков о Блоке, К. Брешковская о революции 1917 года, Н. Валентинов – «Встречи с Андреем Белым», Н. Евреинов о театре «Кривое зеркало», известный пушкинист Модест Гофман о предреволюционном литературном Петербурге, А. Гумилева – «Н. С. Гумилев». Были опубликованы письма М. Горького к В. Ходасевичу и к Л. Андрееву, студенческие воспоминания П. Н. Милюкова, размышления В. А. Маклакова о I Государственной Думе; личные воспоминания известного итальян-

ского слависта Этторе Ло Гатто о поэте Николае Клюеве; воспоминания члена Временного правительства И. Г. Церетели о революции 1917 года, протопресвитера о. Георгия Шавельского – о Первой мировой войне, Б. Погореловой – «Валерий Брюсов и его окружение». Особенно хочу отметить превосходно написанные воспоминания известной публицистки Е. Д. Кусковой – о детстве, юности, о предреволюционном времени. К сожалению, эти воспоминания были прерваны смертью их автора. Я очень многого, конечно, не отмечаю. Скажу только, что в общий поток мемуарной литературы влились тогда интереснейшие работы советских послевоенных эмигрантов: М. Корякова – очерки о войне; бывшего беспризорника Н. Воинова – «Беспризорные»; художника Мориса Шаблэ – «Дом предварительного заключения», о терроре времен ежовщины; Е. Богдановича (профессора Зоргенфрея) «Я гражданин Ленинграда» – о блокаде Ленинграда во время войны; воспоминания Л. Дадиной «М. Волошин в Коктебеле»; В. Позднякова о советских партизанах – «Республика Зуева»; Т. Кошеновой – о буднях советской женщины; подполковника Ершова – о работе НКВД во время войны; Н. Витова – рассказ латышского крестьянина, бежавшего из СССР; Вл. Орлова – «Из записок гвардейского политработника»; Т. Фесенко – о Киеве времен войны; Ю. Елагина – театральные воспоминания, профессора К. Штеппы – о массовом терроре ежовщины. Были напечатаны письма Марины Цветаевой к Г. Федотову и Р. Гулю и письма Зинаиды Гиппиус и В. Ходасевича к М. Вишняку.

За этот второй период «Новым журналом» было опубликовано много ценного и в отделе «Политика и культура». Отмечу статьи известных религиозных мыслителей – Н. А. Бердяева, протоиерея о. В. Зеньковского, профессор Н. О. Лосского, Г. П. Федотова «Россия и свобода», «Судьба империи» и другие, С. Л. Франка «Ересь утопизма», Л. Шесто-

ва «Лютер и церковь». Отмечу и работы известных славистов Д. И. Чижевского «Баадер и Россия» и Р. В. Плетнева «Федоров и Достоевский. Из истории русского утопизма»; интересная работа знатока русского масонства П. А. Бурышкина «Филипп – предшественник Распутина»; статьи Н. Валентинова о Ленине под общим заглавием «Ранний Ленин»; статья В. А. Маклакова «Еретические мысли»; интересная большая работа известного американского ученого и дипломата Джорджа Кеннана «Америка и русское будущее». Много статей опубликовал за этот период профессор Н. С. Тимашев – «Пути послевоенной России», «Окаменение коммунистического строя», «Очернение Сталина» и другие.

Профессор М. М. Карпович давал в каждой книге всегда интересную редакционную статью на темы истории, политики, литературы под общим заглавием «Комментарии». Было много ценных публикаций на политические и экономические темы – А. Ф. Керенского, Д. Ю. Далина, Ю. П. Денике, Е. Д. Кусковой, М. В. Вишняка, профессора Д. Н. Иванцова, Н. И. Ульянова, А. В. Тырковой и других. Одним словом, на мой взгляд, за второй период «НЖ» опубликовал множество литературных произведений, мемуаров, документов и статей, значение и ценность которых несомненны и которые останутся вкладом в русскую литературу и науку.

Психологическая трудность для редакции «НЖ» в это время была в том неизбежном для эмиграции ощущении оторванности, в понимании того, что журнал читается лишь русской эмиграцией и иностранцами, занимающимися вопросами России. Руководство журнала чувствовало себя в неком безвоздушном пространстве, не находя (или почти не находя) доступа к современному русскому читателю в Советском Союзе.

По-моему, в эмиграции мы живем более-менее благополучно только потому, что у нас как-то нет времени задумать-

ся о том, как страшно это наше безвоздушное существование, как страшна всегда всякая эмиграция, а затянувшаяся на полвека – в особенности. Многие эмигранты неосознанно волокут эту жизнь – до конца, до кладбища на Сент-Женевьевде-Буа под Парижем, или до Нового Дивеева под Нью-Йорком. Эту страшность эмигрантского бытия в свое время остро ощущал Герцен, так и умерший в Париже и похороненный на знаменитом Пер-Лашез, откуда позднее его останки были перевезены в «лазурно-голубую» Ниццу. Остро ощущал эту страшность эмиграции и мой земляк, пензяк, почти сосед по именью, друг Герцена Николай Огарев, спившийся в Лондоне и похороненный где-то в Гринвиче на окраине британской столицы. Что же спасает нас от страшности этого существования? Нас спасает – как это ни банально звучит – только духовная связь с Россией. С какой Россией? С советской? С Советским Союзом? С другой, с той вечной Россией, которой мы – сами того не сознавая – ежедневно живем, которая непрестанно живет в нас и с нами – в нашей крови, в нашей психике, в нашем душевном складе, в нашем взгляде на мир. И хотим мы того или не хотим, – но так же неосознанно – мы ведь работаем, пишем, сочиняем только для нее, для России, даже тогда, когда писатель от этого публично отрекается. «Если кончена моя Россия, – я умираю», – писала в одном стихотворении Зинаида Гиппиус, подчеркивая эту нашу ничем неразрываемую, метафизическую связь с музыкой русской культуры. И когда эмигрант времен Герцена, поэт и ученый Владимир Сергеевич Печерин, возненавидевший Россию, уехал из нее и писал в стихах – «и тяжелый крест изгнанья добровольно я подъял», а в прозе – «Россия никогда не будет иметь меня своим подданным», – он все-таки уносил именно Россию в себе. Известно, что, став католическим монахом, Печерин устроил на какой-то площади в Ирландии публичное сожжение протестант-

ской Библии. Кто знает, чего в нем было больше в тот момент: горячо взятого католицизма или России?

В 1952 году М. М. Карпович и издававшая тогда журнал М. С. Цетлина предложили мне войти в редакцию в качестве секретаря. Я вошел. И с тех пор – тридцать три года – я отдаю все свои литературные силы работе в «Новом журнале». Перед тем, как перейти к обзору третьего периода «Нового журнала», я хочу дать хотя бы беглый набросок облика М. М. Карповича, двенадцать лет редактировавшего «Новый журнал».

М. М. Карпович родился в 1888 году в Тифлисе, в нем была польская, грузинская и русская кровь. По окончании гимназии М. М. поступил в 1908 году в Московский университет на историко-филологический факультет и был оставлен при университете по кафедре русской истории. Но научной карьеры в России Карпович сделать не успел. В 1917 году в составе «чрезвычайной миссии», вместе со своим другом, послом Временного правительства Б. А. Бахметевым, он выехал в Америку – на «шесть месяцев». Увы, эти «шесть месяцев» стали всей последующей жизнью Карповича, потому что в России произошел октябрьский переворот.

По своему характеру М. М. Карпович был схож с Цетлиным и Алдановым. Та же мягкость и такт в обращении со всеми людьми, то же внутреннее отталкивание от всякой резкости и любовь к философии англосаксонского компромисса. Политически Карпович был русским либералом, «рыцарем свободы и законности»; этот тип человека уже бесповоротно ушел из русской современной жизни. К сожалению. Став с одиннадцатой книги единоличным редактором «НЖ», Карпович еще раз так определил его задачи: «На страницах нашего журнала нет и не может быть места для отрицателей свободы и проповедников нетерпимости, как нет его и для сторонников соглашательства с ними, но в этих широких пределах журнал наш представляет своим сотрудникам пол-

ную возможность высказывать самые разнообразные общественно-политические, философские или эстетические взгляды. Стремясь по мере наших сил и возможностей откликаться на политическую злобу дня, мы не хотим, однако, целиком уходить в злободневность, памятуя о том, что поддержание культурной традиции и признание автономии культуры являются необходимым условием духовного здоровья – и одним из могущественных средств в борьбе против тоталитарного варварства. На этих путях мы остаемся верны тому духу, в котором «Новый журнал» был задуман».

Конечно, мягкость и терпимость Карповича как редактора были не безграничны. Там, где Михаил Михайлович считал нужным, он бывал тверд, хоть и мягок по форме. Приведу такой пример. В «Новом журнале» мы печатали роман Алданова «Бред». Алданов – маститый автор, и рукописи его редактированию, разумеется, не подлежали. Но вот в присланном очередном отрывке у Алданова одно действующее лицо, американский полковник, ультра американски произносит известную фразу Юлия Цезаря – veni, vidi, vici (пришел, увидел, победил) – винай, вайдай, вайсай. Прочтя это, Карпович расстроился и говорит мне: «Ну нет, эту пилюлю я проглотить не могу. И зачем Марку Александровичу это понадобилось? Не понимаю. Во-первых, интеллигентные американцы так не говорят, в этом я уж могу его заверить. Это нехороший, вульгарный гротеск, и его надо опустить, я напишу об этом Марку Александровичу». Михаил Михайлович написал Алданову, и это ультра американское преображение фразы римского полководца было вычеркнуто из романа.

Но иногда мягкость характера М. М. и его благожелательное отношение ко всем пишущим и нежелание их обидеть брали верх. Помню, мы получили одну довольно большую вещь, против помещения которой я возражал по многим

причинам. Доводы свои я высказал М. М., он был со мной совершенно согласен. Но, как бы и меня и сам себя уговаривая, М. М. говорил: «Но все-таки как же нам быть? Ведь мы же убьем его, ведь человек пишет, у него есть какой-то свой собственный творческий мир, есть какое-то право писать именно так...» И вдруг, как бы чувствуя всю несостоятельность своих доводов, М. М. сказал: «Знаете что, Р. Б., давайте просто зажмуримся и сразу проглотим эту пилюлю... ну что случится? Ну, покричат, пошумят, а потом же ведь забудут». Так «пилюля» и пошла в набор при полном зажмуре редактора.

Михаил Михайлович был очень заботлив в отношении сотрудников журнала. Расскажу один случай, который может быть даже интересен исторически. Нам прислал свои воспоминания о 1917–1918 годах доктор Иван Иванович Манухин. Манухин – известный врач, ученый, много лет работал в Пастеровском институте в Париже. Политически Манухин был человеком левого лагеря, дружил с Максимом Горьким, был хорош с многими членами Временного правительства. И в своих воспоминаниях он рассказывал, как следственная комиссия Временного правительства послала его в Петропавловскую крепость, в Трубецкой бастион, освидетельствовать заключенных там царских министров, из которых многие жаловались на разные недомогания. Манухин с удовольствием согласился, ибо, как он пишет, «хотел хотя бы врачебной помощью облегчить тяжелое положение этих несчастных монархистов». Он поехал, и состоянием одного заключенного – бывшего директора Департамента полиции Белецкого – Манухин был потрясен: Белецкий оказался заключен в абсолютно темный карцер, очень тесный, так что он не мог встать, и сидел в этом карцере на хлебе и на воде. В крепости Манухин узнал, что такое заключение предписано Белецкому по «личному распоряжению Керенского». Манухин возмутился. Поехал к представителям Временного правительства и за-

явил, что если Белецкого немедленно не освободят из карцера, то он отказывается от своей работы в Петропавловской крепости. Белецкого, разумеется, тут же перевели из карцера в обычную камеру.

Но упоминание Манухиным факта, что в темный карцер Белецкий был посажен по «личному распоряжению Керенского», поставило редактора Карповича в тяжелое положение. Не напечатать воспоминания Манухина нельзя, воспоминания очень интересны. Но напечатать «о личном распоряжении Керенского» – тоже нельзя: Керенский был сотрудник «Нового журнала», и Карпович был очень дружен с Керенским. Он знал, что упоминание о таком «личном распоряжении» чрезвычайно расстроит Керенского. Керенский был очень импульсивный человек; к тому же в эмиграции Керенского и без того травили с разных сторон. Как же тут быть? Пришлось Карповичу писать длинное письмо доктору Манухину о том, что произойдет с Керенским, если оставить в воспоминаниях это его «личное распоряжение». Но все уладилось. Манухин понял и Карповича, как редактора и друга Керенского, понял и возможность тяжелой реакции Керенского. И «личное распоряжение» было в воспоминаниях опущено. Кстати, я А. Ф. Керенского знал довольно хорошо и могу засвидетельствовать, что жестоким человеком он совершенно не был. Вероятно, это «личное распоряжение» было каким-то случайным демагогическим жестом для «революционной демократии», о котором и сам Керенский, наверное, забыл.

За семь лет совместной работы с М. М. было много интересных и забавных историй, из которых не всё еще можно предать гласности. В целом этот, второй, период журнала я бы охарактеризовал как удачный. И в этом была большая заслуга М. М. Карповича, хоть ему и трудно было заниматься «Новым журналом», ибо он был и деканом и профессором

Гарвардского университета, где читал курсы русской истории и истории русской общественной мысли, что отнимало много времени. И тем не менее почти к каждой книге «НЖ» Михаил Михайлович успевал написать – иногда в поезде между Бостоном и Нью-Йорком – очередной «Комментарий».

Было бы трудно установить дату, когда второй период «НЖ» перешел в теперешний, третий. Это, разумеется, произошло не сразу после смерти Сталина в 1953 году. Этот период начался с так называемой «оттепели», когда внезапно до нас стали доходить отдельные голоса писателей и читателей из Советского Союза.

Все, конечно, началось с «Доктора Живаго», пробившего окно в Европу. По-русски за рубежом впервые отрывок из этого романа Бориса Пастернака был напечатан у нас в 1958 году, в 54-й книге. Затем вскоре мы стали получать разные отклики, отзывы, даже приветы от некоторых советских писателей. Первый привет был передан нам с одного научного конгресса, через известного русского профессора-слависта от Анны Андреевны Ахматовой. Причем вместе с приветом Ахматова указывала, что в своем очерке о Гумилеве в книге 46 его свояченица А. Гумилева «много напутала и наврала». Так мы узнали, что Анна Ахматова читает «Новый журнал». А если читает она, то, вероятно, читают и другие писатели из советской элиты? Вскоре этому пришло подтверждение. Приехавший в Англию советский прозаик Парфенов получил от кого-то в Лондоне «Новый журнал» – весь тогдашний комплект – и, как нам передали, запершись в комнате гостиницы, читал и день и ночь. Парфенову журнал понравился, он хвалил многое, особенно хвалил – стихи Ивана Елагина, и увез с собой в Москву книги «Нового журнала». Потом от одного американского профессора, побывавшего в Москве, мы узнали, что директор одного из высших учебных заведений Москвы (я умышленно не называю какого) аккуратно читает

«Новый журнал», о котором он отозвался американскому коллеге весьма хвалебно, особенно отметив «прекрасный русский язык журнала». После советского языка-«канцелярита» эта похвала нас не так уж удивила и была понятна. Дальше, от литератора француза русского происхождения, ездившего в Москву, мы узнали, что он видел «НЖ» в редакциях «Литературного наследства» и «Нового мира». И на его недоуменный вопрос: «Разве вы получаете этот эмигрантский журнал?» – последовал несмущенный ответ: «Мы следим за *всей* русской литературой». Потом один видный деятель советской культуры (nomina sunt odiosa), встретившись в Европе со своим приятелем, известным американским профессором, за завтраком в разговоре о советских «толстых» журналах, вдруг сказал своему американскому коллеге: «Но больше всего я люблю нью-йоркский „Новый журнал“». Американец так и ахнул. И, приехав в США, конечно, сообщил нам об этом, желая нас обрадовать. И, разумеется, обрадовал.

В эти же годы, наряду с такими конспиративными и полуконспиративными отзывами и приветами, мы твердо, фактически убедились в том, что писательской и ученой элитой в Советском Союзе «Новый журнал» читается. В этом убеждали нас ссылки на наш журнал, которые стали появляться в «Литературной газете», в «Огоньке», в «Литературе и жизни», в «Литературном наследстве». Но особенно нас порадовали многочисленные ссылки на «НЖ» в книге известного ученого-слависта, академика Виктора Владимировича Виноградова «Проблема авторства и теория стилей». В ней Виноградов ссылается на «Новый журнал» много раз: и на статью известного музыковеда Леонида Сабанеева о музыке Стравинского, и на статью Юрия Иваска о поэзии Баратынского. А больше всех ссылок академик Виноградов делает на две статьи о творчестве Достоевского – профессора Николая Трубецкого и

профессора Ростислава Плетнева. Факт, что «НЖ» стал пробиваться в Россию, давал нам новые силы в деле издания журнала. Мы увидели, что журнал, скромно основанный Цетлиным и Алдановым в 1942 году в Нью-Йорке, стал нужен в России, являясь там некой отдушиной в свободный мир.

Правда, как известно, за оттепелью последовали некие заморозки, которые сказались и на том, что в советской печати уже нет ссылок на «Новый журнал» даже тогда, когда советская печать прямо, без зазрения совести, перепечатывает, например, из «НЖ» все, что мы печатаем из архива И. А. Бунина: наброски его рассказов, записи, его литературное завещание, письма. Но отсутствие ссылок на наш журнал – беда небольшая. Зато у нас давно уже есть – через американские агентства – официальные подписки на «НЖ» от ленинградской Академии наук, от Библиотеки Ленина в Москве, появились подписки и таинственные, где указан только номер почтового ящика. Последнюю такую подписку мы получили даже из Улан-Батора, из Монголии. По своей наивности мы полагаем, что это, вероятно, некие «органы» госбезопасности под псевдонимами изучают «НЖ» для «пополнения своего образования».

Вместе с проникновением в Советский Союз в этот третий период своего существования «Новый журнал» стал проникать и в славянские страны-сателлиты: в Польшу, в Чехословакию, в Югославию. Туда он идет в научные учреждения, в библиотеки. Есть и частные проникновения. Мы знаем, например, что наш журнал читал Михаиле Михайлов, этот завидно смелый и истый поборник свободы мысли. Знаем мы, что «НЖ» регулярно читал А. Твардовский, редактор «Нового мира», и И. Зильберштейн, редактор «Литературного наследства». Знаем, что в один из приездов Евгения Евтушенко в США он увез отсюда много книг «НЖ», причем когда на съезде славистов в Нью-Йоркском университете ему

дали последнюю тогда – 85-ю книгу – он сразу обнаружил свое знакомство с «Новым журналом». Беря 85-ю книгу, Евтушенко сказал: «А, этот тот журнал, где меня всегда ругают». Он, конечно, неправ. Мы его не «ругали». Вообще мы никого не «ругаем», а стараемся объективно оценивать, отдавая Божье – Богу, а кесарево – кесарю.

К сожалению, М. М. Карпович, который всегда рассматривал «НЖ» как некое свое служение России, не дожил до того времени, когда «НЖ» проник в Советский Союз. Карпович скончался в 1959 году.

После кончины М. М. у нас создалась редакционная коллегия в составе профессор Н. С. Тимашева, Ю. П. Денике и меня. В научном мире Н. С. Тимашев известен как социолог с международным именем, автор многих трудов, переведенных на многие иностранные языки. Н. С. родился в 1886 году. Высшее образование Н. С. получил в Страсбургском университете в Германии и в Александровском лицее в Петербурге. В 1914 году в Петербургском университете за свою работу «Условное осуждение» Н. С. получил степень магистра права, а в 1915 был приглашен читать в этом университете лекции. С 1916 года, будучи уже доктором права, Н. С. преподавал в Политехническом институте в Петербурге. В 1918 году Н. С. – уже ординарный профессор экономического отделения Института. Но в 1921 году научная деятельность Н. С. в Советской России обрывается. Из-за арестов по делу о так называемом «Таганцевском заговоре» (по которому многие были расстреляны) Н. С. был вынужден покинуть Россию.

За годы жизни на Западе многие труды Н. С. по социологии и праву сделали ему международное имя. Кроме книг, Н. С. опубликовал за рубежом множество статей. И, в частности, с самого основания «НЖ» был его сотрудником, напечатав здесь ряд ценных статей – «Сила и слабость России», «Перестройка в Советском Союзе», «Религия в Советской

России», «Пути послевоенной России», «На карательно-террористическом фронте» и многие другие. По его взглядам Н. С. надо определить как либерального консерватора. Так же, как М. М. Карпович, Н. С. – подлинный русский европеец, человек большой культуры, широкой терпимости ко всем инакомыслиям, за исключением одного – тоталитарного варварства. Вступление Н. С. в редакцию «НЖ» было большой поддержкой. Но, к сожалению, из-за тяжелой болезни фактического участия в редакционной работе Н. С. принимать не мог, оставаясь другом и постоянным ценнейшим сотрудником журнала.

Ю. П. Денике родился в Казани в 1887 году. Фамилия его – случайная, как у Герцена. Отцом Ю. П. был казанский помещик Осокин. В Казани Ю. П. окончил среднее учебное заведение и в 1915 году университет по историко-филологическому факультету, после чего был оставлен для подготовки к профессорскому званию. В 1920 году Ю. П. на короткое время стал профессором Московского университета по кафедре истории или, точнее – исторической социологии. В начале 20-х годов Ю. П. покинул Россию. Серьезный публицист, разносторонне образованный человек, Ю. П. из всех членов редакции «НЖ» за все годы его существования был единственным партийным человеком – социал-демократ (меньшевик). Но социалистом он был жоресовского типа, ценившим всегда и свободу противника. К сожалению, переобремененный всяческой работой, Ю. П. фактического участия в редакционной работе принимать не мог. В 1964 году Ю. П. внезапно скончался в Бельгии.

Так что после смерти М. М. Карповича мне пришлось вести «Новый журнал» одному. Это время, с 1959 года и до сегодняшних дней, входит в третий период «Нового журнала», когда журнал пробился к читателю и писателю за железным занавесом. За эти годы, так же как и за предыдущие, «НЖ»

опубликовал много примечательных вещей во всех отделах. Отмечу опять-таки только немногое. В отделе художественной прозы мы опубликовали много коротких рассказов и записей И. А. Бунина, которые, как я уже говорил, перепечатаны советской печатью; две вещи Б. К. Зайцева, «Река времен» и «Звезда над Булонью»; очерки В. В. Вейдле «Равенна» и «Бессмертная ошибка» (о Петербурге); пьесу Евг. Замятина; повесть Гайто Газданова «Пробуждение»; большую вещь Д. С. Мережковского, не опубликованную при его жизни – «Св. Иоанн Креста»; несколько рассказов Л. Д. Ржевского и Н. И. Ульянова; отрывки из романа Б. Темирязева «Рваная эпопея»; Юлия Марголина «Книга жизни»; рассказы Христины Керн. Но все эти авторы – давние сотрудники журнала. Отмечу прозу, полученную из СССР: повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна», которая уже вышла на нескольких иностранных языках; «Нарым. Дневник ссыльной» Елены Ишутиной – потрясающий документ о советской нарымской ссылке; «Находка в тайге» автора, которого мы подписали псевдонимом «Неизвестный». Опубликовали мы и вещи многих советских невозвращенцев: концлагерные рассказы известного армянского писателя Сурена Саниняна; рассказы из московской современной жизни Аллы Кторовой; сатирические сцены «Сталин» московского драматурга Юрия Кроткова, ставшего невозвращенцем только в 1963 году. В отделе поэзии – неизвестную поэму М. Волошина «Святой Серафим», посмертные стихи Зинаиды Гиппиус, неизвестную поэму Игоря Северянина, «Посмертный дневник» Георгия Иванова, поэмы Т. С. Элиота в переводе Н. Берберовой и множество стихотворений как зарубежных поэтов, так и полученных из Советского Союза от поэтов, которых там не печатают из-за «несозвучности».

В отделе «Литература и искусство»: – статьи Г. Адамовича под общим заглавием «Оправдание черновиков», его же

«Наследство Блока», «О чем говорил Чехов», В. Вейдле «О ранней прозе Пастернака», «Похороны Блока», «О смысле стихов», Н. Берберовой «Советская критика сегодня», К. Брауна «Тайная свобода О. Мандельштама», Вяч. Иванова «Мысли о поэзии», композитора Н. К. Метнера «Мысли о музыке», профессор В. Ледницкого о Льве Толстом, композитора Артура Лурье «Вариации о Моцарте», «О мелодии», С. Маковского «Случевский, предтеча символистов», профессора Р. Плетнева «О лирике Тютчева», А. Раннита «Рильке и славянское искусство», «Вяч. Иванов и его „Свет вечерний“», Н. Ульянова «Алданов-эссеист», «После Бунина» и др., М. Гофмана «Клевета о Достоевском», Вяч. Завалишина «Заболоцкий», «О Б. Зайцеве»; ряд статей о творчестве Достоевского профессора Н. С. Трубецкого, В. Александровой «Прошлое сегодняшними глазами» (о советской литературе), Евг. Замятина «О языке», «О сюжете и фабуле», Л. Зурова «Герб Лермонтова», Зои Юрьевой «О творчестве И. Витлина», «Ремизов о Гоголе», Ю. Иваска «Фет», «Бодлер и Достоевский», С. Карлинского «Вещественность Анненского», профессора Дм. Чижевского «О поэзии футуризма», «Что такое реализм», «О литературной пародии» и др., прот. А. Шмемана «Анна Ахматова», Ю. Офросимова «О поэзии Вл. Корвин-Пиотровского», Р. Гуля «Цветаева и ее проза», «Солженицын и соцреализм», «Георгий Иванов»; о романе «Доктор Живаго» были напечатаны четыре статьи – Ф. Степуна, М. Корякова, М. Слонима, Р. Гуля; Т. Петровская «Об эстонской поэзии»; Е. Кох «Марианна Веревкина». И много других интересных литературно-критических статей было напечатано за этот третий период.

В отделе «Воспоминания и документы» было опубликовано много ценных работ и по истории России, и по истории русского искусства и литературы: «Дневники» известного политического деятеля и историка, бывшего министра Времен-

ного правительства П. Н. Милюкова за время его пребывания в Белой армии и за время его переговоров с немцами в Киеве в 1918 году; Н. Валентинова «Встречи с Горьким», «О людях революционного подполья», «Ленинец раньше Ленина» (о большевике Вилонове), Р. Арсенидзе «Из воспоминаний о Сталине», А. Ф. Керенского «Моя жизнь в подполье» – впервые рассказанная Керенским история его подпольной жизни после захвата власти большевиками; А. Белобородова «В Академии художеств»; доктор Эдинбургского университета Милица Грин опубликовала «Письма М. Алданова к И. Бунину», Д. Далин – «Дело Кравченко», Л. Дан «Бухарин о Сталине», И. Ильин «На службе у японцев» (во время Второй мировой войны), Г. Кузнецова «Грасский дневник» (воспоминания о Бунине); письма известного советского писателя 20-х годов Льва Лунца из-за границы к «Серапионовым братьям» (публикация Гари Керна), С. Маковский «Н. Гумилев по личным воспоминаниям», И. Одоевцева «На берегах Невы» (воспоминания о Гумилеве, Мандельштаме, Кузмине и других поэтах-петербуржцах), Леонид Пастернак «Воспоминания», Ю. Анненков – воспоминания о Ленине, о Троцком, о Мейерхольде; письма к художнику Е. Климову известного деятеля «Мира искусства» художника А. Бенуа, К. Вендзягольский «Савинков», М. Бочарникова «Бой в Зимнем дворце» (воспоминания солдата женского батальона), Е. К. Брешковская «Как я ходила в народ», И. Бунин «К моему завещанию», воспоминания Вл. Бурцева о его возвращении в Россию из эмиграции в 1914 году («Арест при царе и арест при Ленине»), письма Гершензона и Вяч. Иванова к Вл. Ходасевичу, «Страницы воспоминаний» гр. В. Зубова (о последних днях власти Временного правительства в Гатчине), воспоминания В. А. Муромцевой-Буниной «Беседы с памятью», Андрей Седых – литературные портреты М. Алданова и И. Бунина с их многими письмами к автору, воспоминания о февральской

революции 1917 года бывшего министра Временного правительства И. Г. Церетели, воспоминания профессора К. Штеппы о терроре ежовщины в 1937–1938 годах.

Я вынужден оборвать перечень опубликованных материалов... Но совершенно особо я хочу отметить некоторые документальные публикации, полученные тогда из Советского Союза. Это: «Очерки по истории русской церковной смуты» А. Левитина и В. Шаврова; воспоминания Е. Тагер об О. Мандельштаме (публикация Г. Струве); «Стенограмма заседания Союза советских писателей» по вопросу об исключении Бориса Пастернака из Союза – большой ценности документ, показывающий тот градус духовного террора и растления, при котором живут советские писатели. По-моему, правильно сказал один зарубежный писатель, что «это документ на сто лет». Таким же ценным документом является «Послание из СССР на Запад», которое мы подписали «Икс», чтобы не повредить автору. За границей это послание уже вышло на многих иностранных языках. Хочу еще подчеркнуть большую и документальную и литературную ценность опубликованного нами «Письма мистеру Смиту» Юрия Кроткова о том, как и почему он, будучи в Москве, написал антиамериканскую пьесу «Джон – солдат мира».

В отделе «Политика и культура» за третий период «Нового журнала» отмечу работы известного русского историка профессора Г. В. Вернадского – «Милюков и месторазвитие русского народа» (по поводу выхода заграницей «Очерков по истории русской культуры» Милюкова), «Повесть о Сухане» (по поводу книги советского историка В. И. Малышева), «Из древней Евразии» (по поводу книги советского историка Льва Николаевича Гумилева), «Человек и животный мир в истории России», «Усть-Цилемские рукописные сборники». Из других работ отмечу: Н. Валентинова «О предках Ленина и его биографиях», протоиерея о. В. Зеньковского «Мифология

в науке», Ю. Гринфельд «Произвол работодателей в СССР» (о фактическом бесправии рабочих в Советском Союзе), С. А. Сатиной «Об истории женского образования в России», известного экономиста Наума Ясного «Начало второго послесталинского десятилетия в сельском хозяйстве», Ю. Денике «За фасадом 22-го съезда партии», «Купеческая семья Тихомирновых», профессора Д. Иванцова «Легенды о советской деревне», Д. Анина «Вожди уходят, проблемы остаются», «Русская революция и либерализм», «Советы и международное положение» и др., А. Иванова «Биология и идеологическая борьба» (о Трофиме Лысенко и положении биологии в СССР), Н. Нарокова «Русский язык „там“», М. Карповича «Два типа русского либерализма» (Милюков и Маклаков), протоиерея Д. Константинова «Подтверждение неопровержимого» (об известном письме двух московских священников Н. Эшлимана и Г. Якунина), С. Левицкого «Место Н. О. Лос-ского в русской философии», профессора С. Верховского «О Гоголе», Б. Ловцкого «Философ библейского откровения» (к 100-летию со дня рождения Льва Шестова), Д. Мережковского «Что сделал Св. Иоанн Креста», Б. Двинов «Назад к Ленину?», В. Некрасов «Московские чудаки» (о московской школе математиков: Бугаеве, Цингере, Вернадском, Умнове, Бредихине и других), Н. Нижальский «Эволюция академика Павлова» (правда о взглядах академика Павлова в последний период его жизни), Н. Полторацкий «Профессор Н. С. Тимашев о путях России», Е. Петров-Скиталец «Кронштадтский тезис сегодня», К. Померанцев «Во что верит советская молодежь?», Федор Степун «Вера и знание в философии Франка», «Москва – третий Рим», «Россия между Европой и Азией», профессор Н. С. Тимашев «Сталинский террор и перепись 1959 года», «На правильном ли пути Америка», «Три книги о Питириме Сорокине» и др. Н. Ульянов «Тень Грозного», Дм. Чижевский «Новое в истории русской культуры»,

Т. Чугунов «Всеобщая декларация прав человека и гражданина и диктатура КПСС», протоиерей А. Шмеман «Церковь, государство, теократия», А. Шик «Первопечатник Федоров», профессор А. Штаммлер «Ф. А. Степун» (к его кончине), Д. Шуб «Европейский социализм и советский коммунизм», «Три биографии Ленина», «Мемуары Керенского» и др.

Хотя ссылки на «Новый журнал» в советской печати в конце 60-х годов прекратились, мы начали получать из Советского Союза рукописи, что было лучше всяких «ссылок». Самым большим подарком для «Нового журнала» была объемистая рукопись Варлама Шаламова – «Колымские рассказы». Произошло это так. Один известный американский профессор-славист как-то позвонил мне по телефону и сказал, что был в Москве и привез большую рукопись для «Нового журнала». Я поблагодарил, и на другой день профессор привез мне на квартиру рукопись «Колымских рассказов». Это была очень большая рукопись, страниц в шестьсот. Передавая ее, профессор сказал, что автор лично виделся с ним и просил взять его рукопись для опубликования в «Новом журнале». Профессор спросил автора: «А вы не боитесь ее опубликования на Западе?» – На что Шаламов ответил: «Мы устали бояться...» Так в «Новом журнале» началось печатание «Колымских рассказов» Варлама Шаламова из номера в номер. Мы печатали Шаламова больше десяти лет и были первыми, кто открыл Западу этого замечательного писателя, взявшего своей темой – страшный и бесчеловечный ад Колымы. Когда рассказы Шаламова были почти все напечатаны в «Новом журнале», я передал право на их издание отдельной книгой приехавшему ко мне покойному Стипульковскому, руководителю издательства «Оверсиз Пабликейшенс» в Лондоне, где они и вышли книгой.

Потом мы стали публиковать уже не только приходившие к нам (как мы всегда писали в примечаниях, «с оказией») ру-

кописи советских писателей, но и рукописи писателей, бежавших из Советского Союза, – Анатолия Кузнецова, Юрия Кроткова, Аркадия Белинкова. В первом письме ко мне Аркадий Белинков писал: «Из всех русских изданий за границей я лучше всего знал именно Ваш журнал... В Москве я прочитал по крайней мере половину вышедших номеров. Дело это не простое, но по своему положению... я имел доступ в Отдел специального хранения Библиотеки имени Ленина, а кроме того, его привозили друзья из-за границы». И в другом письме ко мне Белинков писал: «Все мы без меры обязаны существованию „Нового журнала“». Для меня, как редактора «Нового журнала», это была большая моральная поддержка, ибо это было доказательство того, что издание *свободного* русского журнала за рубежом действительно нужно людям, живущим в тоталитарном Советском Союзе. Незадолго до Белинкова тоже бежавшая на Запад Светлана Аллилуева из своего гонорара за первую ее книгу выделила пять тысяч долларов на поддержку «Нового журнала».

Были ценные отзывы и других писателей-беглецов. Но особенно было ценно полученное мной в 1970 году письмо из Европы от некоего анонима. Приведу его полностью: «Многоуважаемый г-н Гуль! Большое вам спасибо за ваш чудесный «Новый журнал», который я получил от одного нового знакомого, эмигранта. Я приехал в Европу как турист из СССР, уезжаю обратно и увожу журнал домой. Хоть я и член партии, но Ваш журнал произвел на меня ошеломляющее впечатление. Я поражен тем, что в эмиграции есть силы, которые нам близки по духу. Вам, конечно, странно: член партии и *близость духа?* (слова «близость духа» подчеркнуты автором). Но поверьте, что это так. Партия это лишь *мертвый* (мертвый – подчеркнуто автором) символ для нас, для молодежи. Мы тоже люди, и *добро* (добро – подчеркнуто автором) для нас ближе, чем позолоченный труп. Очень жа-

лею, что остаюсь анонимом, – вы должны мне простить и понять. *Читатель из СССР*» («Читатель из СССР» подчеркнуто автором письма).

Было бы лицемерием, если б я не сказал, что такие отзывы о журнале давали и дают силы – в очень трудных условиях – вести «Новый журнал». Это – мой посильный вклад в борьбу с антикультурой большевизма, борьбу за творческую свободу – а стало быть, и политическую и гражданскую свободу человека. Когда-то в XVI веке на съезде в Борисе Мартин Лютер произнес знаменитую формулу непримиримости: «Hier steh' ich. Ich kann nicht anders» («На этом стою. По-другому не могу»). Так и я – «по-другому не могу».

За последние годы в журнале печатались новые сотрудники: В. Блинов, В. Крейд, профессор А. Опульский, А. Солженицын, профессор А. Федосеев, М. Бернштам, М. Михайлов, Ю. Фельштинский, Е. Магеровский, М. Гольдштейн, Д. Штурман, Лидия Иванова, Д. Бобышев, И. Белоусович, Ю. Зорин, Н. Моравский, полковник М. Гардер, Б. Закович.

Из прозы были напечатаны рассказы или отрывки из повестей Э. Абросим, П. Ершова, С. Ильина, Ю. Кашкарова, П. Палия, В. Писарева, А. Шепиевкера и др. Особо следует отметить «Похвалу Российской поэзии» недавно скончавшегося Ю. П. Иваска. Покойный А. Раннит опубликовал неизданные стихи Пастернака «Неизвестный Б. Пастернак в собрании Т. Витни». В нескольких номерах печаталась переписка И. А. Бунина и М. А. Алданова, подготовленная профессором А. Звеерсом. На протяжении нескольких лет мы печатали интереснейшие воспоминания умершей в Советском Союзе М. Л. Шапиро – «Женский концлагерь». Были напечатаны воспоминания спутницы адмирала Колчака А. В. Тимиревой, воспоминания А. И. Гучкова, воспоминания

А. Штейгера, отрывки из дневника гр. Е. Н. Разумовской, письма Рцы (И. Ф. Романова) к Б. В. Розанову.

В последние годы «Новый журнал» во многом обязан своим существованием большим друзьям этого старейшего русского журнала за границей (и второго по старшинству после «Нового мира» – на русском языке) – Т. Витни и С. Биштаку.

Переписка через океан
Георгия Иванова и Романа Гуля

С Георгием Ивановым я познакомился (мельком, «без слов») осенью 1922 года в Берлине, в «Доме искусств», в кафе «Леон» на Ноллендорфпляц. Познакомил меня поэт Николай Оцуп, с которым в Берлине я общался (он привез из России привет от моего однокашника по Пензенской гимназии (и его приятели) В л. Борисова, вероятно погибшего, ибо он был близок к М. Н. Тухачевскому, тоже нашему гимназисту). Больше в Берлине Г. Иванова я не встречал. Живя с сентября 1933 года в Париже, я Г. Иванона тоже не встречал. Встретил я его (то есть «заново познакомился») лишь в 1946 году в Париже, после войны. Но «новое знакомство» было кратким: встречался раза два на литературных собраниях. Так что наша «переписка через океан» с 1953 года по год смерти Г. Иванова (26 августа 1958 года) правильно в одном из его писем названа «эпистолярной дружбой». В моем архиве – шестьдесят два письма Г. Иванова и сорок семь копий моих ответов. На копиях моих писем все даты налицо. На письмах Г. Иванова дат, к сожалению, почти нет (есть на очень немногих, которые я печатаю). В некоторых письмах (его и моих) кое-что опускаю (резкости, отзывы о живых еще людях).

1953

5, av. Charles de Gaulle
Montmorency (S.et O.)

Дорогой Роман (Николаевич?)

Простите, если я ошибаюсь в Вашем отчестве. Ведь мы, в сущности, почти не были знакомы. Во-первых, очень, очень благодарю Вас за отзыв о «Петерб. зимах». Особенно меня обрадовало, что Вам понравились позднейшие мои статьи – о Блоке и о Есенине. И поверьте, то, что это написали Вы, мне очень дорого: от «Генерала БО» – до «Коня Рыжего», я очень люблю и «уважаю» Вас как блестяще одаренного писателя. Кстати, еще до получения «НЖ» я сговорился с Мельгуновым о ряде отзывов о книгах Чеховского издательства. Так что, когда Вы мою рецензию о «Коне Рыжем» прочтете – не подумайте, что я Вам плачу комплиментами за Ваши комплименты, – все, что там сказано, сказано от души.

Хорошо. Теперь вот что. Одновременно с этим письмом я посылаю на Ваше имя единственный экземпляр повести И. Одоевцевой и свои стихи для «Нового журнала». Думаю, так правильней, ибо возможно М. М. Карпович уехал опять в Европу и до осени рукописи будут валяться в Кембридже, ожидая его.

Прошу Вас, как члена редакции, о следующем: мои стихи напечатать не вместе с прочей поэтической публикой, а отдельно. (В хвосте – это не имеет значения.) Прошу это и потому, «что приятнее не мешаться с Маковскими», и потому еще, что эти стихи «Дневника» – нечто вроде поэмы (для меня). Если М. М. Карпович сидит у себя – будьте любезны, передайте ему, что мы просим прислать нам под эти рукописи, не дожидаясь печатания, общий аванс. Суммы не называю, но само собою, каждые лишние 10 долларов очень существенны. Если его нет и Вы можете «своей властью» исполнить эту просьбу, сделайте это, пожалуйста, по возможности быстро. Во всяком случае будьте милым, черкните мне обратной почтой – как и что. И европейский адрес М. М. – если он в Европе.

И. В. Одоевцева шлет Вам сердечный привет и просит сказать, что она всегда помнит Вашу дружескую услугу с кинематографистом Зильбербергом, в свое время чрезвычайно выручившую нас. Прибавлю от себя – мало кто из литературной братии поступил бы так, как Вы – особенно с незнакомыми людьми из «другого лагеря».

Как правило, даже «друзья» поступают наоборот. Так ответьте, пожалуйста, насчет аванса и Карповича. Еще раз Вам очень благодарю за рецензию. Преданный Вам Георгий (Владимирович) Иванов.

31 мая 1953г.
5, av. Charles de Gaulle
Montmorency

Дорогой Роман Борисович,

Очень благодарю Вас и за «неимоверную стремительность», с которой Вы прислали мне чек, и особенно за милые слова о моих стихах. То, что они Вам нравятся, мне очень дорого. Я совершенно так же, как Вы писали о себе в предыдущем письме, – равнодушен к мнению «сволочи», будь то восторги или ругань. Последняя даже больше забавляет меня. Но если пишешь стихи для нескольких человек, тем ценнее и дороже, если один из этих нескольких тебя так нежно и лестно приветствует. Тем более, что от Вас, скажу начистоту, я этого не ждал. Видите ли, «добрые друзья» не раз сообщали мне, что Вы меня терпеть не можете, считаете «эстетом», «мертвецом» и т.д. И Ваша рецензия была для меня большим и вполне неожиданным сюрпризом. Не будь ее, я бы не обратился непосредственно к Вам и, м. б., так бы никогда не узнал, что Вы не враг, а друг. Очень жалею теперь, что пока Вы были в Париже, не столкнулись где-нибудь с Вами – мы бы наверное сошлись и близко подружились. Но так всегда или почти всегда в моей странной жизни.

Моя жена, напротив, торжествует: «я тебе говорила». Она действительно всегда, с очень давних времен тянулась к Вам и была Вашей горячей поклонницей, ставя в пример Ваши книги, от которых «прежде всего нельзя оторваться» – начал читать и обязательно прочтешь в один присест, «не то, что этот выматывающий кишки Алданов» (сравнивая – с чем я вполне соглашался – Вашего «Азефа» и его).

Вот тут, кстати, о рецензии, которую я написал вчерне о Вас. Вы должно быть правы насчет Мельгунова: он, когда я условился с ним насчет книг, которые я прорецензирую для июльского «Возрождения», – не моргнул глазом насчет «Коня рыжего». Но сказал, чтобы я выписал из Чеховского фонда книги – в том числе и Вашу, – так

как они еще не присланы. Но теперь выяснилось, что Ваша как раз давно ему была послана. Его все нет. У секретарши книги тоже нет – «мы не получали». Опасаюсь, что тут какой-то подозрительный м..., имеющий целью замотать «Коня рыжего» – так, как будто произошло какое-то недоразумение. Этот старый черт на днях вернется, и я это выведу на чистую воду без обиняков. Но как быть. Обязательно хочу написать о Вас. С удовольствием бы послал маленькую статейку о «Коне рыжем» вместо «Возрождения» в «Новый журнал». Но возможно ли это? Не говорю уже, что о Вас была чья-то рецензия, – но если можно написать во второй раз, то хотя бы та же параллель между Вами (историческими Вашими книгами) и Алдановым.

Ваш Г. И.

P.S. Ответьте, пожалуйста, на этот счет. Если да, я пришлю две-три странички, как маленькую статью, а не отзыв о книге, то есть более общего характера и о Вас и о Вашем месте в русской литературе. Тогда хорошо, если бы Вы прислали мне «Коня рыжего» для скорости и «удобства» Читал я его и в «Новом журнале», и в отдельном издании, и читал очень внимательно – но книга мне необходима для цитат. Ответьте.

16 марта 1954 г.
28 rue Jean Giraudoux
Paris 16

Дорогой Роман Борисович,

Отвечаю с опозданием. Не сердитесь. Парижская жизнь – после трехлетнего Монморанси – вдарила нас малость «ключом по голове». Моя жена этому «очень веселится», я же, сыч по природе, обалдел.

Ну, очень рад, что наши «отношения» благополучно восстановились, «кошек» копать не будем: мы оба – Вы и я – обоюдно невинны, если в них поверили. В том вареве из г..., которым окончательно стала (по крайней мере здесь) литературная, с позволения сказать, среда, разобраться трудно. Значит, плюнем обоюдно

и будем дружить, как нам с Вами, естественно, полагается: делить нам нечего, а общего, несмотря на разность, у нас много.

Хорошо. Материалец от И. В. и меня скоро получите. Статейку об антологии я обязательно напишу, так что держите место. Но я еще не видел ее. Полагаю, посланный Вами экземпляр скоро придет. Насчет Цветаевой я с удовлетворением узнал, что Вы смотрите на ее книгу, вроде как я. Я не только литературно – заранее прощаю все ее выверты – люблю ее всю, но еще и «общественно» она мне очень мила. Терпеть не могу ничего твердокаменного и принципиального по отношению к России. Ну, и «ошибалась». Ну, и болталась то к красным, то к белым. И получала плевки и от тех, и от других. «А судьи кто?» И камни, брошенные в нее, по-моему, возвращаются автоматически, как бумеранг, во лбы тупиц – и сволочей, – которые ее осуждали. И если когда-нибудь возможен для русских людей «гражданский мир», взаимное «пожатие руки» – нравится это кому или не нравится, – пойдет это, мне кажется, приблизительно по цветаевской линии.

Так как скоро я пошлю Вам кое-что, то будет, само собой, и сопроводительное письмо – и тогда доболтаю, чего не пишу сейчас. Жму Вашу руку очень дружески. И. В. тоже.

Ваш всегда Г. И.

P.S. После присылки нам разных штанов и пижам – были такие хорошие слова: какой номер сапог поэта, какой воротник рубашки, костюм постараемся достать другой, для Одоевцевой собираем посылку... Если возможности эти прекратились, то не о чем и говорить. Но если Вы об этом всем в бурном темпе нью-йоркской жизни забыли, а сделать хотите, – говорю без ломанья – будем очень польщены. Польщены, особенно, всякому барахлу американского пошиба: курткам, кофтам (неразборчиво), одним словом, таким вещам, какие в «Европах» дороги и плохи, а у Вас поносят и бросают. Номер моих сапог 42, рубашки 38... А как у Вас делают вроде ночных туфель – и удобно, и ноги мои меньше болят. Но, конечно, если попадается костюм и что другое солидное – тоже очень приятно. И какие-то тряпочки автору «Года жизни». Покупать нам

не на что: чех. гонорара едва хватает, чтобы есть и платить за квартиру. Но, само собой, если это все в Вашей власти.

10 марта 1955 г.
Beau-Sejour

Дорогой Роман Борисович,

Очень рад был получить от Вас и неподдельно дружеское и блестяще-забавное – как Вы умеете, когда в хорошем настроении – писать. Я эту разновидность Вашего таланта очень ценю и письма Ваши, в отличие от большинства других, аккуратно прячу. Для потомства. И не одни лестно-дружеские, но и ругательные тоже. Для порядку и для контраста. Пусть знаменитый будущий историк литературы разбирается в нашей «переписке с двух берегов океана». Только будет ли этот будущий историк и будущее вообще?

В связи с моим пристрастием к Вашему «перу» (возвращаю комплимент из рецензии) – беру сразу же быка за рога. Ох, пожалуйста, напишите статью обо мне Вы. Вы, видите ли, не только блестяще пишете, но – как я всегда говорю, писал и Вам – очень чувствуете стихи. И Ваше мнение о моих стихах получится обязательно интересным и живым. Сазониха же, между нами, м. б., и более ученая, но тот же Терапианц в юбке. Я не имею страсти М. А. Алданова или покойного Бунина к пышным похвалам, пусть дурацким. М. б., это и важно для механики славы... хотя и слава делается не тупицами, а живыми и талантливыми людьми. Короче говоря, очень буду рад, если Вы и именно Вы это сделаете. Судите сами – как быстро я «реагирую» на Ваше «не трахнуть ли мне о Вас»... И как вяло отзывался на Сазонову. Трахните, трахните! И пишите, что думаете, выйдет, ручаюсь, отлично.

Теперь – о Мандельштаме – я с наслаждением напишу. Не подведу. Ручаюсь даже за досрочное перевыполнение плана, если пришлете авионом. Можете на этот раз мне поверить.

Спасибо и за рекламу обо мне на радио. Удивляюсь, как это Вейдле не запротестовал. Он меня, заслуженно, не переносит: я его в свое время, м. б. помните, даже и не раз «обижал в печати».

Обязательно буду посылать Вам отрывки из моего нового oeuvre'а, то есть воспоминаний. Работа над ними у меня в пол-

ном ходу. Ничего получается, по-моему. Задержка (в смысле посылки Вам отрывка) только в том, что я хочу «начать с начала» так, чтобы в дальнейшем была хотя бы и отрывчатая последовательность. Черкните, какой, собственно, срок в моем распоряжении для этих первых (20–23) страниц.

Да, мы вымираем по порядку,
Кто поутру, кто вечерком...

Ставров, Кнут, милейший Дюк Гаврила, незаконно объявивший себя гран-дюком в эмиграции. Кстати, совсем недавно он был еще настолько в здравом уме, что весьма ловко сыграл роль сына лейтенанта Шмидта: явился к Гукасову и загнал ему за 50 тысяч франков пачку «неизданных стихов августейшего родителя» – К. Р. – переписанных из собрания стихов последнего издания 1908 года: «Умер бедняга», «Помню порою ночною» и т. д.

Да, вот еще. Не могли бы Вы прислать на адрес нашего русского библиотекаря пачку старых – какие есть – номеров «Нового журнала» – сделайте хорошее дело. Здесь двадцать два русских, все люди культурные и дохнут без русских книг. Не поленитесь, сделайте это, если можно. Ну нет – это не русский дом Роговского. Я там живал в свое время за собственный счет. Было сплошное жульничество и грязь и проголодь. Здесь дом Интернациональный – бывший Палас, отделанный заново для гг. иностранцев. Бред: для туземцев с французским паспортом ходу в такие дома нет. За нашего же брата апатрида (любой национальности) государство вносит на содержание по 800 фр. в день (только на жратву), так что и воруя – без чего, конечно, нельзя, – содержат нас весьма и весьма прилично. От такой жизни не хочется даже умирать, и буду жалеть, если все-таки придется. Тогда хоть умру «с комфортом». И так почем зря выписывают мне разные ампулы по 1500 фр. коробочка, уговаривая – только не забудьте принять. Впрочем, доктор осел и едва меня не отравил. Но passons...

Что это Вы написали насчет гостиной желтого клена? Не совсем сообразил, на что намекиваете. Были, конечно, какие-то дурацкие стихи Игоря Северянина в таком духе, посвященные мне. Но поче-

му из этого следует вывод «начнем с заграницы» – то есть в Вашей будущей статье обо мне. Или это значит, что Вы в моей доэмигрантской поэзии не очень осведомлены. И плюньте на нее, ничего путного в ней нет, одобряли ее в свое время совершенно зря. Впрочем, если Вы действительно, обещаете написать эту статью, я Вам кое-что пришлю, чего для Сазоновой, к сожалению, не имел.

Ну, Ир. Вл. Вам нежно кланяется, а о «заячьем тулупчике»... Жму Вашу руку. Черкните в свободную минуту, не только по делам, а и «для души».

Ваш Г. И.

P.S. А мои желтые лоферы? А куртки с тиграми и пр., которые я уже умственно переживал на ногах и плечах? Если, конечно, эта посылка возможна.

Beau-Sejour
29 июля 1955 г.

Дорогой Роман Борисович,

Несмотря на еще усилившуюся жару – отвечаю Вам почти сейчас же. Не скрою – с корыстной целью. Что Вы там ни говорите насчет чемодана с рукописями и т. д. – из деревни Вы пишете куда очаровательнее, чем из Нью-Йорка. Опять испытал «физическое наслаждение» и срочно отвечаю, чтобы поскорей опять испытать. То же самое, конечно, и Одоевцева, только – как дама – она свои физические чувства стыдливо скрывает (должно быть потому, что у ихнего брата – такие чувства более – от природы – интенсивны).

На стишок о Майами – хотел порифмовать в ответ, но пот течет, как не отпиваюсь местным – чудным! – вином со льдом. Давление поднимается, но рифма не идет.

Кстати, спасибо за заботу о моем давлении. Но мой случай не так прост. Сильные средства для меня прямой путь к кондрашке – мое давление надо не сбивать, а приспосабливать к организму. Черт знает что. Я всегда чувствую, что мироздание создал бездарный Достоевский – этакий доктор Б..., если читали.

Ну, опять скажу – «нос» у Вас на стихи первоклассный. Чтобы не вдаваться в подробности: Илиаду выбросьте целиком, нечего в

ней заменять. Из трясогузки две первых строфы – тоже вон. Дошлю одну или две новые – как выйдет. Насчет Нила я просто описался. Ваша гимназическая учеба совпадает с моей кадетской – я хотел написать «полноводный». Для всех стихов – напоминаю – необходима авторская корректура, пожалуйста, не забудьте и уважьте насчет этого. Но хотел бы к имеющимся теперь у Вас девяти стишкам дослать по мистически-суеверным соображениям – еще три. То есть чтобы была порция в 12. Уж потесните чуточку Ваших графоманов. Тем более, что мой «Дневник» по взаимному дружескому уговору ведь печатается отдельно от прочих – привилегия, которую я очень ценю (и, пожалуй, все-таки заслуживаю). Пришлю три маленьких и – по возможности – лирических.

Как Вы теперь мой критик и судья, перед которым я, естественно трепещу, в двух словах объясню, почему я шлю (и пишу) в «остроумном», как Вы выразились, роде. Видите ли, «музыка» становится все более и более невозможной. Я ли ею не пользовался, и подчас хорошо. «Аппарат» при мне – за десять тысяч франков берусь в неделю написать точно такие же «розы». Но, как говорил один василеостровский немец, влюбленный в василеостровскую же панельную девочку, «мозно, мозно, только нельзя». Затрудняюсь более толково объяснить. Не хочу иссохнуть, как засох Ходасевич. Тем более не хочу расточать в слюне сахарную же слизь какого-нибудь N... (пусть и «высшего» там у него качества). Для меня – по инстинкту – наступил период такой вот. Получается как когда – то средне, то получше. Если долбить в этом направлении – можно додолбиться до вспышки. Остальное – м. б. временно – дохлое место.

Да, в последней книжке нам обоим *очень* понравился Елагин. Кроме последней строфы, в которой подъем скисает. Но все-таки очень хорошо. Таланту в нем много. Но вот «в университете не обучался», как говорили у нас в цехе.

При случае передайте от меня Маркову искренний привет. Он мне и стихами (гурилевские романсы – в «Опытах» слабо) и обмолвками в статьях очень «симпатичен»... Но что за занятие писать афоризмы! Лейб-гусара полковника Ельца все равно не перешибить. М. б., читали в свое время: «Смерть его есть тайна, которой еще никто не разгадал», и рядышком: «Разбить биде – быть беде» с

портретом автора в ментике и с посвящением моему другу принцу Мюрату. Куда уж тут тягаться.

Пишу я Вам что попало, но, как видите, с явным стремлением подражать блеску Ваших писем. Разумеется, получается не то. Но и старанье тоже считается. Сколько великих людей и великих произведений взошло на одном стараньи. Вся (почти) – блестящая – французская литература – живой пример. Давно ли Вы читали Флобера? Я вот сейчас перечитываю: один пот, а в общем ведь «весьма недурно». Ну, ну, – что это Вы напишете об «Атоме» и вообще. Жду с чрезвычайнейшим интересом. Только не откладывайте, напишите. Что желаете, как желаете. Это и будет хорошо. Зинаида, которую я обожаю, писала вообще плохо. Говорила или в письмах – иногда все отдать мало, такая душка и умница. А как до пера – получается кислая шерсть. Кроме стихов. Я тщусь как раз в своих новых воспоминаниях передать то непередаваемое, что было в ней. Трудно.

«Атом» должен был кончаться иначе: «Хайль Гитлер, да здравствует отец народов великий Сталин, никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом!» Выбросил и жалею.

Ваш Г. И.

25 октября 1955
Beau-Sejour
Hyeres (Var)

Дорогой Роман Борисович,

Я еще не совсем очухался и предпочел бы написать Вам, когда очухаюсь совсем. Но, с другой стороны, мне хочется, как умею, поблагодарить Вас за Вашу статью. Хоть коряво, но собственноручно.

Ваша статья блестяща и оглушительно-талантлива. Еще блестящей, чем о Цветаевой. Никто так о поэзии не умеет писать, да и очень редко кто вообще умел. Я говорил Вам как-то в одном из писем, что при полной «непохожести» статья о Цветаевой – эквивалент лучшим статьям Анненского. Не в «Аполлоне», где он хотел угодить, – а тех, которые он писал «для себя». Еще вспоминаю Леонтьева «Эпоха, стиль, влияния». Верьте моей искренности: ведь статья напечатана, что же мне к Вам подлизываться задним числом! Самое замечательное в статье – ее подъем, полет. Все летит и зве-

нит. Первый поэт и прочее обо мне говорили и писали, как Вам известно. Но всегда удручающе бездарно – ни «первого», ни вообще поэта не было видно. Для примера, у Вас есть статья Зинаиды об Атоме. А ведь она прямо бесилась от Атома и несколько воскресений у Мережковских говорила только о нем. И она же пустила в ход «первого поэта». Она была умница, я безумно ее любил и уважал. Но все было как горох о стенку: могла бы и не восторгаться. Не говорю уже об остальных.

Совсем не значит, что я со всем с Вами согласен. В части, касающейся Атома, я готов возражать слово за слово. Но и возражать Вам, «как в море купаться». Я не в форме. Отложу эти возражения – если желаете их узнать – до другого раза. Хочу закрепить главное: Вы чудесно написали, согласен я или не согласен. Настоящий читатель согласится – Вы его кладете на лопатки. И я – как читатель – прочел и перечел, насладившись, забывая того Георгия Иванова – которого, м. б., ошибочно, понимаю по-своему, – видя и принимая целиком – того Г. Ив., которого преподносит Гуль. Повторяю опять – грех, если Вы не напишете свою «Книгу отражений». Или – может быть еще точнее – Ваши «Воображаемые портреты». Ибо критика большого плана всегда «Воображаемые портреты», и именно тогда она может быть восхитительно убедительной. Заметьте, что дуанье Руссо свои фантастически гениальные портреты консьержек и бедуинов писал, предварительно измеряя «натуру» сантиметром – он хотел быть академически объективным. Все это не значит, что в основном Вы преувеличиваете или искажаете. Напротив, как раз наоборот. Правда как раз у Вас. Вы насквозь чувствуете поэзию. Ваши цитаты безошибочны. Другое дело источники этих цитат. Тут я со многим готов спорить. Но это «обывательщина», как говорил Мережковский о всем лично-частного порядка. Общее же у Вас гипнотизирующе убедительно, и следовательно, «остальное все равно». Ведь так? Скажу так: поздравляю нас обоих – себя, что обо мне написано, Вас, что умеете – то есть что Вам дано – так писать.

Спасибо, дорогой друг. Я болен – не взыщите. Ответьте мне. Ведь последнее время от Вас все нет письма – ужо напишу. Так вот напишите. Извините за стиль и за почерк.

Ваш Жорж

17 мая 1953 года

Дорогой Георгий Владимирович,

Получил Ваше письмо, большое спасибо, Отчество мое – Борисович, вместо Николаевича, но сие не важно. Николаевич тоже есть – Р. Н. Гринберг («Опыты»), с которым мы дружим (с ним).

Пойду по пунктам Вашего письма.

Отзыв о П. З.[7] – писал очень искренно. И рад, что Вам он был приятен. В частности, я не отмечал некоторых досадных неверностей. Почему Вы называете Клюева – Ник. Вас. (вместо Алекс.)? Потом, у Вас на стр. 171 – получается так, что в 1913 г. Рейснер говорит о Красной армии чека? В стихах Есенина вместо «дождь» – «день»; и вместо «пронеслась» – «замерла». Вы не держали корректуру? Я не хотел об этом упоминать в рецензии, ибо в конце концов – не в этом же суть. Но это досадно. И читатель (литературный) это замечает. Может быть, это «Чехов» виноват? Он – могёт... Далее. Спасибо за отзыв о Кон. Рыж. Но разрешите – не поверить, чтоб на стр. «Возр.» мог бы появиться не только уж хороший, но даже приличный отзыв обо мне. Уж слишком я знаю – всю психопатию и злобность господина редактора. Он уж даже «высказался» о моей книге – что ее и издавать-то вовсе было не надо (это после того, как он мне в Париже – во времена нашей «дружбы», когда он по субботам приезжал к нам завтракать и обсуждать все дела, – предлагал когда-то издать К. Р. вместе с его книгой – у него тогда появился какой-то издательский «шанс» в Германии). Ну да Бог с ним. Не пей из колодца – пригодится плюнуть. Ваш отзыв на страницах «Возрождения» меня теперь спортивно заинтересовал. Одним словом, их бин гешпаннт. Скажу Вам по чести – я очень хладнокровен к отзывам. Конечно, хороший приятен, но и на плохие не обижаюсь. Разумеется, Ваш отзыв был бы мне и приятен, и интересен. Очень тронут, что Ир. Вл. помнит что-то такое приятное для меня. А я – признаюсь – и позабыл. Но я вообще не из «ницшеанцев» (не из дорогих, не из дешевых) – не толкаю, не так скроен. Да и как толкать, когда мы сами все того гляди – упадем...

Всего хорошего! Дружески Ваш

Роман Гуль

Ирине Владимировне целую ручки.

---

[7] «Петербургские зимы».

25 мая 1953г.

Дорогой Георгий Владимирович, – получено все. Стихи – чудесные. Сейчас пишу второпях, но все ж скажу об одной ассоциации, которую они вызвали: «Васька Розанов в стихах», много, много общего в «философии», в «касании к миру». Но сейчас дело не в «баснях», а в чеке, который посылаю Вам с какой-то неимоверной стремительностью. Далее. Я говорил с М. М. и о прозе. Это можно тоже сделать. Стало быть – к сентябрьскому номеру шлите прозу (она может быть и вместе со стихами, сие одно другого не кусается).

Сердечный привет, Ваш Роман Гуль.

Ирине Владимировне целую ручки и с нетерпением жду повесть. Первая строфа В/Дневника – просто гениальна – в ней такая магия – что физиологически хочется «грациозного», да как…

13 июня 1953 года

Дорогой Георгий Владимирович,

Письмо я Ваше получил, но несколько задержался с ответом. По причинам вполне уважительным. Во-первых, Я только на днях получил рукопись Ирины Владимировны. Ни прочесть, ни даже заглянуть – пока не в состоянии, ибо идет печатание кн. 33 – и Я замотан до чрезвычайности… Постараюсь ее (с большим интересом – хочу) прочесть и высказать свое мнение Михаилу Михайловичу. Одним словом, с максимум благоприятствования и таким же интересом рукопись будет прочтена, и тут же Вам сообщу, как и что.

Теперь (идя по Вашему письму). Не удивляюсь, что какие-то «друзья» что-то там наговаривали Вам о моем отношении и прочее. Эта чесотка в литературных кругах вполне эпидемична. Врали, конечно. Одни врут, как чешутся, другие – злее – живут этим почесыванием. Ну да, как бы это сказать поэлегантнее... – скажем… Бог с ними (но подумаем круче). «Коня рыжего» я Вам выслал и думаю, что Вы его получили. В Н. Ж. о нем ничего не было (оцените – до чего мы скромны, до «стыдливости»).

Идем далее по В. письму. Между прочим, очень интересно то, что Вы пишете о Великом Муфтии[8], о его пометках на страницах

[8] И. А. Бунин.

Н. Ж. Хотелось бы прочесть. Кстати, он сам, без всяких встреч, разговоров и прочего – писал мне дважды или трижды – страшные комплименты относительно «Рыжего» (часть я опубликовал предисловием). Скажите, а читая, ругал? Между нами, по чести, – напишите, было бы интересно. Смешно. Я, как и Вы, философски и юмористически отношусь ко всем этим вещам и вещичкам.

Письмо Ваше, слава Богу, не похоже ни на А. Ф.[9], ни на Вас. Ал.[10] А. Ф. пишет, как «порочный школьник» или даже как «Пьеро» – за кулисами. Черт знает что. Но – характерно. С эдаким почерком в правительство брать людей просто было неприлично. Вот и подучилась... клякса... правда, говорят, что через сто лет Керенский – это тема для драмы. Верно. Только трудно тянуть-то эти вот сто лет.

Очень рад, что Вы уже пишете «жизиь, которая мне снилась». Прекрасно. Вот Вам и сила ЧЕКА (но не Че-Ка!)… В удаче Вашей вещи – уверен. Я понимаю, что «прежние» П. З. Вас не удовлетворяли, и м. б. даже раздражали. Последние главы – ведь совсем другое – по общему тону, по общему строю – крепче, проще, сильнее – и без «рококо». «Рококо» пережито. Очень, очень жду В/? вещь. М. М. тоже очень рад этому.

В стихах Ваших уже было исправлено – «толковать». Я ведь в набор сдал ВТОРОЙ список. Очень, очень хорошие стихи. Я люблю возиться – с «техникой» журнала. Я сверстал их сам очень хорошо. Только одно стихотворение разорвалось (со страницы на страницу). Все остальные – целехоньки (им же больно, стихам-то, их рвать нельзя).

Вас начнем с сентябрьской (это я принял в расчет). Но прозу И. В. можем начать только с декабрьской. Впрочем, если все будет устроено в смысле гонорара – то это значения большого иметь не будет. Все попытаюсь обговорить с Мих. Мих. Он – самодержец. Но очень конституционный. И мы с ним работаем очень хорошо и дружно. Транскрипцию карт д'идантитэ – принял во внимание.

[9] А. Ф. Керенский. У А. Ф. почерк выл и неразборчивый и детский.

[10] В. А. Маклаков. У В. А. почерк совершенно неразборчивый, как какие-то иероглифы.

Вспомнил я эти карт д'идантитэ – и прямо рвать потянуло. Ведь тут ничего подобного, все по-человечески. Сошли на берег – и не видите никаких карт д'идантитэ, никакого Афганистана Парижской Префектуры, ничего. Вообще, хороша страна Америка! Очень! И у нас в Европе о ней были совершенно не те представления. Ну скажите, можете ли Вы себе представить, что по Бродвею бегают белки (самые настоящие), я живу возле Бродвея. Они перебегают Бродвей и бегут к Гудзону, где живут – в саду (у берега) и в аллее (набережной). Или – на Бродвее стая голубей – садится людям на плечи, на руки, когда люди эти их кормят. А таких старичков, старушек (и не старичков, и не старушек) множество. А как хорош этот самый Риверсайд Драйв – набережная по Гудзону – вся в зелени, на газоне, на луговинах можно валяться как хочешь, не то что «ферботен». Одним словом, зря Вы не приехали в Америку. Жили бы тут во всяком случае не хуже (а уверен, даже лучше), чем в Монморанси.

Кончаю. Дружески жму Вашу руку. Ручки Ирины Владимировны целую. Ваш искренно: Роман Гуль.

2 марта 1954 года

Дорогой Георгий Владимирович,

Был очень рад получить от Вас письмо, а то я уж голову ломал, что такое, что за история? Правда, Вы «историю» так и не разъясняете, только «намекаете» о каком-то «гнезде» и о какой-то явно глупой и совершенно лживой сплетне. Для меня это настолько «как снег на голову», что я даже и понять не могу, что – сплетено? Но я хочу знать, чтобы всякому вралю перекусить горло (я могу быть от мяса бешеным тоже! и как!). Если кто-то что-то выдумал и наврал, то это неспроста – есть такие в нашем литмире сволочи, которые только и заняты тем, как бы кого-нибудь с кем-нибудь перессорить и пр. Вот и родятся творимые легенды, всегда глупые, но почти всегда достигающие цели. Вы вот в какую-то пущенную «черную кошку» – поверили. Я уже давно не верю. Я прямо хватаю эту самую черную кошку за хвост и за ноги и са-ди-сти-чес-ки бью ее о косяк. Дайте мне крови! Напишите, кто и что наврали – и я обидчика убью...

Дальше. Антологию высылаю Вам одновременно с этим письмом, но не все воздухом, ибо спешки нет. Насчет Цветаевой – го-

рюю, сам взялся писать о ее чудесной прозе (не целиком, м. б., чудесной, но иногда – изумительной). Я ведь довольно долго дружил с М. И., у меня есть много интереснейших писем ее. Здесь Е. И. Еленева собрала все, что М. И. писала (тома на три прозы).

Насчет того, что «нас мало» – именно. Вот поэтому, когда брюсовские катакомбы уже наступили – «целиком и полностью», – нам как-то надо держаться «насмерть» – хоть мертвыми, а стоять. Именно из этих чувств я и тороплю чеки Иванову и Одоевцевой – как воздух, как кислород. И М. М. в этом смысле всегда очень за Вас обоих. Присланное Вами и И. В. буду очень ждать и люблю заранее.

Хорошо, что Вы переехали в Париж – «ах, Кира, увези меня в Париж!»[11] Быстрее обороты. Как получим материал, думаю, что чекушка не замедлит. Чекомания... О «Возр.» всю порнографию слышал (но, конечно, подробностей не знаю) – какой-то Витте иль св. Витт? Кто это? До такого святого Витта не доходил, кажется, и мой друг Мельгунов. Между прочим, у меня хорошая память (особенно на стихи, которые как-то всегда застревают – хорошие, конечно). Или нехорошие – тоже. Петербургскую поэзию Вашего времени знаю довольно неплохо. Но вот никогда не видел и не читал Вашу старую книгу – «Памятник славы». На днях был в Паблик Лайбрери – наткнулся, взял и прочел. Это, конечно, плюсквамперфектум. Но было занятно прочесть... здорово нас жизнь помыкала и вымыкала.

Ну, кончаю. Целую ручки Ирины Владимировны, крепко жму Вашу. Ваш дружески – исполнительный член редакции Р. Г.

12 июня 1954 года

Дорогой маэстро, только что получил Ваше письмо и стихи. И как раз наступило время относительной свободы в делах и суете. Отвечу Вам подробно обо всем. Первое, не писал Вам, ибо был оч. занят с очереди, номером (а кроме того – других дел куча). Понял, что Вы не пришлете к этому номеру.

---

[11] Стихи И. Одоевцевой.

И от прозаика слышит поэт:
Сроки пропущены! Сроков нет!

Но надо решить вопрос: будете ли Вы вообще писать? Об Антологии? Почему нет? Нехорошо трусить, маэстро! Нехорошо... Чек я Вам вышлю. Скоро. Слово чести. Но я хочу с Вами поговорить по душам. Я не знаю, кто Вы – Немирович-Данченко или Станиславский? В мемуарах Данченко есть хороший штрих. Ужинали они в «Праге» (исторический ужин – основание МХТ). И под конец, уходя, Немирович мимоходом говорит: будем, стало быть, вместе работать и давайте говорить всегда друг другу правду. И неожиданно для Немировича – Станиславский вдруг как вскинется: нет, только не – правду, ради Бога, я правды не выношу и пр. и т.п. Так вот, кто Вы? Станиславский? Все равно – я Немирович – и хочу Вам сказать, что думаю, ибо это «для дела» нужно. Вы знаете, как Н. Ж. относится к Вашим стихам. «На большой палец!» Так вот – говорю честно – я оч. был рад, что Вы опустили два стихотворения из первого присыла. Но это еще не все, маэстро! Надо опустить (дружеский совет) еще одно: «Помер булочник сосед». М. б., Вы вскрикнули, маэстро, – ах, Гуль, ах, сволочь, ах, е. т. м... Может быть. Но верьте мне, дружески говорю – это «бяка»: «Пил старик молодцевато – хлоп да хлоп – и ничего». Да что Вы, маэстро, разве это Вы? Зачем же Вам ни с того ни с сего формально снижаться? Упаси Бог и святые угодники, этого совсем не надо. Вы знаете, и это не только мое мнение (а у Гуля – верьте – слух почти абсолютный, ей Богу!). Один человек, оч. любящий Ваше творчество – прочел это стихотворение (вместе с другими) и сказал: ну, кажется, уж доходим до частушек. Маэстро, у Вас, кажется, опять сорвалось – Гуль, сволочь, ах, и т. д.... Но Вы все-таки не правы. А этот человек-то – прав. Дружески рекомендую и прошу – скиньте со счетов – нехорошего этого старика, который и пить-то не умеет вовсе, ну его к черту.

Далее. Переходим к следующему пункту повестки. Посылка Вам – будет беспременно. Вся задержка была в занятости жены. Это она ведает, а она была нездорова и пр. Мне известно, что для Вас уже лежат: пальто драповое, синий костюм летний, рубахи, что-то еще из белья и ботинки (как Вы любите, без завязок, к черту завяз-

ки, это здесь называется «лоферы»), галстуки. Но ничего еще нет для И. В. А американка наша милая уже в деревне. Но клянемся, что из деревни пойдет (там доставать все это гораздо легче, оттуда вещи Вам и ушли в прошлый раз). Так что и отсюда пойдет Вам. И из деревни.

То, что помирились с Адамовичем – хорошо. Лучше же мириться, чем ссориться, тем более, что Адамович... на российский престол не претендует и вообще человек умный. Кстати, поговорите с ним – может, он напишет ч.-н. для Н. Ж. Редакция Н. Ж. ничего не имеет против Адамовича. В Берлине в свое время ходил такой анекдот: торгпредство ничего не имеет против Рабиновича. А Рабинович имеет дом против торгпредства. Итак, поговорите с ним. Нам интересней – темы литературные, *а* не философические. Может быть, он напишет – по поводу статьи Ульянова? Я в статье о Цвет, тоже касаюсь Ульянова и его темы. Мне представляется нужной эта тема – пусть мы стары, пусть мы уходим – но даже «баттан ан ретрэт» – надо бить наступающего хама... Согласны?

Итак, Георгий Владимирович, подумайте об антологии и отпишите мне, пожалуйста, будете ли писать. Подумайте и о статье по поводу Ульянова. А – нет. Поговорите с Адам. Пусть он этим «начнет карьеру» в Н. Ж. К тому же мы и платим что-то. Не только слава, но и добро...

О книге И. В. хочет написать Юрасов. Мне представляется это интересным. Он – новейший эмигрант. И ему книга оч. понравилась. Он сказал мне, что с большим удовольствием напишет. Ну, кажется, написал обо всем и заслужил тем всяческие индульгенции. Когда-нибудь напишу Вам, как за три недели до смерти наш Великий Муфтий[12] писал мне – «обожаю подхалимаж, как Сталин. Даже больше, чем Сталин». И с эдаким «легким» посошком отправился в загробное странствование. Ох, грехи наши тяжкие…

Сердечный привет, дружески Ваш Роман Гуль

И. В. целую ручки.

---

[12] И. А. Бунин.

27 июня 1954 года

Дорогой Георгий Владимирович, ну вот мы с Вами и в конфликте. Как скоро прерывается наша дружба! И все из-за камбалы и кенгуру... Нет, нет, маэстро, камбалу

Я не отдам Вам в кабалу!
Иду к старейшему еврею,
Он открывает Каббалу,
И чудодейственно лелея,
Нам дарит Вашу камбалу!

В чем же дело? Да в том, что я был очень рад, что Вы сняли многое из первого присыла, но – кенгуру и камбалу – не отдаю. Как хотите. Почему? Вы говорите, что кенгуру это не «На холмы Грузии», не «Еду ли ночью по улице темной» (две первых строки), не стихи Некрасова к Панаевой. Допустим, Вы правы. Но в кенгуру такое «милейшее уродство» и такое «веселое озорство» – что убивать их никак не возможно. Протестую. Хочу их увидеть напечатанными. К тому же «вертебральную-то колонну» надо же подарить русской литературе, до этого – у нее ее не было. Я разыгрываю сразу несколько варьянтов. Понимаю, что теперь – в этом «Дневнике» – кенгуру будет не к месту. Хотя... Это не сказано... Может быть, даже наоборот, такая «запятая» будет очень недурна! Было же раз – «полы моего пальто»? И даже имело потрясающий успех... у Мельгунова. А кенгуру и камбала будут иметь в этом же кругу – совершенно ошеломительный успех. Давайте «похамим», элегантно, но элегантно. Предлагаю Вам вставить кенгуру. Это один варьянт. Другой такой. Когда я прочел впервые кенгуру и в него «влюбился без памяти», то я подумал, что этот стих написан в четыре руки. Мне показалось, что первоначально его набросала Ир. Вл. – а потом Вы кое-что прибавили, рамку. И вот у меня мелькает мысль, м. б., И. В. нас помирит? М. б., она возьмет этих милых зверей под свою высокую руку и от ее имени мы их тиснем в след, книге? Ирина Владимировна, вы как? Не слышу? Что? Согласны? Тогда – единогласно! И первоклассно! Но не слышу через океан – очень шумит... Дабы засвидетельствовать мою полнейшую искренность в отношении кенгуру – предлагаю Вам даже посвятить их «Р. Б. Гулю». Ей-Богу. Конечно, было бы еще правильнее посвятить

их Мельгунову или Тырковой. Это была бы, правда, «пощечина общественному вкусу». Но было бы неплохо. Но если Вы посвятите кенгуру Гулю – то Мельг. будет хохотать до колик – и всем будет показывать, всем тыкать – «до чего Гуль и Иванов довели НЖ – из лошади сделали верблюда». Это – забавно. И безобидно. Одним словом – жду ответа – чтоб конфликт не перезрел из-за этих животных черт знает во что. Нет, ей-Богу, подумайте и давайте напечатаем кенгуру (это вроде как анчоус на гренке с черносливом – после всяческих десертов)...

Далее. Посылка ушла дня три-четыре назад. Перечислю вещи: пальто-драп (черное), костюм синий летний (его, мне думается, придется покрасить, он слегка выгорел, но костюм цельный); ботинки – лоферы черные, какие-то носки, платки; ботинки белые для Ир. Вл., для нее костюм летний, явно требующий переделки, ибо размер, кажется, не ее, и еще какая-то мелочь для Ир. Вл. Вот, помоему, все. Только давайте по простоте. Вы понимаете, что посылать ношеные вещи – неприятно. Было бы приятно – прийти к Бруксу – и заказать посылку на 1000 долл. всяких «уникумов». И поэтому – Вы просто пишите, то-то, мол, никуда не годится, то-то, мол, – ничего, то-то выкинули, то-то пришлось. А мы будем рыскать. Из деревни, м. б., ч.-н. приглядим. Там есть в одном городке, куда мы ездили с миссис Хапгуд часто, такое симпатичное заведение. Прошлогодние вещи были оттуда. Ледерплекс – пришлю просто по почте. Я сам его ел. Но сейчас ем другое – «Клювизол» – канадское какое-то средство – комбинэйшен витаминов с железом и пр. До Америки не ел никаких «вайтаминс», а тут все едят, даже неприлично, если не ешь. И действительно, вещь стоящая, прекрасная. Пришлю.

Ну, кажется, на все серьезное ответил. Сейчас обрываю, ибо надо укладываться. Итак, до свиданья! Дружески Ваш Роман Гуль.

18-го июля 1954 г.

Дорогой Георгий Владимирович,

Ваше интересное письмо (и одно стихотворение – прелестное) получил в глуши Массачузетса. Большое спасибо. Стих ушел в набор вместе с Камбалой. Поразмыслив, думаю, что не надо Камб. мне посвящать, я секретарь редакции, Вы писали обо мне отзыв, я писал о Вас – не стоит дразнить гусей. Повременим, так будет лучше.

Понимаю от души Вашу нелюбовь к «умственному труду». Я жене все твержу, что хотел бы «собак разводить» – чудесная промышленность и очень симпатичная, но ничего не поделаешь, надо «в общество втираться», хоть и тяжело.

Кстати, сегодня в своем лесном «стюдьо» – взял «Оставь надежду» и насмерть зачитался, оч. завлекательно построено и здорово написано. Прочту запоем. Рецензию устроим хорошую. Если Юрасов не напишет (он хотел), то сделаем иначе – м. б., «своею собственной рукой». Простите, что не выслал еще ледерплекс. Это потому, что все не были еще в нашем уездном городе – Атол. А тут в глуши нет этих веществ. Но в первый же выезд – я куплю и вышлю.

О Набокове? Я его не люблю. А Вашу рецензию (резковатую) в «Числах» не только помню, но и произносил ее (цитировал) жене, когда читал «Друг, берега». Ну, конечно же, пошлятина – на мою ощупь, и не только пошлятина, но какая-то раздражающая пошлятина. У него, как всегда, бывают десять-пятнадцать прекраснейших страниц, читая кот. Вы думаете – как хорошо, если б вот все так шло – было бы прекрасно, но эти прекрасные страницы кончаются и начинаются снова – обезьяньи ужимки и прыжки – желанье обязательно публично стать раком – и эпатировать кого-то – всем чем можно и чем нельзя. Не люблю. И знаете еще что. Конечно, марксисты-критики наворочали о литературе всяческую навозную кучу, но в приложении к Набокову – именно к нему – совершенно необходимо сказать: «буржуазное» искусство. Вот так, как Лаппо-Данилевская. Все эти его «изыски» – именно «буржуазные»: «мальчик из богатой гостиной». А я этого не люблю. И врет, конечно – и бицепсы у него какие-то мощные (какие уж там, про таких пензенские мужики говорили – «соплей перешибешь» – простите столь не светское выражение). Вообще, я к этой прозе отношусь без всякого восторга. И честно говорю: не мог читать его книги. Возьму, подержу, прочту стр. десять – и с резолюцией «мне это не нужно, ни для чего» – откладываю. Прочел только – с насилием над собой – две книги (обе в деревне, летом): «Дар» в прошлом году, «Приглашение на казнь» (в деревне во Франции). Не могу, не моя пища. Кстати, мелочь. Не люблю и его стиль. Заметьте, у него неимоверное количество в прозе – дамских эпитетов – обворожительный, волшебный,

пронзительный, восхитительный, и дамских выражений – «меня всегда бесит» и пр. О нем можно было бы написать интересную «критическую» статью. Но это работа. А мы больше бы – «собак разводить». Спасибо за лестные слова (Ваши и И. В.) о статье о Цветаевой. Мне думается, что статья ничего себе. Еленева ей была растрогана потому, что – «в ней настоящая Марина» – а она ее оч. любила. М. б., она и права. Ах, Марина – непутевая была покойница и бешеная... но тем и хороша. Хочу написать теперь об Эренбурге (за всю работу в Н. Ж. – уже больше двух лет – о Цвет, написал первую статью; видите, неопровержимое подтверждение, что – «собак разводить»). Да и то меня друзья ругают, говорят, что стыд и позор – ничего не пишу. Дела, дела загрызли... И все хочется *дышать, я* не писать, *идти* куда-нибудь (все равно куда), а не сидеть за письменным столом, *молчать* и *не думать* (а иногда и думать) – а не читать, вообще – *быть,* а не существовать. А *быть* трудно в наши дни и в нашем положении.

Ну, наконец, крепко жму Вашу руку. Целую ручки Ир. Вл. Ваш Роман Гуль.

20 января 1955 года

Дорогой Георгий Владимирович,

И Вас – с Новым годом! Получил Ваше письмо. И совершенно согласен с Вашим предложением: принимаю единогласно! Будем в Новом году вести себя хорошо. Насчет того, что я снял посвящение с камбалы – прошу прощенья. Но дело в том, что я с детства не люблю рыбы. Ей-Богу. А вообще я был бы, конечно, очень польщен Вашим посвящением. Только чур не на рыбьем, а что-нибудь такое – чудесное, лирическое.

Дружески Ваш: Роман Гуль.

28 февраля 1955 года

Дорогой маэстро,

Был очень рад получить от вас письмо. И еще больше –
Рад тому, что живете в Варе,
Что играете на гитаре,
Что бесплатен и стол, и кров,

И от Вара далек Хрущев!

Но еще больше тому, что М. М. Карпович выхлопотал Вам прекрасную подмогу, которая докажет Вам, что жизнь прекрасна вообще, а в Варе в частности. Я не ответил Вам быстро, ибо я очень занят, так занят, как Вы ни когда не были заняты в жизни. Хотя, может быть, в те времена, когда Вы в желтой гостиной какого-то клена принимали какое-то общество, – может быть, тогда Вы и бывали заняты, но не тем, чем занят я «на сегодня», как пишут в советских газетах. Нет, правда, без шуток. Очень занят и очень устал. Кстати, с мюнхенской станции «Освобождение» пойдет мой скрипт, кот. я послал как-то недавно – о Вас, жуткий маэстро. Признаюсь – уточним – о Вас передавать в страну «победившего социализма», конечно, невозможно. Вы же развратитель пролетариатов и можете их разложить... Но именно поэтому и оцените мою гениальность, как я подал Вас – я передал небольшой отрывок о Мандельштаме из «Петербургских зим», предпослав рекламное (Вам) предисловие: «друг Анны Ахматовой и Николая Гумилева, Георгий Иванов по справедливости считается лучшим русским поэтом за рубежом». Хорошо? Надо бы лучше – да некуда. И славу Вам даем, и деньги, и все, что хотите, а Вы все нас презираете, и только, как Петр Ильич Чайковский с бедной этой (как ее) Марфы Елпидифоровны фон Мек – все требуете кругленьких и кругленьких... А наши-то труды – без оных ведь? Это грустно. Хорошо всегда, когда за эпистолярным трудом стоит эта возможность получения кругленьких – и стиль становится резвее. Нихт вар? Это Вам не Вар (просто).

Кстати, где же Вы? В русском (публичном?) доме? Нет, правда, напишите, это, вероятно, детище Роговского? Одно время детище было красноватым, теперь, наверное, – не так уж чтобы.

Вы интересуетесь моей болезнью? Ну, как Вам сказать, я рад бы был так еще полежать. Лежал прекрасно, первоклассно, уйти я вовсе не хотел! Госпиталь был чудесный – и с телефоном, и с радиоаппаратом – и китаяночки вас обмывают каждый день, и негритяночки натирают через день. Вообще, чудо века. Теперь бегаю, как молодой. До поры до времени. «К чему скрывать?» Кстати, Завалишин (чтобы не забыть) говорит, что «Распад атома» у него и письмо Гиппиус у него. И что если б Вы ответили ему своевремен-

но, то заработали бы деньги, он парень очень милый и теперь более-менее трезвый. Если Вы напишете ему письмо (а можете просто для него вложить это письмо в то, которое Вы пошлете мне – зовут его Слава, или Вячеслав Клавдиевич, что то же), чтоб он передал книгу и слова Гиппиус мне, он передаст. А нам это надо – для статьи о Вас, которая будет. Я даже думаю, не трахнуть ли мне о Вас эдакий памятник! Могу. Но как быть с гостиной желтого клена, Ваше Сиятельство? Ее придется забыть, пожалуй. Начнем – с заграницы, а прежнее – заштрихуем. Так?

Итак, умер Ставров, умер Кнут – да, года идут, идут. Ставров был на год старше меня, а Кнут и вовсе был мальчик, что-то под пятьдесят, кажется...

Поблагодарите Юрасова, он написал прекрасную рецензию, на которую обратили внимание множество человечества. Ей-Богу! Мой друг, Марк Вениаминович Вишняк (с которым очень дружим) звонил и сказал, что самая интересная рецензия в номере! Вот до чего прославили, а все зря, все ни к чему, барыня опять недовольны. Итак, шлите все, что хотите, все будем печатать крупным шрифтом, вразбивку – курсив наш (отдай ему его курсив! говорит, кажется, Остап Бендер).

Теперь две строки всерьез: выходит Мандельштам, хотите написать о нем? Но только *без неправды.* Если Вы не обманете нас, а напишете, то я Вам тогда пошлю. А не напишете, так и не просите. Думаю, что о Мандельштаме Вам все книги в руки. Это было бы очень интересно. Но ведь беда-то в том, что Вы неверный человек. С Буровым наверное куда верней, а нас, как народников-интеллигентов гуманитарного пошиба, – презираете.

Одним словом, кончаю. А мечтаю, знаете о чем: о деревне Питерсхем, куда хотим завалиться в этом году пораньше – ах, как там здорово. Написал бы Вам о лесе, о зорях, о птицах, но знаю, что Вы урбанист, и робко смолкаю.

И. В. – привет! Крепко жму руку, Ваш Роман Гуль.

14 мая 1955 года

«Сквозь рычанье океаново
Слышу мат Жоржа Иванова»

Дорогой Георгий Владимирович, некоторые литературоведы-шкловианцы настаивают, что во второй строке в слове «Жоржа» ударение должно быть на последнем слоге, другие – социалистически-реалистического направления – утверждают, что ударение должно быть на первом слоге. Я, собственно, склоняюсь к шкловианцам. При таком ударении создаются всяческие океанские (и не только океанские) ассоциации с «моржом» и пр. И так – лучше, по-моему. Теряюсь в догадках, что больше понравится Вам. Но вообще строки – «на ять».

Итак, получил Ваше письмо. Вы совершенно правы, когда, негодуя и любя, упрекаете меня в столь глубокой паузе. И писать письма – крайне желательно, но трудно. Но мы Вас никак не забываем, в чем Вы и И. В. можете убедиться, глотая витамины ледерплекс каждое утро – под соловьиные трели и прочие прелести Вашего чудесного Вара. Но больше того. На горизонте появляются и другие доказательства дружбы в виде – наконец-то: рыжих лоферов, мокасинов и прочего. Но это требует совершенно особой баллады об американском графе. Этого американского графа Бог сотворил так, что все с него – тютелька в тютельку на Вас. И для того, чтобы послать Вам лоферы и прочее, надо было разыскать графа и доказать ему, что он должен – в Вашу пользу раздеться. Граф не возражал и, как всякий граф, был демонски хорош при этом. И вот 10 мая к Вам ушла небольшая, но не без приятности посылка с вещами этого самого американского графа. В ней – рыжие лоферы и мокасины (для неграмотных – легкие туфли индейского «стиля, носимые в Соединенных Штатах Америки, а также и в других странах). Серый костюм – легкий, летний, совсем легкий, совсем летний – специально для соловьев, для роз, для неутруждаемых плечей поэта. Костюм этот у графа только что пришел из чистки, так что его надо только выгладить. Далее две рубахи – какие рубахи граф положил – не упомню. Три галстука, из которых один галстук граф отдавал не без рыданий. И последнее – такой конверт из пластики, и в нем пальто из пластики на случай дождя, если таковые

идут в Варе. К этому самому пальто приложен скач тайп, то есть такая клейкая бумажка, но это не бумажка, а только похоже на бумажку, это пластика, и если где надо будет со временем починить это непромокаемо-непроницаемое пальто для дождя, то – вот именно этим самым скач тайпом. Вы посмотрите только, какой это граф – миляга, внимательный, хоть и забубённый. Да, и две пары носков. Вуаля, се ту... Большего у графа отнять никак не мог. Граф стал упираться, хныкать, ругаться. И я решил оставить его пока что в покое – до следующего налета. Но граф оч. просил (странные бывают эти графы), чтоб я ему доподлинно сказал, что и как Вам подошло, чем Вы довольны и вообще все такое прочее. Так что будьте уж любезны, маэстро, когда получите, напишите. Получите, вероятно, к самому сезону жары – числа 15–20 июля. Вуаля. Точка.

Теперь переходим к пустякам, то есть к поэзии и к прозе. Вы грозитесь прислать всякие вкусные и чудные вещи. Мы в восторге. Но почему так небыстро? Прислали бы Вы к сентябрьской книге, вот это было бы правильно, а Вы хотите чуть ли не к декабрьской, под самый занавес, так сказать. Поторопитесь, маэстро. И стихи, и прозу. Будет чудесно. И всем приятно. Если Вы уже написали балладу о дружбе через океан – то пришлите и ее для воспроизведения. В ответ на начало моей баллады, кое даже приведено как эпиграф к этому месиву. Итак, идем дальше. О статье о Вас Вы знаете, я готов. То есть готов написать. Еще не решил как – в линии ли статьи о Цветаевой или в линии статьи об Эренбурге (в посл. кн. Н. Ж.). Но готов. Внутренне готов, *знаю, что* написать (уже есть в душе «мясо» этой статьи). Но беда-то в том, что у меня нет материалов. Есть только «Распад атома». Причем Вы не правы, сейчас меня не стошнило, меня стошнило гораздо раньше, когда «Распад» только что вышел. Ты опоздал на двадцать лет... и все-таки тебе я рада. Нет, без шуток, хоть и тошнит, но «Распад» – ценю очень. Но вот как со стихами? У меня нет ни чего. Я ведь из тех, кто не собирает никаких книг. «Маэстро, я не люблю музыку»[13]. А для того, чтобы вжиться в Вас – нужно же начитаться. Здесь достать – едва ли ч.-н.

[13] Рассказывают, что Тосканини как-то спросил первую скрипкусвоего оркестра: «Почему вы всегда такой грустный!» – «Маэстро, я не люблю музыку», – ответила первая скрипка.

смогу. М. б., Вы мне пришлете заказным пакетом (простой почтой). А я Вам также заказно верну все в целости и сохранности. Допустим, что ранних стихов не надо (кое-что помню), но нужно все, что было издано за границей. Беспременно. Без этого нельзя. А я бы, поехав в июле (первого) опять в тот же лес, в то же стюдьо, где жили с женой в прошлом году (Питерсхем) – там вот бы и написал статью, как надо. *Историческую.* Ну, как – «Менцель – критик Гете» или ч.-н. такое добролюбовское. Ей-Богу. Даже знаю, с чего начну. Не догадаетесь – с цитаты из Михайловского, да, да – насчет этики и эстетики (про Каина и Авеля). Не пугайтесь, не пугайтесь. Вы, конечно, будете Каином, я Вас не оскорблю никакой неврастенией... Ну, так как же? Можете мне помочь в этом монументальном всечеловеческом деле? Попробуйте. Главное, не бойтесь прислать. Я верну все до ниточки. Я аккуратен, как Ленин (ненавижу эту собаку, но знаю, что он был оч. аккуратен, даже педантичен). Итак, жду от Вас ответа, как соловей лета. Чеховское изд-во еще живет, еще вздыхает и официально до 1956 года (сентября) будет жить. Так говорят. Но, м. б., будет жить и дальше, говорят, что они скопили (смешное слово! сколько выкинули псу под хвост!) какие-то деньги, кот. им разрешат, м. б., прожить еще. Так что еще не все надежды потеряны. Пишите, пишите. Рад, что отзыв Юрасова понравился И. В. Это гораздо лучше, чем если бы писал я. Одним словом, «Новый журнал» имеет честь просить Вас обоих оказать честь его страницами и присылать все, что сочтете нужно-возможным.

За сим сердечно и дружески Ваш: Гуль-американец.

Сердечный привет Ир. Вл.

Я все мечтаю выпрыгнуть – устроить что-нибудь в кино иль на театре. А то как работать и жить «надоело стало», как говорил один немец, переводя с немецкого langweilich geworden.

Ваш Роман Гуль.

В ответ на это письмо пришла открытка с изображением авеню де Бельжик в Hyères, где жили Г. Иванов и И. Одоевцева, а на другой стороне такое стихотворение Г. Иванова:

Сквозь рычанье океаново
И мимозы аромат
К Вам летит Жоржа Иванова
Нежный шепот, а не мат.

Книжки он сейчас отправил – и
Ждет, чтоб Гуль его прославил – и
Произвел его в чины
Мировой величины

(За всеобщею бездарностью).
С глубочайшей благодарностью
За сапожки и штаны.

Г. И.
Hyères, 24 мая 1955г.

Ленин и «Архипелаг ГУЛАГ»

Мир с Брежневым – это война с Солженицыным.
Сальвадор де Мадарьяга

Злая и преступная воля есть воля безумная
и именно поэтому гибельная.
С. Франк

1. ЗАРОЖДЕНИЕ «ИДЕОЛОГИИ»

По-моему, эта книга А. И. Солженицына – великая книга. Впервые за страшные, кровавые полвека она предлагает *всему миру* ознакомиться с бесовской, инфернальной сутью большевизма как не только русского, но мирового зла. «Архипелаг» написан с великой человечностью, с великой искренностью, ярким словом и с подачей подавляющего всякое воображение, огромного фактического материала. Всякому читателю «Архипелаг ГУЛАГ» предметно показывает,

чем в своей уродливо-марксистской дикости была пресловутая октябрьская революция Ленина. И чем были Ленин и ленинцы – как люди – этот человекоубийца в окруженьи убийц. Обычно по «интеллигентской трусости», по так называемой псевдонаучной «исторической объективности» Ленина и ленинцев называют коммунистами. Но этот термин мертв и глуп. Он не определяет ни Ленина, ни ленинцев в их человеческой натуре. Мы привыкли к планетарной лжи. Для Ленина и ленинцев есть настоящее определение, это – «гангстеры с идеологией».

Литература о Ленине громадна. Советская – преимущественно лжива. В ней Ленин подрумянен и макийирован, как покойник в американском «фюнерал хаузе». Но есть и правдивая русская литература о Ленине. За рубежом. Здесь люди свободно писали о Ленине, и люди, его хорошо лично знавшие. Есть воспоминания о Ленине, характеристики, статьи, письма. Упомяну хотя бы главных русских авторов: П. Б. Струве, Бердяев, Валентинов, Мартов, Войтинский, Нагловский, Авторханов, Алданов, Шуб; в печати меньшевиков, левых эсэров и просто эсеров – много материала для портрета Ленина – и политика и человека. Надо, чтобы кто-нибудь из русских зарубежных библиографов выпустил, наконец, зарубежную «ленининиану». Не говоря о материале на иностранных языках. Говорю только о русском.

Советской пропагандой (и подсобной, пятоколонной, иностранной) внушается, что Ленин и гигант, и гений. Пусть так. Мы этого не оспариваем. Только это гигантство сродни гигантству прославленных «боссов» подпольного мира, вроде Аль Капоне, и уж, конечно, сродни гигантству и гению Гитлера. Организация Объединенных Наций, эта малоуважаемая международная организация, пыталась провозгласить Ленина «великим гуманистом». За полвека, от которого «кровавый отсвет в лицах есть», мы привыкли к разным ма-

хинациям. Но мы, русские, знаем, *что такое большевизм* и что представлял собой Ленин как человек и политик – это воистину апокалиптическое чудовище, своей революцией убившее шестьдесят миллионов людей в России и покушающееся руками своих последователей, отечественных и всесветных тупамарос, «угробить» еще больше миллионов людей во всем мире.

В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын о Ленине пишет мало. И мало цитирует «гения». Может быть, он не хотел чересчур дразнить гусей? Ведь свою замечательную книгу Александр Исаевич писал и написал в рабовладельческой империи Ленина, живя в городе, где стоит постыдный для всякого мыслящего человека МАВЗОЛЕЙ с восковой куклой вождя, куда до сих пор водят стада дураков-туристов и гоняют отечественные «экскурсии» – смотреть на *останки марксизма-ленинизма.*

Когда-то французский якобинец Камилл Демулен (тоже личность вполне кровавая), обращаясь к французам, говорил, что так называемые «великие люди» только оттого кажутся им «великими», что они созерцают их, стоя на коленях. «Так встаньте же!» – восклицал Камилл Демулен. И тут он был, разумеется, прав. Солженицын давно порвал с подобным коленопреклонением. Но сколько людей, как, например, Рой Медведев, все еще никак не могут встать с колен перед Лениным. А многие из них даже и не хотят встать, считая, что жить на четвереньках удобнее, чем стоять во весь рост. «Четыре ноги – хорошо. Две ноги – плохо», – писал Орвел в знаменитом «Скотском хуторе». Но Александр Солженицын – перед всем миром! – встал во весь рост! Во весь свой богатырский рост!

С умной иронией Солженицын пишет о Ленине: «И хотя В. И. Ленин в конце 1917 года для установления «строго революционного порядка» требовал «беспощадно подавлять по-

пытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов, контрреволюционеров и других лиц», т. е. главную опасность Октябрьской революции он ожидал от пьяниц, а контрреволюционеры толпились где-то там в третьем ряду, – однако он же ставил задачу и шире. В статье «Как организовать соревнование» (7 и 10 янв. 1918 г.) В. И. Ленин провозгласил общую единую цель «*очистки*» земли российской от всяких вредных насекомых». И под «*насекомыми*» он понимал не только всех классово чуждых, но также и «рабочих, отлынивающих от работы». (Вот что делает даль времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став *диктаторами*, тут же склонились отлынивать от работы для себя самих). А еще: «в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне <...> нет <...> саботажников, называющих себя интеллигентами?» Правда, формы очистки от насекомых Ленин в этой статье предвидел разнообразные: где посадят, где поставят чистить сортиры, где «по отбытии карцера выдадут желтый билет», где *расстреляют тунеядца*; тут на выбор – тюрьма «или наказание на принудительных работах тягчайшего типа». И дальше Солженицын продолжает с той же иронией: «И невозможно было бы эту санитарную очистку произвести <...> если б пользовались устарелыми процессуальными формами и юридическими нормами. Но форму приняли совсем новую: *внесудебную расправу*, и неблагодарную эту работу самоотверженно взвалила на себя ВЧК – Часовой Революции, единственный в человеческой истории карательный орган, совместивший в одних руках: слежку, арест, следствие, прокуратуру, суд и исполнение решения».

Тут Солженицын чуть-чуть не прав. Такие «органы» в истории бывали. У Гитлера было гестапо с «внесудебными расправами». В XII–XV веках «внесудебно» расправлялись трибуналы испанской инквизиции. «Органы расправы» существуют у Мао Цзе Дуна. А в частном порядке существуют в

американском преступном мире, так называемом Organized Crime. Во всяком сообществе, целью которого является грубое насилье над людьми, «органы расправы» рождаются автоматически. Но прав А. И. Солженицын в том, что по террористическому размаху и числу миллионов жертв созданный Лениным «Архипелаг ГУЛАГ» превзошел в мировой истории всё. Но так как Солженицын о Ленине все же недостаточно, по-моему, говорит, я думаю – надо кое-что сказать об этом человеке дополнительно.

По своей природе Ленин был насильник, маньяк самовластья, маньяк именно – его – неограниченной власти. До революции в большевицкой партии он было мало того что диктатор, он был «непогрешим». И когда пришла революция, Ленин в октябре полез напролом к власти своей партии, то есть к его власти уже во всей стране. И он захватил эту власть, подмяв под себя немногих из своих еще колебавшихся «не социалистов, а мошенников», как их гениально определил Достоевский в «Бесах». Знаменательно, что основоположник русского марксизма, и в этот отношении «учитель» Ленина, Георгий Валентинович Плеханов при известии о захвате Лениным власти в отчаяньи сказал: «Пропала Россия, погибла Россия!» Плеханов как никто знал Ленина.

Основатель Чехословацкого государства Томас Масарик в книге «Идеалы гуманизма» так определял свой социализм: «Мой социализм – это просто любовь к ближнему». Масарик любил и человека, и его свободу, он хотел служить людям. Поэтому в свое время и был близок к Льву Толстому. Ленина же и его «шайку» – Пелагеи, Марьи, Иваны, Петры – не интересовали ни в какой степени: ни они как люди, ни тем паче их свобода. Ленинская шайка в октябре бросилась только к властвованию над людьми, к подавлению народа своим ничем не ограниченным самовластьем. Конечно, среди большевиков были и так называемые «идеалисты», к уголовщине

Ленина не склонные. Был старый большевик Ольминский, осмелившийся написать: «Можно быть разного мнения о красном терроре, но то, что сейчас творится, этот вовсе не красный террор, а сплошная уголовщина». Был большевик Дьяконов, попробовавший напомнить Ленину и его шайке: «Разве вы не слышите голосов рабочих и крестьян, требующих устранения порядков, при которых могут человека держать в тюрьме, по желанию передать в трибунал, а захотят – расстрелять». Были даже такие, как Тимофей Сапронов, на IX съезде партии крикнувший Ленину – «невежа!.. олигарх!» Но все эти, по Ленину, «дурачки» и несмышленыши кончили плохо: раньше или позже их всех расшлепали несгибаемые ленинские неандерталы.

Я полагаю, что некоторых из читателей, настроенных «прогрессивно», будут шокировать мои слова «шайка» и «уголовные преступники» в приложении к Ленину и ленинцам, которых на языке «научного социализма» надо называть «марксистами». Но что тут поделать, определения эти не мои. «Шайка» – это определение известного левого социал-демократа интернационалиста Юлия Осиповича Мартова (Цедербаума), долголетнего личного друга Ленина, соратника по «Искре». Он был одним из двух социал-демократов, с которыми Ленин был на «ты» (второй был Кржижановский). С Лениным Мартов основывал РСДРП. Так вот, еще в 1908 году Мартов писал Аксельроду: «Признаюсь, я все больше считаю ошибкой самое номинальное участие в этой разбойничьей шайке». А его адресат, Павел Борисович Аксельрод, столь же известный основоположник РСДРП, в 1918 году писал о Ленине и ленинцах: «...не из политического задора, а из глубокого убеждения я характеризовал десять лет тому назад ленинскую компанию как шайку черносотенцев и уголовных преступников <...> Такого же характера методы и средства,

при помощи которых ленинцы достигли власти и удерживают ее». Кстати, и Петр Бернгардович Струве определял большевизм как черносотенный социализм и как смесь западных ядов с истинно русской сивухой.

Итак, в приложении к создателю «Архипелага ГУЛАГ» и его палачам я обелен в своей терминологии и Мартовым и Аксельродом. Характерно, что совершенно так же характеризует шайку ленинцев выдающийся советский ученый Анатолий Павлович Федосеев, только в мая 1971 года бежавший из Совсоюза. В сборнике статей «Социализм и диктатура» он пишет, что ленинизм привел «к захвату власти проходимцами и подлецами, не стесняющимися в средствах для удержания власти».

Как все люди Запада, и американцы не понимают сути большевицкой шайки, ее натурального волевого импульса. Но американцы это поняли бы, если бы, например, – назвавшись Советским Американским Правительством Рабочих и Крестьян – правительство США в течение пятидесяти с лишком лет состояло из Аль Капоне, Люки Лучиано, Джозефа Бонано, Франка Костелло, Тони Аккардо, Датч Шульца, Мо Делица, Мейера Ланского, Луи Лепке, Арнольда Ротштейна, Мики Кона и других знаменитостей «организованной преступности». Правда, убийцы с идеологией все-таки всегда будут страшнее убийц без идеологии.

Великий отец католической церкви Блаженный Августин в своем знаменитом трактате «О граде Божьем» (De Civitas Dei) так писал о государстве: «Если мы отбросим право и справедливость, то что такое государство, как не большая шайке разбойников? И что такое шайке разбойников, как не маленькое государство?» Эту суть «государства разбойничьей шайки» Ленин превосходно чуял и понимал. И сразу же по захвате власти в России создал жесточайшую систему терро-

ра, с годами разросшуюся в небывалый «Архипелаг ГУЛАГ». Дерзайте быть страшными, или вы погибнете!

И. А. Бунин в «Окаянных днях» 2 марта 1918 г. записал: «Съезд Советов. Речь Ленина. О, какое это животное!» И Бунин, по-моему, прав. В Ленине было мало человеческих чувств. Это было именно одноглазое и даже не политическое, а партийное животное с уголовными манерами. И Блез Паскаль, и Владимир Соловьев, и Достоевский считали, что совесть прирождена человеку. К сожалению, думаю, что все-таки не всякому. Есть уроды. В революционном мире всегда было довольно много «моральных идиотов». И Ленин, Сталин, Азеф, Гельфанд-Парвус принадлежать именно к ним, причем два последние – Азеф и Парвус – тоже были и не без «гениальности», и не без «гигантства». «Морально то, что полезно партии», – говорил Ленин. Вот – типично готтентотская мораль. И таких «изречений» основателя «Архипелага ГУ ЛАГ» – множество. Но, чтоб покончить с темой о Ленине, я приведу только два факта из его биографии, совершенно бесспорно подтверждающие тезу о *полнейшем аморализме* Ленина, ужасающем всякое нормальное сознание.

Во время русско-японской войны Азеф – глава террористической организации партии эсеров и член ЦК партии – брал на своей террор деньги от японцев. И это ни в коей мере его не волновало. Во время Первой мировой войны – через Фюрстенберга-Ганецкого и Гельфанда-Парвуса – Ленин получил миллионы золотых марок от немецкого Генерального штаба для антивоенной, разрушительной революционной работы в России. Известный лидер германской социал-демократии Эдуард Бернштейн, разоблачая эту связь Ленина с кайзером Вильгельмом II, в январе 1925 года в берлинской газете «Форвертс» писал: «Ленин и его товарищи получали от правительства кайзера огромные суммы денег на ведение своей разрушительной работы <...> Из абсолютно достовер-

ных источников я выяснил, что *речь шла об очень большой, почти невероятной сумме, несомненно больше 50 миллионов золотых марок...»*

Ленин, конечно, прекрасно понимал, почему ему давали эти деньги, но, как известно, Ленин же сказал: «А на Россию, господа хорошие, нам наплевать...» Ленину нужна была не Россия, а «мировая революция», и он брал миллионы от императора Вильгельма II. Ленин брал деньги и тогда, когда государственная власть была уже в его руках, брал, чтобы удержать ее. И немецкие деньги, без которых он не захватил бы власти, не волновали Ленина так же, как Азефа – японские. И что ж? Он был прав: все сложилось чудесно! Ленин вышел почти сухим из воды. Если попытки разоблачений Ленина начались еще в 1917 году (Алексинский, Бурцев, Временное правительство), то ведь только почти через полвека, когда Ленин уже давно сладко почивал в своем роскошном мавзолее на Красной площади, на Западе опубликовали документы немецкого министерства иностранных дел, наконец-то *документально уличавшие* Ленина в получении миллионов от... кайзера. Но кто теперь об этом «неприличии» вспоминает? Даже Объединенные Нации не вспомнили, пытаясь объявить Ленина светочем гуманизма.

В сборнике германских документов под названием «Германия и революция в России», вышедшем в 1958 году по-английски, есть замечательная телеграмма от 29 сентября 1917 года германского министра иностранных дел фон Кюльмана о подрывной немецкой работе в России. Фон Кюльман телеграфировал представителю министерства в главной ставке: «Мы теперь заняты работой в полном согласии с политическим отделом Генерального штаба в Берлине (капитан фон Гильзен). Наша совместная работа дала осязательные результаты. *Без нашей беспрерывной поддержки большевицкое движение никогда не достигло бы такого размера, который оно*

сейчас имеет. Все говорит за то, что движение это будет расти». Этот «гений» фон Кюльман оказался чрезвычайно прозорлив. *Движение так разрослось,* что захватило полмира и, в частности, половину Германии господина фон Кюльмана. Если у него есть внуки, они могут помянуть добрым словом «подрывную работу» своего чрезвычайно умного дедушки.

В архитекторе «Архипелага ГУЛАГ», в Ленине была *большая сила.* Сила полного, высшего аморализма, так же как в убийце студента Иванова, изувере Нечаеве. И неудивительно, что в то время как революционеры всех мастей шарахались от Нечаева как от страшного пугала, Ленин очень высоко ценил Нечаева и ставил его на пьедестал *великого революционера.* Именно с Нечаевым и связан мой второй пример полного ленинского аморализма и полной беспощадности.

Известно, что Ленин называл Нечаева «титаном революции», что ленинское положение (1902 года) – «дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию» – это нечаевская формула. Но я не останавливаюсь на всем психологическом и душевном сродстве Нечаева и Ленина, это увело бы нас далеко от «Архипелага ГУЛАГ». Я приведу только рассказ старого друга и сотрудника Ленина Бонч-Бруевича, с 1917 года управлявшего у Ленина делами его Совнаркома. В 1934 году Бонч-Бруевич опубликовал то, что говорил о Нечаеве Ленин. Ленин говорил: «Совершенно забывают, что Нечаев <...> умел свои мысли облекать в такие потрясающие формулировки, которые оставались в памяти на всю жизнь. Достаточно вспомнить, – говорил Ленин, – его ответ в одной листовке, когда на вопрос «кого же надо уничтожить из царствующего дома?» Нечаев дал точный ответ: «всю великую ектению...» Да, весь дом Романовых!.. Ведь это просто до гениальности! Нечаев должен быть весь издан... Так неоднократно говорил Владимир Ильич», – рассказывает Бонч-Бруевич.

Когда в сентябре 1917 года Ленин захватил в России власть, свой восторг от нечаевскои «гениальности», от «всей великой ектений» он скоро и хладнокровно привел в исполнение. Ленин зверски умертвил всех Романовых: и царя, и царицу, и всех их детей, и всех великих князей, которые были в пределах досягаемости, за исключением Гавриила Константиновича, жизнь которого Ленин высочайше подарил Максиму Горькому за то, что «буревестник революции» от оппозиции большевикам перешел к сотрудничеству с большевиками.

Говорят, что из Екатеринбурга голова Николая II была доставлена в Москву, в Кремль, Ленину – в банке со спиртом – как доказательство пахану, что его мокрое дело выполнено – «вся великая ектения» уничтожена.

Ни от каких мокрых дел Ленин не падал в обморок. Вот его телеграмма от 9 августа 1918 года Евгении Бош: «Получил Вашу телеграмму. Необходимо <...> провести *беспощадный массовый террор* против кулаков, попов, белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении». А своему сатрапу Гришке Зиновьеву, председателю балаганной Петрокоммуны, Ленин в 1918 году давал такие директивы: «Надо поощрять *энергию и массовидность террора*».

Чтобы почувствовать, насколько морально гнусны были террористы французской революции, достаточно прочесть хотя бы допрос и так называемый суд над Марией Антуанеттой. Здесь весь их террор – как океан в капле воды. В «Окаянных днях» ИАБунин записывает 11 мая 1918 года: «...читаю Ленотра. Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон... Ленин, Троцкий, Дзержинский. Кто подлее, кровожаднее, гаже? Конечно, все-таки московские». Разумеется. Террор якобинцев был шуточным в сравнении с террорищем Ленина, захватившим одну

шестую часть земли, на которой это чудовище и заложило «Архипелаг ГУЛАГ», работающий уже многие десятилетия.

«Архипелаг» – целиком и полностью – вырос из политической доктрины и практики *именно Ленина,* из его отношения к миру и людям. Жаль, что Солженицын приводит только две цитаты из легших на бумагу мыслей Ленина, приведших в своем развитии к «Архипелагу ГУЛАГ». Солженицын приводит известные письма Ленина к своему наркому юстиции Курскому. Солженицын пишет: «К процессу эсэров очень торопились с уголовным кодексом: пора было уложить гранитные глыбы Закона! 12 мая, как договорились, открылась сессия ВЦИК, а с проектом кодекса все еще не успевали – он только подан был в Горки Владимиру Ильичу на просмотр. Шесть статей кодекса предусматривали своим высшим пределом расстрел. Это не было удовлетворительным. 15 мая на полях проекта Ильич добавил еще шесть статей, по которым также необходим расстрел <...> Главный вывод Ильич так пояснил наркому юстиции: „Товарищ Курский! По-моему, надо расширить применение расстрела...“» «Расширить применение расстрела! – чего тут не понять, – пишет Солженицын.– *Террор – это средство убеждения,* кажется, ясно!.. Но вдогонку, 17 мая, Ленин послал из Горок второе письмо: «Т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю вам набросок дополнительного параграфа уголовного кодекса <...> Основная мысль, надеюсь, ясна <...> открыто выставить принципиально и политически правдивое (а не только юридически-узкое) положение, мотивирующее суть и *оправдание террора* <...> Суд должен не устранить террор <...> а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире... С коммунистическим приветом. Ленин». Комментировать этот важный документ, – пишет Солжени-

цын, – мы не беремся. Над ним уместны тишина и размышление».

Да, скажу я от себя, – тишина и размышление нужны, ибо в то время в тиши ленинского кабинета вместо России зарождался – «Архипелаг ГУЛАГ». Но я жалею, что в книге Солженицына нет цитат из Ленина, объясняющих, ради какой цели Ленин начал с тоталитарного всеустрашающего террора? Этот террор был нужен Ленину только для того, чтобы удержать над страной *свою* власть, *свою* диктатуру, которую он для пущей «научности» и для дураков назвал «диктатурой пролетариата». Я думаю, тут уместно восполнить этот некий пробел в книге Александра Исаевича цитатами из Ленина.

Например: «Речи о равенстве, свободе и демократии в нынешней обстановке – чепуха <...> Я уже в 1918 г. указывал на необходимость *единоличия, необходимость признания диктаторских полномочий одного лица* с точки зрения проведения советской идеи». И далее: «...Решительно никакого противоречия между советским (т. е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц *нет* <...> Как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного». И далее: «Волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходим». И далее: «Научное (?!РГ)[14] понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть».

---

[14] Известно, что учение Ленина называется «*научным* социализмом», хотя всякий дурак должен бы понять, что ничего «научного» здесь нет. И диктатуру (свою) Ленин определяет как «научную», что является просто уже бредом.

В течение десятилетий на Западе многие так называемые советологи либерального типа пытались весь терроризм Ленина перевалить на Сталина, на московские «процессы ведьм», на «великую чистку» 1937 года, на «процесс врачей» и т. д. Это была ложь во спасение некой выдумки о якобы какой-то «демократичности» Ленина (и при Ленине), *которая не только в нем (и при нем) никогда не ночевала, но была глубоко противна ему по природе.* Своим «Архипелагом ГУЛАГ» Солженицын восстанавливает историческую правду. Он пишет: «Когда теперь бранят *произвол культа,* то упирается все снова и снова в настрявшие 37-й и 38-й годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни ДО не сажали, ни ПОСЛЕ, а только в 37-м и 38-м. Не имея в руках никакой статистики, не боюсь, однако, ошибиться, сказав, поток 37-го и 38-го ни единственным не был, ни даже главным, а только, может быть, – одним из трех самых больших потоков, распиравших мрачные вонючие трубы нашей тюремной канализации».

Большая заслуга Александра Исаевича Солженицына в том, что *именно к Ленину,* ко всему большевицкому заговору и перевороту он относит закладку страшной машины убийств и ломки человеческих тел и душ.

2. ВОПЛОЩЕНИЕ «ИДЕОЛОГИИ»

«Голубые канты» – одна из сильных глав «Архипелага ГУЛАГ». Общеизвестно положение и Ленина и Дзержинского: «каждый большевик должен быть чекистом». В вопросе о терроре вся головка большевиков – от Ильича до Бухарчика – никогда не фальшивила. «Классовая борьба». Ее очень хорошо назвал Н. К. Михайловский – «школой озверенья».

«Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть лицемерным ханжой, чтоб этого не понимать», – писал Троцкий. «Буквы ГПУ не менее страшны для

наших врагов, чем ВЧК. Это самые популярные буквы в международном масштабе», – писал Зиновьев. «Революции всегда сопровождаются смертями, это дело самое обыкновенное. И мы должны применять все меры террора <...> Я требую организации *революционной расправы*!», – говорил Дзержинский. «Трибунал – это не суд, в котором должны возродиться юридические тонкости <...> Если целесообразность потребует, чтобы карающий меч обрушился на голову подсудимых, то никакие <...> убеждения словом не помогут. Мы охраняем себя не только от прошлого, но и от будущего», – говорил Крыленко. «Мы не отличаем *намерения* от самого *преступления,* и в этом *превосходство* советского законодательства перед буржуазным», – высказывался Вышинский. Можно привести такие же морально готтентотские цитаты из выступлений и писаний Сталина, Менжинского, Лациса, Петерса, Урицкого, Кагановича, Микояна, Володарского, Ягоды, Ежова и других членов «шайки». Но я думаю, это излишне.

О психологии «каждого большевика», долженствующего тем самым «быть и чекистом», писалось много, но только Солженицын подал эту тему так, как до́лжно. Его «голубые канты» живут и незабываемы.

Говоря о таких ленинцах-чекистах, как Абакумов и Берия (этот тип своих подручных Ленин удовлетворенно называл «рукастыми коммунистами»), Солженицын пишет: «Они по службе не имеют потребности быть людьми образованными, широкой культуры и взглядов – и они таковы <...> Им по службе нужно только четкое исполнение директив и бессердечность к страданьям – и вот это их, это есть. Мы, прошедшие через их руки, душно ощущаем их корпус, донага лишенный общечеловеческих представлений <...> Они понимали, что *дела* (арестованных. – *Р. Г.*) – дуты, и всё трудились за годом год. Как это?..», – спрашивает Солженицын. И отвечает словами колымского следователя: «Ты думаешь, нам до-

ставляет удовольствие применять воздействие (это по ласковому ПЫТКИ, поясняет Солженицын). Но мы должны делать то, что от нас *требует партия».*

ПАРТИЯ. Слово сказано. Это и есть та знаменитая нечаевско-ленинская «организация профессиональных революционеров», которая должна была «перевернуть Россию», не видя ни ее крови, ни ее слез. Она ее и перевертывает шестьдесят девять лет. Кто? Эти самые «голубые канты» – дети и внуки Ильича, для которых он изобрел особую ленинскую идеологическую инъекцию из марксизма, пугачевщины и шигалевщины. Для изобретения такой «сыворотки» Сталин был мелкотравчат.

Конечно, в чекистских «легендах», в полной вымышленности так называемых «преступлений» ничего нового нет. Всякий революционный террор всегда живет такой вымышленностью. Так было у якобинцев. Так было и есть в Китае у Мао Цзе Дуна. Так было и есть в империи ГУЛАГ. Чем же заговорщикам удержать свою власть, как не ужасом?

Вспоминаю статью американского философа Сиднея Хука. К нему пришел известный немецкий поэт, коммунист, его друг Берт Брехт. Это было в дни самого страшного по своей сатанинской вымышленности сталинского террора. Хук, естественно, спросил Брехта, что он об этом думает? И коммунистическая интеллектуальная знаменитость без запинки ответила: «Чем больше они невиновны, тем больше они виноваты». Хук подал Брехту пальто и шляпу. И больше его не видел. «Формула Брехта» определяет всю психологию «голубых кантов».

С порабощением рабочих партаппаратом из ленинской «идеологической инъекции» исчезли признаки марксизма («фабрики рабочим!») После погрома и закрепощения крестьянства («земля крестьянам!») исчезла пугачевщина. Что же осталось от «идеологической инъекции»? Осталось главное,

что привело «шайку» к власти, – *шигалевщина.* «Мы пустим пьянство, сплетни, донос, мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю. Полное равенство... Но у рабов должны быть и правители. Полное послушание, полная безличность... Одно или два поколения разврата теперь необходимо: разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, себялюбивую мразь – вот что надо! А тут, чтобы еще к свеженькой кровушке попривыкли...», – говорит в «Бесах» Петр Верховенский, практик шигалевщины. Недаром о «Бесах» Достоевского Ленин говорил – «омерзительно, но гениально!» Стало быть, Достоевский что-то – самое нутряное – нащупал в нечаевщине-ленинщине. Конечно, теперешние «голубые канты», все эти разъевшиеся номенклатурные мурлы и хари снизили шигалевщину с ее интеллектуального уровня до уровня грубоживотного, разбойного примитива. Они уже гораздо ближе к Федьке Каторжному, чем к Шигалеву.

Солженицын пишет: «По роду деятельности и по сделанному жизненному выбору лишенные ВЕРХНЕЙ сферы человеческого бытия, служители Голубого Заведения с тем большей полнотой и жадностью живут в сфере нижней. А там владели ими и направляли их сильнейшие (кроме голода и пола) инстинкты нижней сферы; инстинкт ВЛАСТИ и инстинкт НАЖИВЫ. (Особенно – власти. В наши десятилетия она оказалась важнее денег...) Для людей без верхней сферы власть – это трупный яд. Им от этого зараженья – нет спасенья».

Но все же, конечно, от Ильича Первого и его ленинизма Ильич Второй – Брежнев – не отрекается. Да и не может. Чем же ему было бы *жить*? Даже книгу своих глубокомысленнейших речей он так и озаглавил – «Ленинским курсом». И

КПСС, и КГБ до сих пор освящены и ославлены именем великого Ленина. Солженицын так пишет об этой единственной, всесильной опоре ленинского государства – о гордости партии – о «голубых кантах»: «Ты выше открытой власти с тех пор, как прикрылся этой небесной фуражкой. Что ТЫ делаешь, никто не смеет проверить, но всякий человек подлежит твоей проверке <...> Ведь один ты знаешь *спецсоображения,* больше никто. И поэтому ты всегда прав <...> Все твое теперь! Все для тебя! Но только будь верен ОРГАНАМ! Делай все, что велят <...> Ничему не удивляйся: истинное назначение людей и истинные ранги людям знают только Органы, остальным просто дают поиграть <...> Нет, это надо пережить – что значит быть голубой фуражкой. Любая квартира, какую высмотрел, – твоя! Любая баба – твоя! Любого врага – с дороги! Земля под ногой – твоя! Небо над тобой – твое, голубое!..»

Мартов, Валентинов, Войтинский, Нагловский и другие, хорошо знавшие Ленина, пишут, что к людям Ленин относился «с недоверием и презрением» (Мартов). «Надо ко всем людям относиться без сентиментальности, надо держать камень за пазухой» – вот формула Ленина еще 900-х годов (Валентинов). Члены его заговорщической, конспиративной партии рассматривались им, по его собственному выражению, как «партийное имущество». И ценность этого «имущества» Ленин измерял одним аршином: «полезности».

«Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы, скажите прямо, могли бы вы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый!» Так, в 1907 году, говорил Ленин члену большевицкого центра профессору Рожкову о Викторе Таратуте, который «по директиве» Ленина подвалился к богатой московской купчихе Елизавете Шмит, чтобы – через постель – получить деньги на большевицкую партию, на Ленина. И Таратута это прелест-

ное и приятное задание Ильича выполнил целиком и полностью. Капиталы Шмит попали-таки в руки Ленина.

Я не знаю, чем кончил Таратута. Но, несомненно, при Ленине и после него он вполне бы мог быть и на месте Петерса, и на месте Ягоды, и на месте Берии, руководя «голубыми кантами», ибо «заповеди» Таратуты и «голубых кантов» родились из того же бесовского аморализма Ленина. Ленину на его дело были нужны деньги. И он шел на получение их не только «через постель купчихи», но и через настоящие грабежи (с убийствами), чего Маркс как-то не предвидел.

В 1906 году по директиве Ленина его ближайшие подмастерья Коба (Сталин) и Камо (Тер-Петросян) совершили вооруженное ограбление в Чиатури. Из награбленных 21 тысячи рублей 15 тысяч пошли к Ленину, в его «большевицкий центр». Крупные деньги шли от грабежей и позже – от ограбления на корабле «Николай I» и в Бакинском порту. Но самым крупным (просто грандиозным!) ленинским мокрым грабежом (то есть с убийствами) было знаменитое в анналах партии ограбление Кобой и Камо тифлисского Государственного банка в июне 1907 года. Тут грабители-марксисты применили бомбы. (Не от этих ли бомб в наши дни бомбы взрываются по всему миру?! Конечно, от этих, ленинских!). Бомб было брошено около десяти, были убиты три человека и пятьдесят ранены, зато в кармане Ленина оказалось около 300 тысяч рублей (а тогда рубли были золотые!). В 1912 году под руководством посланного Лениным из-за границы Камо ленинцы-бандиты грабанули денежную почту на Каджарском шоссе, причем были убиты семь казаков. Вот по какой дороге «воля к власти» вела социалистического насильника Ленина и привела к октябрьской революции и тоталитарной империи «Архипелага ГУЛАГ». Аморализм голубых кантов не упал с неба. Это чистое «учение» Ленина.

Не помню кому в свой последний приезд в Париж (кажется, Адамовичу?) Анна Ахматова говорила, что «Достоевский ничего не понимал в убийстве». У него Раскольников, убив старуху-процентщицу, терзается душевно: «все позволено?» или «не все позволено?» А «у нас», говорила Ахматова, человек убивает тридцать человек и вечером с женой едет в оперу. Кто же этот человек? Этот «голубой кант»? По Ленину, это «носитель объективной истины», образцовый большевик-ленинец. Это может быть Ягода. Может быть Агранов. Может быть Мессинг. Может быть Петерс. Как у «носителя объективной истины», у него и не должно быть от этих убийств никаких охов и ахов. А раз так – то он и едет с женой в оперу освежиться, отдохнуть для завтрашней работы.

В книге Валентинова «Встречи с Лениным», кстати, приведен даже диалог между Валентиновым и Лениным на эту тему: о совести у преступника. «Из ваших слов вытекает, что ни одна гадость не должна быть порицаема, если ее учиняет полезный партии человек. Так легко дойти до «все позволено» Раскольникова», – говорил Ленину Валентинов.

«Ленин остановился и, засунув большие пальцы за отворот жилетки, посмотрел на меня с нескрываемым презрением. – Все позволено! (сказал Ленин). Вот мы и приехали к сантиментам и словечкам хлюпкого интеллигента, желающего топить партийные и революционные вопросы в морализирующей блевотине! Да о каком Раскольникове вы говорите? О том, который прихлопнул старую стерву-ростовщицу, или о том, который потом на базаре в покаянном кликушестве лбом все хлопал в землю? Вам, посещавшему семинарий Булгакова, может быть, это нравится?»

Ленин в марксизме занимал позицию некой якобинской марксятины. Для Ленина старуха-процентщица была не человек, она была – некий схематический знак «классового врага», и убить ее было и можно и, может быть, нужно. У

марксистов такого толка человеческая личность всегда была – «quantité négligeable». Вот из такой ленинской марксятины прямехонько и родился «ленинец», шлепающий тридцать человек (потенциальных иль мнимых, не все ли равно) «врагов народа» и после этого едущий в оперу. Голубому канту – «все позволено». Из этого ленинского «все позволено» и родился «Архипелаг ГУЛАГ».

Кстати, люди, близко знавшие Ленина, отмечают в его характере приступы ража, внезапного бешенства, злобу, беспощадность, беспринципность и, как пишет Валентинов, «дикую нетерпимость, не допускающую ни малейшего отклонения от его, Ленина, мыслей и убеждений». «Для терпимости существуют отдельные дома», – говорил Ленин. В той же книге «Встречи с Лениным» Валентинов рассказывает, что известный большевик и писатель А. А. Богданов, по профессии врач (Бердяев в «Самосознании» пишет – врач-психиатр), в 1927 году говорил Валентинову: «Наблюдая в течение нескольких лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывали иногда психические состояния с явными признаками ненормальности».

В Ленине для его партийцев, так же как в Гитлере для его партийцев (Der Fuhrer weiss alles!), была воплощена вся истина. И партия шла за Лениным, как за идолом. Бухарин писал, что «Ленин вел партию, как власть имущий». Уже это отдает идолопоклонством. По множеству свидетельств, так оно и было. Конечно, бывали в ЦК кое-какие «бунты», несогласия. Но все они, как пишет Мартов, были всегда «бунтом на коленях». Когда же кое-кто заходил в своем «личном мнении» слишком далеко, то Ленин действовал очень решительно. Томского за такое «бузотерство» он немедленно выслал в Туркестан. Г. Мясникова арестовал и сослал на Кавказ, откуда он бежал за границу. А в Кронштадте без суда расстрелял всех восставших против него коммунистов.

А. Д. Нагловский, старый большевик, хорошо знавший Ленина, бывший первый советский торгпред в Италии, избравший на Западе свободу и ставший невозвращенцем, так описывает «демократизм» заседаний ленинского Совнаркома: «У стены, смежной с кабинетом Ленина, стоял простой канцелярский стол, за которым сидел Ленин <...> На скамейках, стоявших перед столом Ленина, как ученики за партами, сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы. Такие же скамейки стояли у стен <...> на них так же тихо и скромно сидели наркомы, замнаркомы <...> В общем, это был класс с учителем довольно-таки нетерпимым и подчас свирепым, осаживавшим «учеников» невероятными по грубости окриками <...> Ни по одному серьезному вопросу никто никогда не осмеливался выступить «против Ильича...» Самодержавие Ленина было абсолютным <...> Обычно во время общих прений Ленин вел себя в достаточной степени бесцеремонно. Прений никогда не слушал. Во время прений ходил. Уходил. Приходил. Подсаживался к кому-нибудь и, не стесняясь, громко разговаривал. И только к концу прений занимал свое обычное место и коротко говорил: – Стало быть, товарищи, я полагаю, что этот вопрос надо решать так! – Далее следовало часто совершенно не связанное с прениями «ленинское» решение вопроса. Оно всегда тут же без возражений и принималось. «Свободы мнений» в Совнаркоме у Ленина было не больше, чем в совете министров у Муссолини и Гитлера».

Тот же А. Д. Нагловский о смерти Ленина пишет так: «Когда Ленин умер, я видел многих видных вельмож коммунизма, которые плакали самыми настоящими человеческими слезами. Плакали не только Коллонтай, Крестинский, Луначарский, но (в самом буквальном смысле) плакали заматерелые чекисты. Любовь партии к Ленину, и даже не любовь, а

какое-то «обожание» были фактом совершенно несомненным. В Ленине жила идея большевизма».

Естественно, когда этот «самовластительный злодей» умер, партии, воспитанной в его самодержавии, был – как воздух – необходим новый самодержец. Он и пришел в лице Сталина, что с точки зрения бытия партии было закономерно. И Сталин пошел за Лениным, как говорит Солженицын, «точно, стопой в указанную стопу». Так и идет полувековой «Le Massacre des innocents» на глазах всего мира, заражающий своим злом землю. Конечно, Сталин превзошел Ленина по числу массово убиенных. И некоторые могли при нем, вспоминая Ленина, говорить: «и злая тварь милее злейшей». Но изуверство всей этой шайки в своей сути одинаково – от Ильича Первого до Ильича Второго.

В «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицын, как искусный хирург, вскрывает всю *анатомию* этой «заплечных дел демократии», показывая *психологию* обслуживающих ее палачей от самой головки голубых кантов до какого-нибудь безымянного лагерного убийцы в небесной фуражке. Аресты, допросы, пытки, тюрьмы, концлагеря, тройки, ревтрибуналы, особые отделы – всё есть в этой страшной уголовной энциклопедии ленинизма.

Солженицын пишет: «Арестознание – это важный раздел курсов общего тюрьмоведения, и под него подведена общественная теория. Аресты имеют классификацию по разным признакам: ночные и дневные, домашние, служебные, путевые; первичные и повторные; расчлененные и групповые <…> Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне (1926 год) Два билета в Большой театр, в первые ряды. Следователь Клегель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повез ее прямо на Лубянку». ... «Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест

дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдий... Вот вокзал. В пассажирском зале или у стойки с пивом вас окликает симпатичнейший молодой человек: «Вы не узнаете меня, Петр Иваныч?» Петр Иваныч в затруднении: «Как будто нет, хотя...» Молодой человек изливается таким дружелюбным расположением: «Ну, как же, как же, я вам напомню...» и почтительно кланяется жене Петра Иваныча: «Вы простите, ваш супруг через одну минутку...» Супруга разрешает, незнакомец уводит Петра Иваныча доверительно под руку – навсегда или на десять лет!.. Граждане, любящие путешествовать! не забывайте, что на каждом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер...» «Вас в «гастрономе» вызывают в отдел заказов и арестовывают там; вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради, вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счетчика; вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодорожный кондуктор, шофер такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор – все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостоверение».

«Всеобщая невиновность, – пишет Солженицын, – порождает и всеобщее бедствие». Это как раз подтверждает формулу Берт Брехта. «Не каждому дано, – пишет Солженицын, – как Ване Левитскому, уже в четырнадцать лет понимать: «Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а выросту я – и меня посадят». (Его посадили двадцати трех лет)». «...И в Москве начинается планомерная проскребка квартала за кварталом. Повсюду кто-то должен быть взят. Лозунг: «Мы так трахнем кулаком по столу, что мир содрогнется от ужаса!»... Типичный пример из этого потока: несколько десятков молодых людей сходятся на какие-то музыкальные вечера, не согласованные с ГПУ. Они слушают музыку, а потом пьют чай. Деньги на этот чай они само-

вольно собирают в складчину. Совершенно ясно, что музыка – прикрытие их контрреволюционных настроений, а деньги собираются вовсе не на чай, а на помощь погибающей мировой буржуазии. Их арестовывают ВСЕХ, дают от трех до десяти лет (Анне Скрипниковой – пять), а несознавшихся зачинщиков (Иван Николаевич Варенцов и другие) – РАССТРЕЛИВАЮТ!»... «Или в том же году, где-то в Париже собираются лицеисты-эмигранты отметить традиционный пушкинский лицейский праздник. Об этом напечатано в газетах. Ясно, что это – затея смертельно раненного империализма. И вот арестовываются ВСЕ лицеисты, оставшиеся в СССР, а заодно и – „правоведы"»... «Удобное мировоззрение рождает и удобный юридический термин: *социальная профилактика.* Он введен, он принят <...> Один из начальников Беломорстроя Лазарь Коган так и будет скоро говорить: „Я верю, что лично вы ни в чем не виноваты. Но, образованный человек, вы же должны понимать, что проводилась широкая социальная профилактика"» ... «Затаились и подлежали вылавливанию также и все прежние государственные чиновники <...> Некто Мова из простой любви к порядку хранил у себя список всех губернских юридических работников. В 1925 году случайно это у него обнаружили – всех взяли – и всех расстреляли...»... «Весной 1922 года Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, только что переназванная в ГПУ, решила вмешаться в церковные дела. Надо было произвести и «церковную революцию» – сменить руководство и поставить такое, которое лишь одно ухо наставляло бы к небу, а другое к Лубянке <...> Для этого арестован патриарх Тихон и проведены два громких процесса с расстрелами: в Москве – распространителей патриаршего воззвания, в Петрограде – митрополита Вениамина...»

Говоря о первых сфабрикованных в ГПУ публичных процессах – Промпартии, Трудовой крестьянской партии, Союз-

ного бюро меньшевиков – Солженицын пишет: «Самые аляповатые детективы и оперы с разбойниками серьезно осуществлялись в объеме великого государства».

«Так пузырились и хлестали потоки – но через всех перекатился и хлынул в 1929–30 годах многомиллионный поток *раскулаченных*. Он был непомерно велик, и не вместила б его даже развитая сеть следственных тюрем, но он миновал ее, он сразу шел на пересылки, в этапы, в страну ГУЛАГ <…> Этот поток (этот океан!) выпирал за пределы всего, что может позволить себе тюремно-судебная система даже огромного государства. Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России <...> Озверев, потеряв всякое представление о «человечестве», – лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества, голыми, выбрасывать в северное безлюдье, в тундру и в тайгу <...> Поток 29-го – 30-го годов, протолкнувший в тундру миллиончиков пятнадцать (а как бы не поболе). Но мужики народ бессловесный, ни жалоб ни написали, ни мемуаров <...> Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нем почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления тяжелее».

«...Поток этот отличался от всех предыдущих еще и тем, что здесь не цацкались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьей. Напротив, здесь сразу выжигали только гнездами, брали только семьями и ревниво следили, чтобы никто из детей, даже четырнадцати, десяти или шести лет, не отбился в сторону: все няподскреб должны были идти в одно место, на одно общее уничтожение. (Это был ПЕРВЫЙ такой опыт, во всяком случае в Новой истории. Его потом повторил Гитлер с евреями и опять же Сталин с неверными или подозреваемыми нациями)».

Страшно вспомнить, что на Западе в социалистических кругах II Интернационала этот всероссийский крестьянский погром в «15 миллиончиков» человеческих жизней вызвал у некоторых социалистов «научный интерес». О нем писали как о «новом» социальном эксперименте – коллективизации деревни. К нашему стыду, эти ноты раздавались и в русской зарубежной социалистической печати. Впрочем, это вполне увязывалось с «доктриной», с тем, что Маркс и Энгельс всегда говорили об «исконном идиотизме деревни». Но когда Гитлер начал уничтожать приверженцев II Интернационала, никто на Западе не писал, конечно, что это «интересный социальный эксперимент». Запад глубоко виноват перед Россией своим молчанием перед ужасами террора шигалевской шайки.

В конце главы «История нашей канализации» Солженицын спрашивает: «Объединить ли все теперь и объяснить, что сажали *безвинных*? Но мы упустили сказать, – говорит он, – что само понятие *вины* отменено пролетарской революцией, а в начале 30-х годов объявлено *правым оппортунизмом*. Так что мы уже не можем спекулировать на этих отсталых понятиях: вина и невиновность».

Солженицын прав: в ленинском государстве пытками понятия вины и невиновности стерты, им нет места, если на «пыточном следствии» арестованному, – как пишет Солженицын, – «будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые органы, а в виде самого легкого – пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо».

1918 году, защищая свой террор, Троцкий писал: «Трудно обучить массы хорошим манерам. Они действуют поленом,

камнем, огнем, веревкой». Через некоторое время Троцкий на себе самом испытал «дурные манеры» масс, правда, не полено, не камень, не огонь, не веревку, а острый ледоруб, которым сталинский голубой кант Рамон Меркадер размозжил голову этому террористу. «Злом злых погублю».

На XXII съезде Хрущев разорялся о «недопустимых методах физического воздействия». Но это, конечно, был только тактический и безошибочно сильный «ход конем» в борьбе Хрущева за власть. Пытки были при Ленине, были при Сталине. И эпигоны их не отменили. Если отменили «либерально», для Запада – введение раскаленного шомпола в анальное отверстие, – то создали новые страшные пытки в психбольницах, разрушая психически человека впрыскиваниями соответственных химикалий.

От методов физического и психического насилья над человеком, от его ломки и сламывания ленинская шайка отказаться никогда не могла и не может. Она труслива и (не без оснований) предполагает, что такой отказ приведет к «индонезийскому финалу». «Архипелаг ГУЛАГ» – это героическая и титаническая попытка борьбы с шайкой путем раскрытия всех ее преступлений против человека. «Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек – а как же с двумястами миллионами?», – пишет Солженицын. И добавляет: «Смутно чуется мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам».

Томас Витни

Томас Витни, большой друг «Нового журнала», помогал и помогает журналу уже многие десятилетия. Не было бы Т. Витни, не было бы «Нового журнала».

Витни собрал исключительную русскую коллекцию. Некоторые, работавшие в его библиотеке, архиве и музее, есте-

ственно, полагали, что его коллекция обязана тому, что Т. Витни с 1944 по 1953 год прожил в СССР, работая там как советник по экономическим вопросам при американском посольстве в Москве. Но это заблуждение. Основная масса материалов коллекции приобретена им на аукционах и у частных лиц – в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и других центрах Запада.

В коллекции Т. Витни множество русских книг, картин и рисунков русских художников, скульптура, периодические зарубежные и советские издания, частные литературные и политические архивы и многое другое, связанное с культурой России. Все материалы коллекции, главным образом, связаны с XX веком русской культуры. И собиратель старался представить этот период русского творчества с возможной полнотой.

Очень хорошо в коллекции представлена живопись русского авангарда. Но есть ценные работы и русских художников «традиционалистов», как, например, И. Репина. В кн. 141 «Нового журнала» я поместил статью художника Сергея Голлербаха о собрании картин этой коллекции. Многие эти картины, если б они были в России, украсили б собой русские музеи. Кроме живописи и скульптуры в музее хорошо представлены русские писатели, как эмигранты, так и писатели, никогда не покидавшие Россию и СССР. Надо сказать, что вряд ли где-нибудь на Западе есть второе такое частное собрание материалов по русской культуре. Разве в Париже, в коллекции такого же друга русской культуры, профессора Рене Герра.

В библиотеке Томаса Витни больше десяти тысяч книг, и все они каталогизированы. Среди этих книг есть специальные подборы книг по русской истории, по истории компартии СССР, по русской внешней политике, по русской экономике. Но все же наиболее полно представлена художественная литература. Много книг по истории литературы, по истории

искусства, театра, кино и музыки. Русская эмигрантская литература представлена чрезвычайно полно. Есть очень редкие книги. Множество книг с автографами. Ценны в библиотеке редкие подборки брошюр. Здесь брошюры политической эмиграции XIX и XX веков (особенно богато представлена партия социалистов-революционеров). Ценна подборка брошюр и журналов по русскому авангарду.

Дореволюционная периодическая печать представлена комплектами журналов – «Мир искусства», «Искусство», «Старые годы», «Золотое руно», «Аполлон». Имеются полные комплекты таких зарубежных журналов, как «Современные записки», «Путь», «Новый журнал», «Русские записки», много книг журнала «Воля России». Есть комплекты советских и зарубежных газет начиная с 1960 года. Таких, как «Правда», «Известия», «Литературная газета», из зарубежных – «Новое русское слово» и «Русская мысль». Очень полно представлена русская зарубежная периодика за двадцатые, тридцатые и сороковые годы. Сюда вошла замечательная коллекция покойного Конст. Солнцева, собиравшего ее долгие годы.

Хранится в библиотеке Т. Витни архив А. М. Ремизова. В нем, между прочим, есть дневник А. М., который он вел день за днем с 1922 по 1948 год. В архиве Ремизова много ценных писем русских писателей, адресованных как ему, так и его жене С. П. Довгелло. Среди них письма Б. Пильняка, К. Федина, Ф. Гладкова, И. Эренбурга, А. Аросева, Иванова-Разумника. Среди других личных архивов в библиотеке Т. Витни хранятся архивы профессора А. Анцыферова, К. Солнцева, В. Диксона, К. Парчевского, В. Зензинова, Р. Гуля. Хранится часть архива Союза русских писателей и журналистов в Париже. Есть политический архив К. А. Столяровой из Женевы, в котором – письма дореволюционных лет Ю. Марто-

ва и Ф. Дана, одно или два письма Троцкого, есть и одно письмо, по всей вероятности написанное Лениным.

В музыкальном отделе коллекции много ценных пластинок и записей русской музыки. Есть русские палехские вещи, есть старинные серебряные бокалы и прочее.

Ценнейшей частью русского собрания Т. Витни является, конечно, его коллекция живописи. Тут – иконы с пятнадцатого до девятнадцатого века. И много работ известных русских художников двадцатого столетия: Ларионов, Гончарова, Розанова, Попова, Клюн, Малевич, Филонов, Габо, Валентин Серов, Репин, Бакст, Петров-Водкин, Татлин, Родченко, Архипов, Добужинский, Кандинский, Малявин и много других. Из современных художников представлены своими работами Эрнст Неизвестный, Сергей Голлербах, А. фон Шлиппе, Анатолий Зверев, Вейсберг, Эллинсон, Галанин, Межберг и другие.

Томас Витни, собственник этой замечательной коллекции, рассматривает свое собрание как памятник русской интеллигенции двадцатого века, которая, как он говорит, «так много страдала и так много дала миру».

Джордж Кеннан

Джордж Кеннан – внучатый племянник другого Джорджа Кеннана, известная книга которого «Сибирь и ссылка» (1891), переведенная на многие языки, получила в свое время международное признание. Джордж Кеннан родился 16 февраля 1904 года в штате Висконсин. По отцу предки его были выходцами из Ирландии (начало XVIII века), мать – норвежка.

Мы не знаем, что было толчком к глубокому интересу и любви Джорджа Кеннана к России. Может быть – путешествие туда его предка, автора «Сибири и ссылки»? Во всяком случае вся политическая, общественная и писательская жизнь Джорджа Кеннана-младшего оказалась связана с Россией и ее культурой. Об этой «любовной связи» сам

Дж. Кеннан в своих мемуарах говорит так: «Вот уже больше двух десятилетий, как Россия у меня в крови. Есть у меня какое-то таинственное к ней влечение, которого я не могу объяснить даже самому себе».

Дж. Кеннан окончил Принстонский университет и Школу современных восточных языков в Париже, где изучал русскую историю и русский язык у знаменитого руссоведа профессора Поля Буайе. Позже Дж. Кеннан посещал Восточноевропейский семинар Берлинского университета, где курс русской истории преподавали профессор Гётч и профессор Штелин. Свою дипломатическую службу Кеннан начал в 1927 году в двадцатитрехлетнем возрасте. Сначала он был американским вице-консулом в Таллине, потом секретарем американской дипломатической миссии в Риге. А когда в 1933 году были установлены дипломатические отношения между США и СССР, Дж. Кеннан был назначен в Москву, став одним из ближайших помощников американского посла Вильяма Буллита.

Служба в американском посольстве в Москве – до, во время и после Второй мировой войны – дала Дж. Кеннану, превосходно владеющему русским языком, возможность непосредственно видеть советскую действительность. В 1947 году Кеннан был назначен на ответственный пост председателя образованного при американском Министерстве иностранных дел Комитета по планированию внешней политики США. А с 1949 года занимал должность советника при Государственном секретаре (министре иностранных дел). В 1951 году президент Трумэн назначил Кеннана американским послом в Москве. Но – человек большой духовной культуры и в то же время зоркий дипломат, прекрасно знавший русский язык, Джордж Кеннан на этом посту довольно скоро вызвал неудовольствие советского руководства и был объявлен им «персона нон грата». В момент этого «акта» Дж. Кеннан был в Берлине. Следуя своей «неандертальской»

дипломатии, советское руководство даже не позволило ему приехать в Москву за его семьей. В 1961 году Дж. Кеннан занимал пост американского посла в Югославии, на котором оставался недолго.

Последующие годы Джордж Кеннан жил в Принстоне, посвятив себя научной, литературной и общественной работе. Здесь он написал двухтомные «Мемуары» (1967 и 1972) и несколько капитальных трудов по истории взаимоотношений США и СССР. За эти годы Кеннан занимал ряд ответственных должностей, так или иначе связанных с Россией. Он был председателем Фонда свободной России, консультантом при Фордовском фонде, по его инициативе было создано русское «Издательство имени Чехова», выпустившее множество ценных русских книг. Не могу не упомянуть, что именно Джордж Кеннан очень помог бежавшей на Запад Светлане Аллилуевой. До сего дня Кеннан состоит профессором Принстонского института научных исследований.

С радостью (и даже с гордостью) могу сказать твердо и уверенно, что Джордж Кеннан является большим другом «Нового журнала». В кн. 115-й мы напечатали его статью о знаменитой книге А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». А сейчас мне хочется привести хотя бы несколько цитат из статьи Дж. Кеннана «Америка и русское будущее», появившейся в 1951 году в кн. 26 «Нового журнала». Несмотря почти на двадцатипятилетнюю давность этой статьи, мысли Дж. Кеннана, высказанные в ней (по-моему) и современны и, может быть, даже злободневны.

Кеннан пишет: «Сила того негодования, с которым американцы отвергают воззрения и способы действий нынешних кремлевских правителей, уже сама по себе ясно указывает на их горячее желание видеть в России появление других воззрений и другого порядка, резко отличного от того, с чем нам приходится иметь дело в настоящее время. Позволительно, однако, задать вопрос: есть ли в наших умах отчетливое пред-

ставление о том, в какие формы должно вылиться это новое русское мировоззрение, каким должен быть новый русский порядок и как мы, американцы, можем содействовать их установлению?..»

«Признавая, что форма правления является внутренним делом России и допуская, что она может резко отличаться от нашей, мы одновременно имеем право ожидать, чтобы выполнение функций государственной власти не переходило ясно начертанной границы, за которой начинается тоталитаризм. В частности, мы имеем право рассчитывать, что любой режим, который будет претендовать на преимущество перед теперешним режимом, воздержится от применения рабского труда как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Такое требование имеет свое основание: основание еще более веское, чем то моральное потрясение, которое мы испытываем при виде отталкивающих подробностей этого рода угнетения. Когда режим становится на путь порабощения своих собственных трудящихся, он вынужден поддерживать такой огромный аппарат принуждения, что появление железного занавеса следует почти автоматически. Никакая правящая группа не захочет признаться в том, что она может править своим народом, только обращаясь с ним как с преступниками. Отсюда возникает тенденция оправдывать политику угнетения внутри страны ссылками на опасности, грозящие ей со стороны порочного внешнего мира. При таких условиях мир должен изображаться как в высшей мере порочный – вплоть до карикатурных пределов. Менее сильные средства здесь помочь не могут...»

«...Нигде на земле огонек веры в человеческое достоинство и милосердие не мерцал так неровно, сопротивляясь налетавшим на него порывам ветра. Но этот огонек никогда не угасал; не угас он и теперь даже в самой толще России; и тот, кто изучит многовековую историю борения русского духа, не

может не склониться с восхищением перед русским народом, пронесшим этот огонек через все страдания и жертвы.

История русской культуры свидетельствует о том, что эта борьба имеет значение, выходящее далеко за пределы коренной русской территории; она является частью, и притом исключительно важной частью, общего культурного прогресса человечества. Чтобы убедиться в этом, стоит только посмотреть на уроженцев России и людей русского происхождения, проживающих в нашей среде, – инженеров, ученых, писателей, художников. Было бы поистине трагично, если бы под влиянием возмущения советской идеологией и советской политикой мы превратились бы в соучастников советского деспотизма, забыв о величии русского народа, потеряв веру в его гений, в его способность творить добро и сделавшись врагами его национальных чаяний. Жизненное значение всего этого становится еще более ясным при мысли о том, что мы, люди западного мира, верящие в принципы свободы, не можем одержать победу в борьбе с разрушительными силами советской власти, не имея на своей стороне русский народ в качестве добровольного союзника...»

Я думаю, что даже эти цитаты из статьи Джорджа Кеннана «Америка и русское будущее» отчетливо выражают его отношение (и говорят о его любви) к России и русскому народу. А также говорят и о глубоком понимании им – вечной России.

Д. Н. Шуб

Умирал Д. Н. Шуб в полном сознании и перед смертью сказал, что хотел бы, чтобы на поминальном собрании по-русски о нем сказал я...

Давид Натанович был не только известным публицистом, писавшим на еврейском языке, он также был и русским публицистом, много писавшим с молодых лет по-русски. Он

любил Россию, русскую интеллигенцию, русскую общественную мысль и русскую литературу.

Родился Д. Н. в местечке Поставы Виленской губернии, учился в Вильне и там смолоду примкнул к революционному движению, став социал-демократом (меньшевиком). В 1903 году он уехал за границу, жил в Лондоне, Париже, Женеве. Встречался за границей почти со всеми видными тогда русскими эмигрантами социал-демократами – Плехановым, Лениным. Потресовым, Засулич, Дейчем, Мартовым и другими. В 1905 году Д. Н. вернулся в Россию и участвовал в первой русской революции, оставаясь социал-демократом (меньшевиком). В эти годы он был несколько раз арестован, сидел в тюрьме и, наконец, был сослан в Сибирь, откуда в 1907 году бежал за границу и в начале 1908 года, впервые, приехал в Америку.

Но будучи социал-демократом (меньшевиком), Д. Н. всегда был на самом правом фланге меньшевизма. Почему? Да потому, что для Д. Н. не было более высокой общественной ценности, чем человеческая личность и ее свобода. Д. Н. был подлинный гуманист в самом глубоком смысле этого слова. Именно поэтому покойный отталкивался с естественным отвращением от таких политических персонажей, как Ленин, Троцкий, Сталин, из которых двух первых он лично знал, а о Ленине написал едва ли не лучшую по объективности книгу, которая дала Давиду Натановичу международную известность. Дала – по справедливости. Жаль только, что эта книга Д. Н. Шуба о Ленине, переведенная на двадцать европейских и азиатских языков, не вышла на русском языке. Об этой книге Д. Н. профессор Михаил Карпович в «Новом журнале» писал так: «Главное достоинство книги Д. Н. Шуба заключается в том, что она с непререкаемой убедительностью показывает роковую необходимость развития ленинской политической стратегии и тактики, всего его революционно-

го замысла – в ту систему тоталитарной террористической диктатуры, которая получила такое законченное выражение в руках его ученика и преемника – Сталина».

Этот примат свободы и человечности в общем мировоззрении Давида Натановича делал его политическим другом не только правых социалистов, таких, как Бурцев, Кускова, Керенский, но и русских либералов, как Милюков, Карпович и другие. Будучи непримиримым ко всякому насилью, ко всякой диктатуре над человеком, Д. Н. определял себя как демократического социалиста западно-европейского типа. И не было ничего удивительного в том, что еще в годы Первой мировой войны он отошел от марксизма и от официального меньшевизма. Д. Н. любил жизнь, любил людей и был чужд всякого доктринерства.

И когда левые социалисты упрекали его в отходе от марксистской ортодоксии, он на эти упреки так ответил в своем письме Льву Дейчу, пошедшему на сотрудничество с большевиками. Это письмо Д. Н. опубликовано в его воспоминаниях в «Новом журнале». Он писал: «Да, Вы правы, мы все сильно изменились за эти годы. Тяжелый урок войны и большевизма не прошел даром для большинства наших товарищей, оставшихся за границей. Мы научились смотреть на действительность более трезвыми глазами и оценивать события не с точки зрения предвзятых формул и застывших догм, а исключительно с точки зрения исторического опыта... При всей Вашей глубокой ненависти к «чекистских дел мастерам», которыми для Вас являются все эти Троцкие, Зиновьевы, Бухарины и Дзержинские, Вы все же продолжаете считать большевиков социалистами, хотя и плохими, не совсем чистыми на руку. Вот в этом – корень наших разногласий...»

Большевиков Д. Н. социалистами не считал. Он считал их мошенниками и преступниками. И в течение всех своих долгих лет боролся против них своим оружием – пером публи-

циста – ив еврейской и в русской печати, и в Америке и в Западной Европе. За последние пятьдесят лет Д. Н. был постоянным сотрудником почти всех русских зарубежных демократических изданий – «Заря», «Дни», «Новый журнал», «За свободу», «Новое русское слово», «Русская мысль», «Мосты» и другие. В «Новом журнале» Давид Натанович сотрудничал более чем тридцать лет, с самого основания этого журнала.

Последней книгой Д. Н. на русском языке был сборник статей – «Политические деятели России с 1850-х до 1920-х гг.» Эта книга заслуженно имела успех у русских читателей, ибо Д. Н., как мало кто, был большим знатоком истории освободительного и революционного движения в России. Его скрипты на эти темы в течение долгих лет передавала радиостанция «Свобода».

Как человек Д. Н. был исключительно добрым и отзывчивым. Конечно, у каждого из нас всегда есть какие-то «враги». Но у Д. Н. *личных* врагов, я думаю, не было. Я знаю, что очень часто он оказывал помощь даже тем, кому, может быть, не симпатизировал. Но по его философии – всегда лучше было сделать хорошее, чем плохое.

Юлий Марголин. Полет в Израиль

С Юлием нас связывала давняя дружба. Полувековая. Это – не пустое. В нашей жизни таких человеческих отношений у всех нас немного. А они – как я всегда думал и думаю, – самое ценное, что у нас есть. Познакомился я с Юлием в Берлине в начале 20-х годов у его будущей жены Евы Ефимовны Спектор, которую все друзья называли просто Вуся за ее на редкость отзывчивый, добрый характер, за всегдашнее старанье кому-то помогать, кого-то опекать, не только друзей, но даже просто всяких встречных-поперечных. Так вот, в скром-

ной квартире жили две закадычные подруги, Вуся и Тася, у них-то и была вечно нетолченая труба друзей, очень молодых, начинающих литераторов – поэты Георгий Венус, Анна Присманова, Вадим Андреев и многие другие. У них я и встретил впервые рыжего, экспансивного, порывистого студента-философа – Юлия Марголина, который тоже тут вечно пил чай, обедал, ужинал и, конечно, утопал в разговорах о литературе, поэзии, политике и о много другом.

Тогда (и на всю жизнь!) характерно в Юлии было то, что он был человеком совершенно без всяких масок: никакой игры расчета в нем не было (не говорю уж о какой-нибудь хитрости, что в приложении к нему было бы просто смешно). В Юлии жила полная душевная открытость, подкупающая веселость и некая незащищенная детскость. И ни малейшего желания петь с кем-то «в унисон». Уже тогда он всегда был «сам по себе».

В те годы Юлий окончил берлинский университет с званием доктора философии. И вскоре женился на Вусе. Тогда же он начал писать. Мы оба с ним сотрудничали в сменовеховской газете «Накануне», впав в заблуждение, что нэп приведет Советскую Россию к какому-то нормальному строю «трудовой демократии», о которой искренне писали публицисты сменовеховства – Устрялов, Ключников, Лукьянов. За эту иллюзию о начавшейся «эрозии диктатуры» все они, по возвращении на родину, заплатили жизнью. Устрялов написал в те годы блестящую брошюру «Россия. У окна вагона». Чекисты под видом «грабителей» удушили его шнуром в сибирском экспрессе в купе вагона. Так ответила ленинско-сталинская страна интеллигенту Устрялову, замечтавшемуся «у окна вагона», глядя на «эти бедные селенья, эту скудную природу». Ответила бесшумно, не мокро. Лукьянова же чекисты забили насмерть на допросе в Ухтпечлаге.

Заплатил своей жизнью за возвращение на родину и наш общий с Юлием друг, талантливый поэт Георгий Венус, бывший белый боевой офицер, дроздовец, человек чистейшей души. Через два-три года по приезде в Ленинград он погиб где-то в Сызранской пересыльной тюрьме. После него осталась жена Тася (подруга Вуси) и малолетний сын. Но органы власти, конечно, о них позаботились: их сослали куда-то в Сибирь на поселение, «в страшную глушь, за Байкалом». Все это были встречи сменовеховцев с «трудовой демократией».

Вскоре после свадьбы Юлий и Вуся уехали в Польшу. Была переписка, но неровная. В мире наступали страшные времена. В Германии власть взял Гитлер. И, отсидев в гитлеровском кацете Ораниенбург (Заксенхаузен) что-то около месяца, я с женой уехал во Францию. Когда в Париже я вылез из поезда на Гар дю Нор, в кармане у меня было около пяти франков (да и то «дарственных»).

О Юлии я знал, что он, живя в Польше, стал страстным сионистом, поклонником Жаботинского. А потом, что они навсегда уехали в Палестину, «домой».

Наступила война. Всякая связь с Юлием порвалась. Но я был в полной уверенности, что он и Вуся так и живут «у себя» в Палестине. И вот после пяти лет, прожитых в качестве сельскохозяйственных батраков на юге Франции, когда мы с женой ходили только в деревянных сабо, мы вернулись в первобытное состояние – в Париж: война (все-таки) кончилась. И тут в Париже года через два мне попалась в «Социалистическом вестнике» откуда-то перепечатанное потрясающее письмо «доктора Марголина» о советских концлагерях, откуда он только что вырвался.

Конечно, я не мог себе представить, что «доктор Марголин», проведший пять лет в советских концлагерях, это и есть именно Юлий. Во-первых, меня смущал «доктор». Докторами по-русски в просторечии назывались только врачи, «док-

тора медицины». Потом: почему же – СССР? Как же Юлий мог туда попасть, когда он жил в Палестине? Но гадать мне пришлось недолго. Вскоре из Израиля я получил от Юлия рукопись его замечательной книги «Путешествие в страну зека». Из нее я узнал все то страшное, что пережил Юлий в Дантовом «Аду» советских исправительно-трудовых лагерей. Кстати, за двадцать лет до Солженицына именно Юлий в книге «Путешествие в страну зека» писал о концлагерях как о Дантовом «Аде»: «На одной остановке мы увидели старого узбека с белой бородой и монгольским высохшим лицом. «Дедушка! – начали ему кричать с нашей платформы, – как этот город называется?!» Узбек повернул лицо, посмотрел потухшими глазами. «Какой тебе город? – сказал он, – ты разе город приехал? Ты лагерь приехал!» Тут я вспомнил начало Дантова «Ада»: „В средине нашей жизненной дороги / Объятый сном, я в темный лес вступил“».

Книга Юлия «Путешествие в страну зека» до сих пор остается одной из лучших о коммунистической каторге. Она сильна не только фактами чудовищности «марксистского ада», но и тем, как написана. В смысле литературном книга написана блестяще. А кроме того (что, вероятно, важнее всего) книга пронизана прекрасным человечным мировоззрением Юлия, для которого не было в жизни ничего, дороже человека и его свободы.

В Париже я тогда издавал журнал «Народная правда» и сразу же напечатал в нем отрывок из книги Юлия с своим предисловием. Этот отрывок кончался «Заключением» Юлия, которое и сейчас, через двадцать шесть лет, звучит столь же современно и своевременно, как и в годы сталинизма. В своем заключении Юлий писал: «Ежедневно на рассвете – летом в пятом часу утра, а зимой в шесть – гудит сигнал подъема на работу в тысячах советских лагерей, раскиданных на необъятном пространстве от Ледовитого океана до китай-

ской границы, от Балтийского моря до Тихого океана. Дрожь проходит по громаде человеческих тел. В эту минуту просыпаются близкие и дорогие мне люди, которых я, вероятно, никогда уже не увижу больше. Поднимаются миллионы людей, оторванных от мира так, как если бы они жили на другой планете.

Меня уже давно нет с ними. Я живу в другом мире. Я живу в прекрасном городе на берегу Средиземного моря. Я могу спать поздно, меня не поверяют утром и вечером, и на столе моем довольно пищи. Но каждое утро в пять часов я открываю глаза и переживаю мгновение испуга. Это привычка пяти лагерных лет. Каждое утро звучит в моих ушах сигнал с того света:

– ПОДЪЕМ!»

В Париже мы с Юлием так и не встретились. Он приехал туда, чтобы выступить на процессе Руссе, как свидетель о советской каторге. А нас с женой судьба привела в Нью-Йорк. Но письменная связь продолжалась. Я был среди тех, кто старались, чтоб «Путешествие в страну зека» было переведено на главные европейские языки и опубликовано, чтобы люди Запада наконец услышали правдивые слова о коммунистических лагерях и обо всем зверье советского режима. Блестящая, свободолюбивая книга Юлия просилась быть прочтенной на Западе. Но, увы, голос Юлия, разоблачавшего советские лагеря, везде тогда оказался некстати.

По-французски друзья кое-как устроили издание книги, но перевод был настолько небрежен и плох, что книга не имела успеха. К тому же западный читатель вообще не хотел (и не хочет) читать такие «страшные» книги (был бы это Хичкок – другое дело!). Но тогда ведь во Франции Арагон и всякие иные просоветские достохвалы во все легкие славили Сталина (получая за это, конечно, и гонорары!). И вдруг книга о *сталинских* лагерях?

В Америке за дело издания книги Юлия взялся такой, казалось бы, опытный и с большими связями человек, как покойный Рафаил А. Абрамович. Но и он с горечью разводил руками и говорил мне: «Р. Б., поверьте, как ни старался – ничего поделать не могу, издатели не хотят и слышать о советских концлагерях; это «не найдет читателя», говорят одни, а другие просто настроены пробольшевицки».

В Германии личными стараниями Веры А. Пирожковой, на свой страх и риск переведшей книгу на немецкий язык, удалось издание устроить (не без помощи Федора А. Степуна). Но заслуженного успеха она и тут не имела. Даже в Западной Германии, под боком у сталинизма, люди не хотели (и не хотят) знать о «страшном». Будто это «страшное» никогда к ним не придет.

Так оборвался голос Юлия, одного из первых после войны действительно приподнявших железный занавес над сталинскими концлагерями. Даже на иврите его книгу не издали. По-русски «Путешествие в страну зека» вышло в «Издательстве имени Чехова» (к сожалению, с сокращениями редакции). Зато по-русски книга имела большой успех и давно исчезла с книжного рынка, став, как говорят библиофилы, «редка».

Все-таки мы с Юлием встретились. Встретились в Нью-Йорке. Через много-много лет со времен нашей берлинской молодости. Приехав в Нью-Йорк, он сразу же пришел к нам. Когда-то ярко-рыжий, сейчас он был седой как лунь (поседел сразу же в лагерях). Там же потерял зубы. Но темперамент остался прежний, неудержимый. И то же бело-розовое всегда улыбающееся, живое лицо. Лагеря его многому научили – еще большей любви к жизни, к людям, ко всему хорошему в них. И дали еще высокий дар – дар непримиримейшей, святой ненависти (именно *ненависти!)* к насилию над человеком и его жизнью. Эта его ненависть совпадала с моей и нас еще

больше сблизила. Мы *их* ненавидели и не искали для них «смягчающих вину обстоятельств».

Много о чем мы говорили с Юлием, ездя по Нью-Йорку. Но очень часто среди какого-нибудь самого пустого, бытового разговора он вдруг задумывался, как бы «отсутствуя», и когда я спрашивал его – «Ты что, Юлий?» – оказывалось, что он что-то вдруг вспомнил еще из концлагерной жизни, о чем хотел рассказать. Я понял тогда, что пять лет ада для него даром не прошли, что они «живут в нем» и тут. На воле, в свободе, в комфорте, в достатке он все еще слышит: ПОДЪЕМ! И позднее, в Израиле, когда я приехал к ним, Вуся мне говорила, что концлагерь для Юлия даром не прошел, что он часто продолжать «жить в нем» и часто его страшные воспоминания вырываются наружу. Из Нью-Йорка Юлий улетел в Сан-Франциско к сыну Ефроиму, а на обратном пути – в Нью-Йорке – мы с ним обдумывали и обсуждали мой приезд к ним в Тель-Авив.

Весной 1963 года я полетел в Израиль. Летел я одиннадцать часов. На аэродроме Лод меня встретил радостный Юлий. Он так меня торопил, так тащил к такси скорее ехать к ним: «Все гостиницы в Тель-Авиве забиты, сейчас Седер – еврейская Пасха. Поедем, поедем, Вуся тебя ждет, ты будешь жить у нас!» – твердил Юлий, не слушая, что я старался объяснить всю мою «катастрофу»: не прилетел со мной чемодан, говорят, остался в Афинах, его надо разыскать.

– Ах, какая чепуха! Какие тут чемоданы! – кричал смеющийся Юлий. – Это даже очень хорошо, что чемодан пропал, по крайней мере, какое-то приключение, а не рутина...

Так и пришлось мне, бросив розыски чемодана, подчиниться насилию Юлия и сесть с ним в такси, чтобы ехать к ним на Шейкин-стрит, 16.

На другой день я позвонил моему другу Рувену Михаэлу в киббуц Афиким, и тот стал меня уговаривать: «Приезжай

обязательно на Седер к нам, встречать Седер в киббуце гораздо интереснее, чем у Марголиных в Тель-Авиве». Я этот вопрос поставил на голосование перед Марголиными. Они сказали, что как им ни жалко отпускать меня, но, конечно, в киббуце будет интереснее. Наутро Юлий посадил меня в автобус. Это было что-то невероятное: из Тель-Авива уезжало больше миллиона человек.

Чудная дорога, апельсиновые рощи, эвкалипты, кипарисы, стада овец, коз... Я стал прислушиваться к тому, что говорят окружающие. И все никак не мог понять, на каком языке говорили сидевшие впереди меня две супружеские пары. Обратился к ним по-английски. Нет, по-английски они не говорят. Обратился по-немецки. Один говорил, очень хорошо. Выяснилось, что они из Польши, тоже едут в киббуц. Человек, говоривший по-немецки, спросил меня, американец ли я. – «Откуда?» – «Из Нью-Йорка». – «Давно ли живете в Нью-Йорке?». В конце концов я сказал, что я – русский. Тут раздался невероятный крик: «А! Русский человек!» и дальше разговор пошел по-русски.

Тут я должен сделать отступление. Сколько у меня ни было встреч с евреями в Израиле, когда узнавали, что я русский, они всегда приходили в какое-то чрезвычайно приподнятое настроение. На эту тему – о любви еврейской души к русской и наоборот – очень интересно писали многие русские писатели, в особенности В. Розанов. Мой приятель в киббуце, немецкий еврей, говорил мне: «Скажи, пожалуйста, почему это так: когда евреи говорят о Германии, то никакого восторга нет. Когда евреи говорят о Франции – то же самое. Но только стоит нашим евреям заговорить о России и о русской литературе, они приходят всегда в какой-то невероятнейший восторг». Позже у меня был очень интересный разговор на эту тему с русскими евреями, составлявшими основную группу киббуца Афиким.

Киббуц Афиким расположен в Галилее, у Генисаретского (Тивериадского) озера. Хороший парк, эвкалипты, кипарисы. Похоже на университетский кампус в Америке. Двухэтажные дома американского типа.

Вечером я был со своими знакомыми на Седере. Полторы тысячи людей в громадном ресторане-столовой. Мужчины надели белые рубашки, женщины в белых платьях. Перед ужином было пение с музыкой. Мотивы великолепные, заунывные, потом отчаянные, потом веселые.

На другой день, в первый день Пасхи, весь киббуц выехал в поле, на свою пшеницу; на устроенном под открытым небом помосте танцевали, играл оркестр, а потом косцы жали первый сноп пшеницы.

Мне показали киббуц и рассказали его краткую историю. Киббуц Афиким был основан в 1924 году выходцами из России, молодыми людьми семнадцати-девятнадцати лет. Сначала они работали как сельскохозяйственные батраки, а потом организовались в артель, в киббуц. Теперь это один из самых богатых киббуцев в Израиле. Они продают апельсины и бананы на экспорт. Сеют пшеницу и ячмень. У них куры, несколько тысяч белых легхорнов, большие стада коров; все это оборудовано великолепно, так же, как в Америке. Построили фабрику, которая делает плайвуд, прессованную фанеру. Древесину привозят из Ганы и Гвинеи. Фанеру экспортируют в Англию, в Голландию, в другие страны.

Весь киббуц состоит из шестисот хаверов-товарищей, членов. С ними живут и старые родители.

Киббуц был расположен – тогда – в пяти километрах от границы. Первые поселенцы работали поистине героически и мерли как мухи. Места эти болотистые. Свирепствовала малярия. Была эпидемия тифа. Первая жена моего приятеля умерла в этом киббуце во время эпидемии. Его двадцатиче-

тырехлетний сын был убит, когда он эскортировал израильский автобус.

Я расспрашивал о внутренней жизни киббуца, о том, как киббуц устроен. После долгих разговоров я выяснил, что в киббуце жить бы никак не смог. Но вот для моего покойного брата Сережи, человека с невероятно коллективистическими тенденциями, здесь было бы самое место.

В год каждый киббуцник получал на руки около 30 долларов. Питались в ресторане-столовой киббуца; можно есть там, можно взять к себе домой. Дети весь день находятся в детском саду, к родителям они приходят в четыре-пять часов вечера, когда родители возвращаются с работы. Они остаются у родителей до восьми часов вечера, и потом их опять отводят в киндергартен.

Я был в этом киндергартене – все чрезвычайно благоустроенно. У детей есть специальная комната, где они рисуют, занимаются лепкой. Есть специальный скотный двор, или, если хотите, зверинец – с лошадьми, обезьянами, птицами, собаками. Но, как я заметил жене моего приятеля, с такими киндергартенами знаменитые «идише мамы», которым еврейство, по-моему, очень многим обязано, отойдут в прошлое, ибо дети все-таки полуотстранены от родителей и не видят материнской заботы.

Я спросил своего приятеля: «Все это очень хорошо, но вот, например, есть ли у вас в киббуце писатели?» Он ответил, что писателей у них нет. «Ну, а художники?» – «Художники у нас есть. Смотри, как наш художник расписал зал. Он работает четыре часа на киббуц, а остальное время, четыре часа или там сколько хочет, может работать для себя».

В киббуце они тогда работали по восемь часов, ну, иногда, как это всегда в сельском хозяйстве бывает, больше, и работали они не пять дней, а шесть. Суббота – день отдыха. В разговоре с бывшим русским социалистом-сионистом Бузиком

Виньяром я его спросил: «Что же это вы, товарищи, работаете шесть дней в неделю? А у нас в Америке – пять». Он стал меня убеждать, что шесть дней в неделю работать гораздо лучше, чем пять: «Между нами говоря, ну что люди делают во время отдыха? Ничего не делают. Одного дня совершенно достаточно». Виньяр был одним из основателей этого киббуца.

Еще одна интересная вещь. Всякий киббуцник, если даже он работает вне киббуца, должен все свое жалованье отдавать в киббуц. Например, Бен Гурион. Он вышел из одного киббуца, я там был, мне показали дом Бен Гуриона – одноэтажный, шесть окон, в зелени. И Бен Гурион должен был свое жалованье отдавать в киббуц и получать столько, сколько получает всякий рядовой куббуцник, то есть 30 долларов в год.

Люди, стоящие во главе киббуца, никакого экстра-жалованья не получают. «У нас люди не хотят идти в правление», – заметил мой приятель.

В киббуце все решает общее собрание. Оно выбирает правление киббуца, но правление, кроме обязанностей, ничего другого не имеет. Никакого жалованья, никаких особых прав, ничего. Вы получаете те же 30 долларов, вы работаете, как все, но в то же самое время вы являетесь членом правления киббуца. Так что, думаю, если бы Лев Николаевич Толстой появился в киббуце Афиким, то он бы прослезился и разрыдался. Потому что эти люди живут именно так, как он хотел. Они не знают, что такое деньги, они знают, что такое общий труд.

Я спросил: «А что вы сделаете, если приехавший к вам человек скажет: не хочу работать. Или просто ничего не скажет, а не выйдет на работу. Что вы будете с ним делать?» – «Такого человека правление киббуца в конце концов вызывает и, если это злостное дело и если он не исправляется, ему предлагают удалиться. За все годы, что стоит киббуц, кажется, было два таких случая, когда человека удалили».

Еще один очень интересный момент, объясняющий, почему такое замечательное начинание было осуществлено. В массе своей киббуцники – люди интеллигентные, многие с высшим образованием, другие со средним. И люди идейные. Жена моего приятеля кончила Венскую консерваторию, преподавала музыку. Но в определенные дни она обязана была с шести часов утра идти на кухню и чистить там картошку. Так что там нет отрыва от производства. Там все должны работать. На одежду киббуцникам выделяются специальные деньги. Одеты они все очень хорошо, разнообразно, так же, как в Америке.

Но начали они с коллективистского идиотизма, женщины носили одинаковые платья, а мужчины – одинаковые пиджаки. Постепенно жизнь все скорректировала, теперь они живут коллективно, но при максимальной автономии каждого человека, каждой семьи.

Отпусков у них нет. По-моему, они работают круглый год. Но по надобностям киббуц иногда отправляет людей и тратит на это очень большие деньги. Мне рассказали такой случай: жена одного киббуцника заболела, ее отвезли в Тель-Авив, поставили диагноз – ей была нужна срочная операция. Такую операцию могли произвести только в Америке. Тогда киббуц отправил ее в сопровождении мужа в Америку на свой счет, оплатил операцию и их возвращение.

В киббуце – большая библиотека, заведует библиотекой русская.

Другой увиденный мною киббуц, Энгед, был победнее, там уже дома стояли не двухэтажные или трехэтажные, а одноэтажные. Мне показывали еще мапамовский киббуц, совсем бедный. Мапамовские киббуцы – левосоциалистические. Как мне рассказывал Юлий Марголин, он посетил один такой киббуц. «Я, – говорит, – чуть не упал в обморок, потому что вошел и вижу, – висят портреты Маркса и Стали-

на». Теперь, конечно, эти портреты в киббуцах уже не висят. История учит.

Дни, проведенные мной с Марголиными в Тель-Авиве и в поездках с Юлием по Израилю, я всегда вспоминаю с чувством трогательной любви и дружбы. Это были прекрасные дни.

Много с Юлием мы ходили по Тель-Авиву. Обошли много улиц и площадей. Он показывал мне улицу Бялика, улицу Мицкевича (в Яффе), улицу Вл. Короленко, площадь Масарика, сказал, что, может быть, будет улица Милюкова. А показывая улицу Фердинанда Лассаля, смеясь, сказал: «Вот, Лассаль у нас есть, а улицы Карла Маркса, извините, нет и не будет, и, думаю, не потому, что он создал «марксизм», а потому, что написал свои знаменитые антисемитские статьи».

Среди прочих достопримечательностей Юлий с несколько застенчивой (он был застенчив) улыбкой показал мне кафе, где он написал свое «Путешествие в страну зека». У него смолоду (с Берлина) осталась европейская богемная привычка вдохновляться и писать где-нибудь в кафе. Показал он мне и музей Жаботинского, где в одной из витрин была выставлена его книга «Еврейская повесть», побывали мы в музее Хаганы. Были и в двух редакциях самых больших израильских газет, где разговор шел, конечно, по-русски. Но вот какую грустную черту в жизни Юлия в Израиле я тогда почувствовал.

В то время – 1963 год – большинство израильской интеллигенции и правительственной элиты было настроено по отношению к Совсоюзу, увы, весьма «мягко» и «симпатично». Всем этим людям хотелось дружбы с Советами во что бы то ни стало. Почему? Думаю, что не последнюю роль тут играл так называемый «ореол революционной страны», все еще веявший и реявший над реакционнейшим Совсоюзом. И благодаря этой психологии «верхнего слоя» израильской интеллигенции, благодаря этому «климату» побывавший в концлагерях Юлий, занявший совершенно непримиримую в

отношении Совсоюза позицию, оказывался «более-менее» не у дел. А на компромисс с политической совестью Юлий пойти и не мог и не умел, если б даже захотел. Есть такие «неудобные» люди. Вот, например, Осип Мандельштам. Он, конечно, знал, что этого стихо о Сталине – «Тараканьи смеются усища / И сияют его голенища... / Что ни казнь для него, то – малина / И широкая грудь осетина» – писать *нельзя,* что это – *смерть,* и, наверное, очень страшная смерть, – и все-таки он эти стихи написал. И не только написал, но еще читал приятелям, среди которых (он и это прекрасно знал) были, конечно же, стукачи. И как только стихо дошло до Сталина, он вовсе не расстрелял Мандельштама, он *замучил его* голодом, нищетой, тюрьмами, допросами и под самый конец – концлагерем.

Вот и у Юлия в какой-то степени было в характере нечто мандельштамовское: ни с какими фарисеями он за стол садиться не хотел. Почему? Да потому, что *не мог.* И все тут. Поэтому жизнь его тогда в Израиле, как мне кажется, и не сложилась так, как могла бы и должна бы была сложиться. Он был и образован, и талантлив, владел несколькими европейскими языками. Казалось бы, все есть... но нет, своими взглядами Юлий «не попадал в генеральную линию» и совершенно не хотел в нее попадать, а жил как вечный студент, как богема, как писатель – случайным литературным заработком. Не знаю, но думаю, что после шестидневной войны Юлию стало легче, он, наверное, вышел тогда из своего антисоветского «одиночества». В последний раз, когда он был в Нью-Йорке, он с восторгом рассказывал мне о молодых евреях, выбравшихся из Совсоюза и живших в каком-то, кажется, киббуце. Вот с ними Юлию не надо было искать общий язык, он был налицо...

В Назарет мы с Юлием ездили с туристической поездкой из Тивериады. Проехали старую деревню Магдалу, откуда

родом Мария Магдалина, и через Кану Галилейскую прибыли в Назарет. Назарет тогда был чисто арабским городом, бело-желтые или голубые (от дурного глаза) арабские дома на довольно крутых холмах. Израильское правительство построило на другом холме свои фабрики и новые дома для поселенцев.

Гид, привезший нас в Назарет, сказал: «Я вас должен передать арабскому гиду». Пришел старый араб, отрекомендовался на семи языках. Он показал нам храм Благовещения, который тогда строили католики на том месте, где, по преданию, жила Дева Мария и где ей явился Архангел Благовещения.

В Страстную Субботу я хотел обязательно быть в Иерусалиме и пойти к православной заутрене. Марголин, с которым я поехал в Иерусалим, предложил остановиться в Польском доме, гостинице польской католической миссии.

Чистая комната, все удобства. Нас встретили дружелюбные монашки, сестры Рафаэла и Мельхиора. После завтрака мы отправились на старое русское подворье. Прекрасные здания царских времен, написано: «Российское Палестинское общество при Академии наук». И дальше – что-то на иврите. «На иврите, – говорит Юлий, – написано: „Посторонним лицам вход строго воспрещен“».

На храме Александра Невского в Страстную Субботу висел большой замок, а рядом – расписание служб. Служба должна была начаться, согласно расписанию, в два часа. Мы опоздали, может быть, минут на двадцать – и опять замок. Тогда мы решили поехать в Эйн Карем (ныне в границах города), место, где родился Иоанн Креститель и где, по преданию, Дева Мария встретилась с Елисаветой, матерью Иоанна Крестителя. Очень красивое место на склоне холма. Нашли русский храм. На дверях опять замок. Марголин, человек очень энергичный, говорит: «Так не годится, надо кого-нибудь найти». Отправился по домам. Наконец на один стук

вышла женщина. Говорила она по-русски очень плохо: «Я – полька, жена местного священника». Священник из окна вдруг нам закричал: «Если у вас есть своя машина, то приезжайте вечером». Я понял, что православные храмы и в Иерусалиме и в Эйн Кареме фактически бездействуют.

Иерусалим тогда был разделен на арабскую и израильскую части. Пройти на арабскую сторону, в Старый город, оказалось совершенно невозможно. Я был так наивен, что думал, будто паломников пускают туда и обратно. Обратился к католическому священнику, отцу Симковскому, очень культурному человеку, историку, долго жившему в Риме.

– Ничего сделать нельзя, – ответил о. Симковский. – Вы можете только попросить американское посольство дать вам бумагу для иорданского поста, может быть, они вас туда пропустят, но тогда уже вернуться на израильскую половину Иерусалима вы не сможете. Вы должны будете лететь через Бейрут...

Мне захотелось взглянуть на «нимандланд», ничейную полосу между Старым (арабским) и новым городом. Мы вошли в крайние улицы, те, что соприкасались с «нимандланд». Какой-то мальчишка предложил подняться на крышу дома, посмотреть. Впечатление было очень мрачное: проволока, стена, пустые дома с выбитыми стеклами, искореженные цементные блоки. Польские монашки мне сказали, что их пропускают в Старый город в пять месяцев раз на два-три дня. Стало быть, в Страстную Субботу на православной службе мне быть не суждено.

И тогда я вступил в переговоры с сестрой Рафаэлей, куда нам идти. Она предложила пойти с ними в католический храм на горе Сион. Пошли мы с Марголиным, сестрой Рафаэлей, сестрой Мельхиорой и с пани Ковалик. Пани Ковалик только что приехала. Эта полька во время Варшавского гетто и оккупации сама спасла пять еврейский детей, а с помощью

других – спасла массу людей. Пятеро спасенных ею детей жили теперь в Израиле и вызвали ее на Пасху.

До Пасхальной заутрени еще было время, и монашки предложили пройти к гробу царя Давида. Подходя, мы услышали музыку и какой-то шум. Когда мы вошли в небольшое помещение, то увидели, что у гробницы хасиды танцуют танец. Их было человек тридцать. Один играл на гармони, другой на флейте. Я остановился, потрясенный. Сначала танец был необычайно томительный, как бы символизирующий смерть. И вдруг, сразу после заунывного мотива – плясовая, когда человек взвивается и начинается неистовый танец...

Когда на другой день мы вернулись в Тель-Авив, нас уже приглашение от мэра Тель-Авива Намира, бывшего генерального секретаря Гистадрута (израильских профсоюзов). Разговаривали мы с Намиром по-русски, ибо Намир был с Полтавщины. Говорили о многом, причем нас все время со вспышками магния фотографировал придворный фотограф мэра, и под конец я получил от мэра альбом города и значок Тель-Авива.

– А вы знаете, что вы – первый русский писатель, посетивший Израиль? – сказал мне Намир.

– Как – первый? – не поверил я. – Что вы! А Бунин? А Пильняк?

– И Бунин и Пильняк были в Палестине, а в государство Израиль вы приехали первый.

Намир был так любезен, что дал нам автомобиль и провожатого, который бы показал мне все, что я захочу, в Тель-Авиве. Больше того, Намир предложил оплатить какую-нибудь мою поездку по Израилю по любому маршруту – туда и обратно.

Посоветовавшись с Юлием, мы выбрали пустыню Негев до Эйлата и назад. Кстати сказать, путешествия, перемена

мест, вообще движение как таковое всегда были моей страстью. Той же страстью был болен и Юлий. Он, как ребенок, обожал ездить, путешествовать, смотреть неизвестные (и известные!) места, людей, города, природу, показывать свою страну всем приезжающим друзьям и рассказывать о ней. Гид он был – первый сорт! Вот мы и понеслись с ним в автобусе по пустыне Негев.

Из всех впечатлений от Израиля (ветхозаветных) поездка через пустыню Негев была самой потрясающей. Это какая-то трагически-бетховенская пустыня. Юлий мне объяснял все и показывал. И Кириат-Гат, и Бершебу, и горы Трансиордании, где, по преданью, похоронены Моисей и Аарон, и место, где Иисус Навин остановил солнце, и киббуц, где жил Бен Гурион. Мимо летели мрачные скалы – то черные, то желто-красные, то серебряно-песочные, – и все это в вихре песка, поднимаемого ветром. Сквозь этот вихрь автобус несся по единственной довольно узкой асфальтированной дороге, которую проложила израильская армия.

В израильских автобусах часто поют. Первым запевает гид, он начинает петь еврейские песни, ему подтягивает весь автобус. В нашем автобусе вслед за гидом солировала какая-то девица, она пела все что хотите, а потом, конечно, пела «Полюшко-поле» и «Катюшу», и притом весь автобус тоже подтягивал.

Показывая на горы Трансиордании, Юлий, смеясь, рассказал мне очень милый анекдот о Моисее. «Ты знаешь, как мы, евреи, попали сюда, в землю Канаанскую? Не знаешь? Ну так я тебе расскажу. Моисей ведь, по преданию, был страшный заика и, когда он вывел евреев из Египта, Бог спросил его, какую же страну, Моисей, ты хочешь для твоего народа? Скажи мне, и я тебе ее дам. Моисей начал страшно заикаться: «Ка-ка-ка-ка...» и этим так надоел Богу, что Бог перебил его: «Знаю, знаю, ты хочешь сказать Канаан. Даю эту страну тво-

ему народу». Но дело-то в том, что Моисей хотел выговорить – «Канада» – а вовсе не Канаан. Вот мы и попали сюда вместо Канады...», – весело смеялся Юлий.

В голубом Эйлате мы переночевали, покатались по прозрачно-голубому заливу на туристском катере со стеклянным дном, сквозь которое была видна вся «флора и фауна» Акабского залива. И вернулись тем же путем назад в Тель-Авив рассказывать Вусе обо всем виденном, пить чай и есть вкусный ужин.

К характеристике Юлия еще скажу, что в так называемом культурном обществе, то есть в обществе воспитанных интеллигентов, всегда немного фальшивом, немного неправдивом, немного неживом и часто даже немного фарисейском, Юлий бывал подчас неудобен. Он не чувствовал иногда обязательности общественной «вежливости и сдержанности». И вел себя подчас так, как не принято. Помню, он рассказывал мне, как он делал доклад среди каких-то состоятельных людей о том, что нужно собрать деньги на издание еврейского журнала на русском языке для «той стороны» (для засылки в Совсоюз). И вот ему показалось, что эти состоятельные люди не слишком поспешно и не слишком жарко реагируют на его предложения и аргументы. И Юлий наговорил им – вероятно, не совсем справедливо – какие-то неприятные вещи. На другой день он хватался за голову, ругал себя, чувствуя, что «я, кажется, переборщил». «Переборщить» он порой мог. Потому что, в противоположность многим джентльменам, он считал, что правда лучше вежливости.

Юлий сотрудничал почти во всех русских зарубежных изданиях. В «Новом журнале», «Воздушных путях», «Мостах», в газетах – «Новое русское слово» и «Русская мысль». В «Новом русском слове» он был постоянным корреспондентом из Израиля, и его «Тель-авивский блокнот» всегда имел успех у читателей, даже во многом с ним не соглашавшихся.

В «Новом журнале» он напечатал отрывки из «Путешествия в страну зека», печатал отдельные статьи, печатал отрывки из своей биографической повести «Книга жизни», к сожалению неоконченной. Последней его публикацией в «Новом журнале» была превосходная статья о философе Льве Шестове – «Антифилософ», в которой он необычно, по-своему, подошел к этому парадоксальному мыслителю.

Когда в «Новом журнале» я напечатал его отрывки о детстве и отрочестве из «Книги жизни», у некоторых читателей они вызвали неприятные чувства. Мне говорили: «Ну что такое написал Марголин! Это же черт знает что! Как он вывел своего покойного отца? Он написал, что отец брал какие-то взятки за освобождение от воинской повинности... это Бог знает что такое... и как вы могли это напечатать?» Я рассказал об этом Юлию. Он стал хохотать. «Но я же написал сущую правду! – кричал он. – К тому же, если б я стал врать, то есть «лакировать» портрет моего отца, то я прекрасно знаю, что у меня бы просто ничего не получилось. И если что-нибудь получилось неплохое, то только потому, что я не хотел фальшивить!» «Фальшивить» для Юлия было хуже всего. Это было опять нечто мандельштамовское.

Сколько я знал Юлия, он всегда был, так сказать, подчеркнутым евреем (хоть и не был религиозным). Но став убежденным сионистом, он все-таки никогда не мог духовно оторваться от русской культуры. Да и не хотел. Он любил ее. Любил русскую интеллигенцию, русскую мысль, русский характер, русскую литературу, философию, поэзию, музыку. Русскую литературу он знал изумительно. Одна духовная половина его души всегда оставалась русской. Да и прожил он всю жизнь как типичный русский интеллигент старого закала и «великих традиций» – с полным пренебрежением к материальной стороне жизни и с упором на «идейность», на все доброе в человеке и справедливое для человека.

К вопросу об «автокефалии»[15]

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА АФИНАГОРА ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Блаженнейший и Святейший Алексий, Патриарх Московский и всея Руси, возлюбленный и дражайший брат и со-служитель нашей верности. Мы почтительно и братски лобзаем Ваше Блаженство во Иисусе Христе и имеем честь обратиться к Вам со следующим:

Некоторое время тому назад мы были осведомлены из кругов Русской Митрополии в Нью-Йорке о переговорах, которые давно ведутся между Вашим Блаженством и Митрополией для установления нормальных отношений между Митрополией и Московской Патриархией.

Наша Константинопольская Церковь, как Мать, всегда ищущая мира в лоне каждой из различных Православных Церквей, равно как соблюдения между ними уз любви, с любовью наблюдала за братскими стараниями, употребляемыми с обеих сторон для восстановления нормальных отношений и соблюдения гармонии и единства в лоне нашей Святой Православной Церкви и всегда в соответствии со Священными Канонами и церковным порядком и практикой, которая издавна стала законом.

Итак, пока мы ожидали, что, в соответствии с глубокой осторожностью Вашего Блаженства, имевшие место переговоры поведут к блаженному и мирному направлению, мы и наш Священный Синод, к нашему удивлению и сожалению, были недавно осведомлены из докладов нашего Высокопреосвященнейшего Архиепископа Северной и Южной Америки Иаковоса, что представители

---

[15] Так как все это кегебешное непотребство происходило и на американской земле, я считаю нужным поместить эти материалы в «Россия и Америка». В «The Orthodox Observer» в номере за октябрь-ноябрь 1971 г., под заглавием «Четыре древних патриарха осуждают русскую авткефалию в Америке» были опубликованы на английском и греческом языках послания четырех патриархов. Я привожу их в переводе с английского с некоторыми сокращениями.

Вашего Блаженства ведут переговоры с представителями Митрополии для объявления этой Церкви автокефальной.

Мы считаем излишним и бесполезным перечислять в подробностях гибельные последствия, к которым могли бы привести такие возможные действия Святой Русской Церкви. Ибо Ваше Блаженство хорошо знаете, какое ниспровержение церковного порядка и какое общее смятение может произойти вследствие такого объявления автокефалии в любой юрисдикции произвольно и односторонне относительно Церкви со стороны одной из автокефальных Церквей.

Обращаясь же теперь к тем Православным Церквам в «рассеянии» в Америке, подчиненным различным отечественным юрисдикциям и зависящим от них до тех пор, пока не состоится общеправославное решение по данному вопросу, ясно, что объявление автокефалии одной из этих Церквей, если оно совершается так, как предусмотрено в отношении Митрополии, составляет акцию, которая не только противоречит священным канонам, которыми руководилась наша Православная Церковь в течение многих столетий, но и акцией, которая вместо способствования установлению нормальных отношений может стать источником проблем для Православия в Америке. Результаты этих проблем неизбежны, и вышеуказанная Митрополия не может избежать того, чтобы стать предметом, нарушающим общеправославные отношения.

В эти дни, когда так много усилий прилагается к тому, чтобы создать священное единство внутри Православия, и списки вопросов, относящихся к Православной Церкви в рассеянии вообще, включая автокефалию, предложены для изучения и окончательного решения Священным и Великим Собором, мы без колебаний полагаем, что план, обсуждаемый относительно Митрополии, будучи осуществленным, содержит в себе большие опасности и подорвет совместные и гармонические междуцерковные усилия по подготовке Собора...

Глубоко озабоченные единством наших Православных Церквей и единством, которое проявляет каждая Церковь, твердо направляясь к Великому Собору и будучи убеждены, что Ваше Блаженство, весьма нами возлюбленное, имеете то же мнение и те же намере-

ния, мы пишем Вам по постановлению нашего Священного Синода. И делая это, мы требуем от Вас и Вашей Святейшей Церкви, чтобы, взвесив обстоятельства и проистекающую отсюда ответственность, Вы не позволили бы, во имя общей пользы, чтобы дело это шло дальше, но чтобы намеченные планы были отменены.

Желая со всей ясностью оповестить заранее Ваше Блаженство о том, какова будет позиция нашего Святого Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола, если бы мы столкнулись с обсуждаемой проблемой, касающейся Православия, мы поэтому уведомляем Вас в этом братском Патриаршем письме, что, если Святая Российская Церковь, столь возлюбленная, вопреки нашему братскому увещеванию и совету и вопреки всякой надежде, будет продолжать осуществление ныне намеченного предложения объявить автокефалию Русской Православной Митрополии в Америке, то этот Престол не признает этого деяния и не впишет этой Церкви в диптихи Святых Православных Автокефальных Церквей. В соответствии с этим, мы заклеймили бы эту Церковь, которую Вы хотите объявить автокефальной, как неканоничную. В связи с этим наш Престол принял бы и другие меры, необходимые для обеспечения канонического порядка.

Кроме того, мы полагаем, что имеем долг оповестить об этом деле наших Братьев во Христе, Патриархов, Архиепископов и Глав Святых Православных Автокефальных Церквей, каждому из коих мы пошлем копию этого нашего Патриаршего послания для сведения. Копия также посылается Высокопреосвященнейшему Архиепископу Иаковосу Северной и Южной Америки.

Мы обращаем к Вашему Блаженству это определение Священного Синода с надеждой, что отныне всякая акция, которая могла бы нарушить спокойствие и мир в Церкви, будет избегнута, и мы вновь лобызаем Вас с братской любовью и с глубочайшим уважением во имя Христа Спасителя, явившегося ныне на реке Иордане.

Ваш брат во Христе

Афинагор Константинопольский,
Вселенский Патриарх

8 января 1970

Засвидетельствовано в качестве верной копии Главы. Секретарем Священного Синода Архиепископом Колнским Гавриилом.

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА АФИНАГОРА МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ ПИМЕНУ

Высокопреосвященнейший Митрополит Крутицкий и Коломенский, возлюбленный брат в Духе Святом и сослужитель нашей верности, Господин Пимен, Местоблюститель Московского Патриаршего Престола: благодать и мир Божий да будут с Вашим Высокопреосвященством.

Мы получили и прочитали со вниманием в заседании нашего Священного Синода послание от 17 марта 1970 г., которое почивший Патриарх Московский и всея Руси Алексий послал нам в качестве ответа на наше братской послание на его имя от 8 января 1970 г., содержащее разбор его собственных суждений и его точки зрения, равно как и Священного Синода Православной Русской Церкви-сестры, по поводу недолжным образом возбужденного вопроса о предоставлении Московским Патриархом автокефалии Русской Православной Митрополии в Нью-Йорке под названием «Православная Автокефальная Церковь Америки».

Мы положительно удивлены узнать из вышеуказанного письма приснопамятного Патриарха, что он не получил нашего письма от 8 января 1970 г. за № 7 и что он ознакомился с его содержанием из копии, дошедшей до него другим путем. Наше удивление, достигшее степени тревоги, тем более оправданно, что к тому же наше письмо было послано заказным с обратной распиской и, в соответствии с международным порядком, мы получили соответствующую расписку от 17 января, имеющую подпись получателя. Мы прилагаем при сем фотокопию этой расписки для Вашего сведения.

Мы считали необходимым это объяснение для того, чтобы соответствующие инстанции имели возможность выяснить этот вопрос, могущий вызвать большое недоразумение. Мы просим Ваше возлюбленное и почитаемое Высокопреосвященство благоволить об уведомлении нас в свое время о результатах расследования, которое будет предпринято по этому поводу для того, чтобы наше естественное недоумение было разъяснено.

Переходя к точке зрения, изложенной в письме от 17 марта 1970 г., мы не находим возможности для объяснения, удивления и недоумения, которые испытал блаженной памяти Патриарх по поводу содержания нашего предыдущего послания, и мы признаемся, что как раз содержание и форма его ответа причинили глубокое огорчение нам и нашему Синоду.

В нашем послании от 8 января 1970 г. за № 7 мы обратились с горячим братским увещанием, чтобы Святейшая Российская Церковь воздержалась впредь от всяких шагов, которые могли бы нарушить церковный мир и покой и создать положение, ниспровергающее установленный канонический порядок и вызывающее волнение и еще более глубокое смущение, распространяющееся в ущерб единству и согласию, достигнутому в нашей Святой Церкви после стольких трудов и лишений.

Но вместо того, чтобы найти, как мы этого ожидали, понимание, которое отвечало бы нашей братской просьбе, как раз вопреки всякой надежде и ожиданию мы констатируем, что, увы, Русская Православная Церковь упорствует в своей неправильной позиции и продолжает свои переговоры относительно проекта автокефалии вплоть до ее провозглашения.

Для оправдания своих мероприятий Ваша Церковь ссылается на необходимость устранения существующих непорядков во взаимоотношениях русских общин с Русской Церковью и между собою и на якобы принадлежащее ей право предоставить автокефалию, о которой идет речь, но приведенные аргументы отнюдь не убедительны в смысле справедливости предпринятого мероприятия.

И прежде всего в отношении аномалии во взаимоотношениях русских общин с Русской Православной Церковью и между собою, нет никакой причины или основания, чтобы, устраняя их, создавать другую, еще большую (аномалию), которая может принести ущерб порядку управления всей Православной Церкви, имея в виду, что есть другие формы управления, к которым могла бы обратиться Святая Российская Церковь-сестра. Что касается якобы принадлежащего каждой православной автокефальной Церкви права предоставлять автокефалию, то это не отвечает ни каноническим требованиям, ни практике Церкви.

Конечно, нет сомнения, что по каноническому строю Церкви каноническая власть предоставляет автокефалию. Кто, однако, является законной властью, предоставляющей автокефалию? Каковы, далее, необходимые нормы и условия?

В церковном законодательстве нет канонов, специфически предусматривающих в подробностях вопрос об автокефалии. Но из основных принципов этого законодательства можно вывести соответствующие правила, ясно выраженные в каноническом сознании Церкви, как она высказалась во многих случаях в истории и как это ясно написано в статутах (Томосах) при объявлении автокефалии современных Поместных Церквей.

На основании этих источников закона, а также самого понятия об автокефалии как церковном акте, связанном с изменением церковных границ и появлением новой юрисдикционной и административной власти и создающим, т. о., новое положение во всей Православной Церкви, – следует, что объявление автокефалии принадлежит компетенции всей Церкви; оно отнюдь не может быть рассматриваемо как право «каждой автокефальной Церкви», как это значится в письме почившего Патриарха Алексия...

Полное и окончательное объявление входит в компетенцию общего Собора, представляющего полноту поместных Православных Церквей, а именно Вселенского Собора. Поместный Собор Церкви-Матери, от которой зависят просящие автокефалии области, имеет только право принимать их первое прошение о независимости и решить, заслуживают ли представленные ими основания принятия в духе 34 Апостольского правила...

Факторами, признаваемыми как основные и необходимые для объявления автокефалии, являются прежде всего: 1) ясно выраженное мнение христианского народа, т. е. клира и мирян, 2) формулировка всем местным епископатом в официальном соборном акте соответствующего прошения, равно как и мотивов, диктующих отделение; без епископата всякое деяние мирян или правительства, в качестве представляющего их, было бы самочинным актом, 3) мнение Церкви-Матери и, наконец, окончательное решение всей полноты Церкви является, следовательно, необходимым для

канонического создания автокефалии, равно как и всякого подобного акта.

Если, согласно сказанному, объявление автокефалии одной Поместной Церковью части ее, от нее отделенной, является неканоническим, то объявление одною Поместною Церковью церковной территории как автокефальной – территории, которая не только не составляет интегральной части ее, но еще, сверх того, не имела никакого отношения или зависимости от нее, – явно является актом, преступающим юрисдикционные границы в нарушение явных указаний священных канонов. Ибо Святые Апостолы и Отцы Церкви настоятельно призывали к миру Церкви. Апостолы постановили: «Воспрещено одному епископу вторгаться в территорию другого» (каноны Апост. XIV и XXXIV), и Отцы, собравшиеся на 1-й Никейский Вселенский Собор: «Надлежит соблюдать древние обычаи, и пусть каждый престол управляет епархиями, к нему принадлежащими» (каноны VI и VII). И Отцы, собравшиеся на Собор в Антиохии, постановили: «Ни единый епископ да не дерзает из единыя епархии преходити в другую» (правила XIII и XXII). Наконец, согласно Зонаре, Отцы, собравшиеся на Второй Вселенский Собор в Константинополе, постановили: «Епископы да не простирают своея власти на церкви за пределами своея области».

Эти священные каноны, на которых искони основывается строй Церкви, коими искони утверждается ее административный порядок и права Церквей защищены, а соблазн устраняется, эти каноны не были приняты во внимание Святейшей Церковью Российской, которая, увы, приступила к ряду действий, выходящих за пределы ее юрисдикции; все то, что она дерзнула сделать в течение последних лет в Польше и в Чехословакии, а теперь в Америке, – служит тому примером.

Русская Православная Церковь игнорировала создание Православной Церкви в Польше покойным Вселенским Патриархом Григорием VII Синодальным и Патриаршим Томосом от 13 ноября 1924 г. Этот акт Вселенского Престола в отношении Польской Церкви был охотно и безоговорочно признан в духе любви и братского общения. Между тем Русская Церковь даровала Польской Церкви новую автокефалию актом своего Священного Синода от 22

июня 1948 г. В этом случае она действовала, нарушая права своей юрисдикции, ибо Православная Польская Церковь, по отрыве после Второй мировой войны от территории Белоруссии и Украины, которые ранее были к ней присоединены, охватывает территорию, простирающуюся к западу до Балтийского моря, которая в древние времена была вне территории Московского Патриархата и под юрисдикцией Вселенского Патриаршего Престола. Без основания или оправдания и преступая свою юрисдикцию Русская Церковь вмешалась в дела Православной Церкви в Чехословакии, на территории, тоже канонически и исторически принадлежащей Вселенскому Патриаршему Престолу и им организованной. Сначала она произвела давление на ее канонического епископа, блаженной памяти Архиепископа Пражского и всея Чехословакии на территории, которая тоже канонически и исторически принадлежала Вселенскому Патриаршему Престолу и была им организована. Она начала с того, что произвела давление на ее канонического епископа, Блаженной памяти Архиепископа Савватия Пражского и всея Чехословакии, послав туда Экзарха, и, наконец, дошла до того, что пожаловала ему неканоническую и необоснованную автокефалию, нарушив еще раз канонический порядок автономии этого района, которая была дана ему Вселенским Престолом с 1923 г. и была признана Поместными Православными Церквами-Сестрами.

Идя по тому же неканоническому пути, Русская Православная Церковь теперь вторгается в церковные дела в Америке. Ссылаясь на свою якобы материнскую связь с православными в Америке, основанную на факте отправления некогда миссионеров на Алеутские острова и на Аляску, она считает себя единственно имеющей законное право для дел «Греко-Кафолической Православной Церкви Америки» – как она называет русскую Митрополию в Америке под юрисдикцией Е. В. Митрополита Иринея. Следовательно, она признает себя вправе решать церковные дела в Америке по своему усмотрению.

С начала второй половины XIX века, когда русские переселенцы в Америке стали спускаться из северных районов к югу, к промышленным центрам континентальной Америки, преимущественно начиная с первых десятилетий нашего века, православные почти из

всех православных стран массами эмигрировали в Новый Мир, создавая таким образом православные юрисдикции, ныне существующие в Америке. Это есть новое явление в истории Православной Церкви, новый вид диаспоры, положение исключительное и необычное, ибо оно допускает существование нескольких Митрополитов на одной территории, иногда действующих с одинаковым титулом церковной юрисдикции над отдельными национальностями. Это находится в противоречии с ясными каноническими требованиями, как, напр., 21 прв. IV Вселенского Халкидонского Собора, которое определяет, что «не бывает двух митрополитов во единой области».

Хотя это положение противоречит основному догматическому принципу православной экклезиологии, согласно коему в основе церковной организации лежит единство всех верующих, живущих в одном месте, в едином церковном организме, имеющем во главе епископа, который укрепляет единство нового народа Божия, в коем «несть еллин, ни иудей... но всяческая и во всем Христос» (Кол. 3, 11), хотя это положение противоречит самому строю Церкви и ее священному законодательству, тем не менее, поскольку это касается чрезвычайного явления, отдельного и временного, оно рассматривается и принимается нашим Святейшим Апостольским Вселенским Престолом в духе крайней вынужденности, снисхождения и терпимости для того, чтобы служить миру и единству между Церквами-сестрами, защищать его и распространять, пока нельзя будет этот вопрос официально рассмотреть на будущем Святом и Великом Соборе Православной Церкви, коему он передается общеправославным решением. Вот почему мы не можем понять поспешности, проявленной Русской Православной Церковью, объявления автокефальною Церковью сравнительно малой части русской православной диаспоры в Америке, которая только недавно признала ее юрисдикцию, давая ей при том титул, не соответствующий реальности.

Вследствие сего мы находим целесообразным для выполнения нашего долга и нашей ответственности в отношении всей Православной Церкви вновь братски увещевать Святую Православную Русскую Церковь воздержаться впредь от всяких действий в этом

вопросе и напомнить ей, что у нее есть определенные границы и также ограниченный круг ее юрисдикции, который не может распространяться за границы компетенции, которая предоставлена ей Патриаршей Грамотой Вселенского Патриарха Иеремии II в 1591 году, коему она обязана своим независимым существованием, равно как и новому Томосу того же Патриарха Иеремии II, от февраля 1593 г.

Мы питаем надежду, что Русская Православная Церковь-сестра, блюдя канонический порядок и имея в виду церковный мир, не только воздержится от действий в этом вопросе, но и сделает все возможное, чтобы устранить происходящее от сего каноническое расстройство. Но если вопреки надеждам она будет настаивать на своих нынешних взглядах, идя против постановлений, принятых на общеправославном совещании, которое отложило рассмотрение этого вопроса до будущего Святого и Великого Собора Православных Восточных Церквей, то мы объявляем, что этот Вселенский Апостольский Патриарший Престол находит себя вынужденным для блага и в интересах всей Церкви считать все эти действия несуществующими, а действительным только всеправославное решение, регулирующее общий вопрос православной диаспоры.

Движимые братским долгом, мы даем этот ответ на письмо от 17 марта 1970 г. Святейшей Русской Церкви, и мы молим Бога, Отца мира, направить в этом случае мысли ее к деяниям, достойным ее славного прошлого и ее почтенных традиций для охранения канонического порядка и священного законодательства наших отцов. Бог да дарует Своей Святой Церкви мир, а Вашему досточтимому Высокопреосвященству многие лета, исполненные здравия и благополучия.

С братской любовью и глубоким уважением

Афинагор, Архиепископ Константинопольский,
Вселенский Патриарх

24 июня 1970г.

ПОСЛАНИЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ПАТРИАРХА ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АРХИЕПИСКОПУ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ, НОВОГО РИМА И ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ

Возлюбленный наш брат во Христе и сослужитель нашей верности, досточтимый Афинагор, мы братски обнимаем Ваше Высокопреосвященство и имеем великое удовольствие обратиться к Вам. Мы получили письма, с которыми Ваше Высокопреосвященство обратилось к нам по вопросу о мероприятиях и действиях, на которые дерзостно решилась Святая Русская Церковь-сестра в отношении Русской Православной Митрополии в Америке, возглавляемой Преосвященным Иринеем, а также корреспонденцию между Московским Патриархатом и Апостольским Патриаршим и Вселенским Престолом.

Исчерпывающим образом изучив эти письма как лично, так и совместно с нашим Святейшим Синодом, мы были опечалены и огорчены этими антиканоническими и произвольными действиями Святой Русской Церкви-сестры, которые могут нарушить мир и расстроить единство в православной системе управления, а также привести к смущению в святых Православных Церквах.

К сожалению, статус автокефалии в какой бы то ни было форме, антиканонически провозглашенный Святой Русской Церковью Православной Митрополии Северной Америки или автокефалии Православной Церкви Америки вообще, был принят неосмотрительно не только в нарушение порядка, существующего уже много веков, согласно которому предоставление автокефалии является прерогативой всей Церкви, но также с полным игнорированием обычных норм вежливости, соблюдаемых в отношении остальных Автокефальных Православных Церквей во всем мире, которым Московский Патриархат должен был сообщить об обстоятельствах, якобы требовавших этого предоставления автокефалии.

Согласно канонам, которые Святейшие Вселенские Соборы ввели так, чтобы они могли применяться повсеместно, одно необходимое предварительное условие провозглашения автокефалии

было выделено, в особенности 4-м Вселенским Собором, а именно наличие свободно выраженного желания христианского народа, находящегося под руководством должным образом назначенного духовенства соответствующей церковной юрисдикции.

Святая Русская Церковь-сестра явно считает, что для провозглашения автокефалии какой-либо церкви требуется лишь достаточное число епископов для посвящения в сан других епископов и достаточное число верной паствы для обеспечения материальных нужд.

Эта главная и решающая роль народа Господня могла быть правильно оценена, если бы досточтимый Местоблюститель Патриаршего Престола в Москве помнил о том, что сказал покойный Московский Патриарх Тихон в своем протесте от 29 декабря 1917 г. католикосу Грузии, напомнив ему, что автокефалия даруется по просьбе государственных и церковных властей страны, желающей получить автокефалию, но что такая просьба должна действительно отражать «всеобщее и полностью согласованное желание народа».

Мнение досточтимого Митрополита изменилось бы еще более, если бы он знал о некоторых действиях и решениях 4-го Вселенского Собора. Своим каноном III 2-й Вселенский Собор предоставил Архиепископу Константинопольскому лишь почетный примат, сохранив в то же время своим каноном II полностью права экзархов провинции Фракии, Понта, а также Азии. Всего лишь через два десятилетия Св. Иоанн Хризостом в качестве Константинопольского Патриарха вмешался в дела вышеозначенных юрисдикции, снизив в должности этих экзархов и посвятив в сан на их место других. Эти снижения в должности и посвящения не имели бы ни канонической, ни правовой силы и вообще не было бы никаких изменений в этом отношении, если бы православные конгрегации не обратились к Св. Иоанну Хризостому с просьбой об исправлении совершенных неправильностей. Почти полвека спустя это вмешательство было признано действительным в каноне XXVIII 4-го Вселенского Собора. Согласно 16-му акту этого Святого Собора указанный канон включает Томос, предложенный собранию и имеющий подписи экзархов и большого числа епископов юрисдикции Фракии, Понта и Азии; этот Томос содержит просьбу о включении конгре-

гации в сферу юрисдикции Константинопольского Престола. И когда власти спросили их, «подписались ли они добровольно или по принуждению», они заявили о своем свободном согласии...

Совершенно ясно, что в действиях Святой Русской Церкви-сестры основное предварительное условие, выражаясь мягко, было насильственно забыто и признано не имеющим силы, так как мнение наиболее многочисленной конгрегации в Америке, т. е. мнение греко-православной епархии, не было ни запрошено, ни выслушано, как того требовало положение.

Переговоры велись и решения принимались с меньшинственной конгрегацией, составляющей едва одну треть всей православной конгрегации в Америке, большинство же продолжает оставаться вне автокефалии, либо игнорируя ее, либо же осудив ее.

Кроме того, Томос устанавливает парадоксальное и неслыханное в истории Православных Церквей положение: под юрисдикцией недавно назначенного первым заместителем в Московском Патриархате бывшего епископа Уманского Макария в Америке остаются все приходы бывшего экзархата Московского Патриарха. Следовательно, 43 прихода экзархата Соединенных Штатов, включая Свято-Николаевский собор в гор. Нью-Йорке со всем его имуществом, равно как и все приходы в Канаде, по-прежнему находятся под юрисдикцией Московского Патриархата.

Таки образом Томос становится скорее коммерческим соглашением, вопреки любым нормам церковного строя, и этим Святейший Синод в Москве жестоко противоречит сам себе. Предоставляя одной рукой автокефалию Русской Митрополии в Америке, а другой рукой сохраняя свою собственную власть и юрисдикцию над приходами в том же самом церковном районе, что противоречит основным каноническим правилам, – Синод отрицает и делает недействительной им же самим дарованную автокефалию.

Сообщая вышеизложенные соображения, мы желаем заверить Ваше Высокопреосвященство в том, что наша Святая Церковь, будучи полностью согласна с точкой зрения, содержащейся в Ваших письмах, категорически осуждает антиканоническую, новую и самое себя лишающую законной силы автокефалию Русской Митро-

полии в Америке и считает ее не существующей и никогда не провозглашенной, а также считает означенный Томос никогда не изданным.

Мы принимаем и признаем положение, ранее существовавшее в Америке, впредь до того, как, согласно всеправославному обычаю, весь вопрос о Православной Диаспоре, в частности о Диаспоре в Америке, будет рассмотрен и окончательно решен Великим Святейшим Собором нашей Восточной Православной Церкви, созыв которого в настоящее время подготовляется.

Обращаясь с настоящим письмом к Вашему Высокопреосвященству с чувством глубокой братской любви и по решению Святейшего Синода, мы горячо и непрерывно молим Бога, восставшего из Его Святого Гроба, чтобы Он по своей безграничной милости пощадил свою Святую Церковь, возникшую из Его крови, от этой угрожающей ей опасности, а также чтобы Он объединил и направил ее умы и сердца на осознание опасностей, присущих этой односторонне и антиканонично предоставленной автокефалии, и завершил восстановление согласия между церквами-сестрами ради их собственного блага и во славу их Всевышнего Создателя.

Мы обнимаем Ваше Высокопреосвященство во Христе и молим Его даровать Вам многие лета мира и спасения, и остаемся с братской любовью во Христе к Вашему Высокопреосвященству и с глубоким уважением.

Бенедиктос, Патриарх Иерусалимский,

17 марта 1971 г.

ПОСЛАНИЕ АНТИОХИЙСКОГО ПАТРИАРХА

Дорогой брат во Христе!

Я получил Ваше письмо и вполне понял его содержание. Этот случай с так называемой «автокефальной церковью в Америке» представляет собой значительный интерес. Я принял делегацию, состоящую из одного епископа и известного Вам профессора о. Шмемана. Я заявил им, что автокефальная церковь в Америке может существовать только в результате соглашения между автокефальными церквами, главным образом между церквами,

сохраняющими за собой юрисдикцию в Америке. Я уверен, что такого же мнения придерживаются и Ваши епископы там...

Мы в Антиохийской Церкви занимаем следующую позицию: только автокефальные церкви, действуя в консультации и согласии друг с другом, могут провозгласить Автокефальную Церковь в Америке. И мы регулируем наши церковные взаимоотношения на этой основе.

С любовью во Христе остаюсь

Элиас IV, Патриарх Антиохийский, Дамаск,

22 июля 1971 г.

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО НИКОЛАОСА ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АРИХЕПИСКОПУ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ, НОВОГО РИМА И ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ

Возлюбленный наш брат во Христе и сослужитель нашей верности, досточтимый Афинагор, мы братски обнимаем Ваше Высокопреосвященство и имеем великое удовольствие обратиться к Вам. Настоящим мы доводим до Вашего Высокопреосвященства и Вашего Святейшего Синода о нижеследующем:

Мы со вниманием изучили любезные письма Вашего Высокопреосвященства относительно провозглашения Русским Патриархатом одной из групп православных христиан Русской Диаспоры в Америке в качестве автокефальной Церкви и в ответ мы настоящим уведомляем Вас, что на своем заседании 4 декабря 1970 г. Святейший Синод Александрийского Престола постановил:

Осудить автокефальный статус, предоставленный Русским Патриархатом в какой бы то ни было форме, будь то в форме автокефальной Русской Митрополии Северной Америки или, более широко, Автокефальной Православной Церкви в Америке, как акт, не имеющий исторического и канонического основания. Мы считаем его, не имеющим силы и никогда не провозглашенным, а также считаем несуществующим освободительный Томос, изданный Московским Патриархатом, ибо он (Московский Патриархат) обязан

соблюдать установленный в Православной Церкви порядок в отношении прав и власти каждой церкви и потому не допускать подобным мероприятием смущения и нарушения гармонии Вселенской Церкви, порядка и надлежащего функционирования, которые мы, епископы, должны уважать и защищать.

И для того, чтобы такое провозглашение русских в Америке в качестве Автокефальной Церкви не стало причиной бедственных последствий, Московский Патриархат должен был ждать того, чтобы вопрос о будущем русских людей в диаспоре был исследован обсужден и решен окончательно всеми православными на ныне подготовляемом Соборе Православной Церкви.

Доводя о вышеизложенном до сведения Вашего Высокопреосвященства и вновь обнимая Вас, мы остаемся с любовью и уважением брата и сослужителя.

Николаос, Патриарх Александрийский

Александрия, 16 дек. 1970г.

Подрывная работа в МСЦ

Выражение «чекист в рясе», приводящее в негодование некоторых сторонников «автокефалии» как «политически вульгарное», принадлежит человеку, который ни к какой вульгарности не был склонен. Это выражение покойного первоиерарха американской митрополии Феофила. «Не поддавайтесь обману этих лжецов! Никакого общения, дорогие братья и сестры, с чекистами быть не может!» Так еще в 1947 году говорил митрополит Феофил о московских посланцах на Запад.

В 1954 году бежавший на Запад из Вены видный работник КГБ Петр Дерябин в своей книге на английском языке «Тайный мир»[16] рассказывает, что в Вене он работал с митрополитом Николаем Крутицким (в миру Борисом Дорофеевичем Ярушевичем), который давно состоял «кооптированным со-

[16] «The Secret World» by P. Deriabin and F. Gibney. Doubleday, N. Y. 1959.

трудником» КГБ. Причем на совести этого высокопоставленного «чекиста в рясе», тогда второго лица по рангу в Патриархии, лежит попытка предательства священника о. Арсения, пытавшегося бежать от Советов в Вене.

Другой видный беглец из Совсоюза, Юрий Растворов, в 1956 году в своих показаниях перед подкомиссией Сената США показал, что КГБ не только контролирует всю деятельность Церкви в Совсоюзе, но и засылает в нее своих агентов. Растворов рассказал, что в духовные семинарии Патриархии посылается много агентов госбезопасности. Председательствовавший на заседании сенатор Моррис спросил его: – Посылаются ли они как студенты для слежки за студентами? – Нет, – ответил Растворов, – они посылаются, как офицеры контрразведки в эти семинарии и впоследствии становятся священниками и епископами.

В 1961 году Николай Крутицкий, оказавшийся в оппозиции к Патриархии, умер при загадочных обстоятельствах. Еще раньше его заменил – по подрывной работе на Западе – митрополит Никодим (Ротов). О его работе подлинный христианский мученик, советский гражданин Борис Владимирович Талантов, запытанный кегебистами в тюрьме в Кирове (Вятка) в 1970 году, писал так: «Деятельность Московской Патриархии за границей является сознательным предательством Русской Православной Церкви и христианской веры. Но настанет время разоблачения предательской деятельности Московской Патриархии за границей, час суда над митрополитом Никодимом» («Вестник РСХД», № 89–90).

Какую же работу на Западе ведет пресловутый «чекист в рясе», по рангу второе лицо в Московской Патриархии, митрополит Никодим? К сожалению, работу большого размаха, в мировом масштабе, и, к сожалению, успешную. Об этом недавно рассказал Кларенс В. Холл в двух статьях – «Должны ли наши церкви финансировать революцию?» и «Куда ведет

путь Мирового Совета Церквей?»[17]. Обе эти статьи появились в самом распространенном в Америке журнале «Ридерс дайджест» (октябрь и ноябрь, 1971 г.). В этих статьях приводятся факты, как борется советская агентура (т. е. КГБ) с христианством в мире. Эта борьба главным образом началась через Мировой Совет Церквей и с того момента, когда на конференции МСЦ в 1961 году в Нью-Дели в состав этой мировой христианской организации были приняты Русская (т. е. Московская Патриархия), Румынская, Болгарская и Польская православные церкви. Кстати, на этой же конференции произошла первая встреча между «чекистом в рясе» митрополитом Никодимом и архиепископом Иоанном Сан-Франциcским. Американская митрополия уже тогда состояла членом МСЦ.

Интересно отметить, что при приеме этих «чекистов в рясах» в состав МСЦ, дабы ничто не могло омрачить сего «торжественного исторического» события, «речи перед голосованием были запрещены». После же их приема главы этих церквей заявили, что они представляют семьдесят миллионов верующих, и посему группа представителей восточных церквей оказалась сразу же одной из самых крупных секций, входящих в МСЦ, заняв «ведущее» положение. Безуспешно некоторые органы западной печати высказывали разумное опасение, что прием контролируемых ленинцами церквей «даст международному коммунизму новую международную трибуну, с которой он сможет вести свое наступление на свободный мир».

«Чекисты в рясах» вошли в МСЦ и заработали. С их вхождением равновесие сил в МСЦ сразу нарушилось, дав сильный крен влево. Активное участие в руководящих комис-

---

[17] Привожу вкратце содержание обеих исключительно интересных статей Кларенса В. Холла.

сиях и комитетах дало возможность «чекистам в рясах» применять право вето в отношении всего, что не шло в политическом «фарватере» коммунистической иностранной политики. «Русские представители фактически стали диктаторами в МСЦ, такой итог подводит один из диссидентов», – пишет Кларенс Холл. Участие представителей церквей Восточного блока сразу же привело к утрате последних признаков свободомыслия в Совете Церквей. Политическая заостренность политики МСЦ стала полностью направляться на критику западной демократии. «Антиамериканизм как основа христианского единения заменил собой Никейский Символ Веры», – так сказал Джон П. Рош, бывший председатель общества «Американцы за демократическую акцию». А редактор либерального протестантского журнала «Крисчэн сенчури» Харолд Фэй писал, что антиамериканские высказывания на конференции МСЦ, происходившей через пять лет после принятия Восточных Церквей (1966 г.), его глубоко потрясли.

Теперешний патриарх Пимен, фактически назначенный на этот пост руководством компартии, как «свой в доску», уже давно выступал именно в этом политическом антиамериканском стиле[18]. В свое время он писал в «Известиях»: «Мы

[18] 21 февр. с. г. в «Нью-Йорк таймс» была опубликована телеграмма из Тель-Авива о встрече с печатью трех раввинов, не так давно эмигрировавших из Совсоюза. Эта пресс-конференция состоялась по их инициативе в Иерусалиме. На ней выступили секретарь недавно умершего московского главного раввина Иехуды Лейб Левина, раввин Мордехай Ханзин, раввин Израиль Бронфман из Одессы и Яков Элишковский из Москвы. Они рассказали, что КГБ стремилось поставить на пост главного московского раввина своего агента, а именно – Израиля Шварцблатта из Одессы. По их сведениям, Шварцблатт уже давно сотрудничает с КГБ. В течение долгих лет Пимен и Никодим – ив своей церковной политике, и в политических выступлениях – без сучка и задоринки проводят генеральную линию компартии. Зная «основы ленинизма», мы нисколько не удивимся, если кто-нибудь и их, наконец, разоблачит, как Израиля Шварцблатта.

заявляем свой решительный протест против начавшейся агрессии и призываем правительство США к прекращению военных действий и к выводу войск из Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи». А на торжестве интронизации этого самого малоуважаемого Пимена – в присутствии представителей *автокефальной «Православной Церкви в Америке»,* архиепископа Киприана, протоиерея Е. Пьяновича и профессора О. Д. Григорьева – было оглашено Окружное Послание Московского Собора с призывом к христианам (!!!) всего мира «бороться за прекращение американского вооруженного вмешательства во внутренние дела народов Юго-Восточной Азии». Причем американская политика была названа «реакционной, человеконенавистнической, проводимой империализмом, стремящимся к мировому господству». В том же стиле говорил и сам патриарх Пимен на торжественном приеме после интронизации.

Как же – слушая всю эту гнусную и для христианина преступную ложь – чувствовали себя *американцы, представители автокефальной «Православной церкви в Америке»?* Сведений не имеется. Никак. Американские дипломаты в таких случаях иногда хоть «покидают зал заседания». Ну, а эти? Выслушали и пошли к омерзительно роскошным, гнущимся от жратвы и обутыленным столам – есть икру, запивая московской «белой головкой». Для «автокефалии», для американской «независимости» – хорошая иллюстрация.

Кто же вел и ведет эту якобы «церковную» и якобы «христианскую», а на самом деле чисто политическую антиамериканскую и прокоммунистическую акцию в недрах МСЦ? Ее вел и ведет неутомимый «чекист в рясе» митрополит Никодим по директивам своего непосредственного начальства, председателя Совета по делам религии при Совете Министров СССР В. А. Куроедова, у которого Никодим давно состоит «на тайных послушаниях».

В статье «Должны ли мы финансировать революцию?» Кларенс Холл приводит – для рядового читателя – потрясающие факты. Разумеется, подрывная московско-ленинская работа, которую в недрах МСЦ ведут «чекисты в рясах», прикрыта самыми благовидными и даже самыми христианскими заповедями. Например. В сентябре 1970 г. МСЦ принял к исполнению «Программу борьбы с расизмом» и в исполнение этой программы выдал некоторым представителями африканских государств первые 200.000 долларов. Кому же эти деньги были выданы? Оказалось, что четырнадцать представителей из девятнадцати этих организаций известны, как участники партизанских террористических акций, а четыре организации, исключительно щедро поддержанные МСЦ, просто коммунистические. Причем три из этих организаций получают оружие из СССР. За всеми четырьмя организациями числятся кровавые террористические акты.

Кое-какие протесты против этого были. Но что они значат, когда фактическая сила у большинства МСЦ? Лондонский «Тайм» писал, например: «Теперь африканские бунтари будут утверждать, что их деятельность поддерживается и благословляется церковью». Немецкая газета «Ди Вельт» совершенно справедливо указывала: «Христианская вера и террористические акты несовместимы». Известный британский комментатор М. Магеридж спрашивал: «Какое отношение имеет все это к утверждению Царства Христова, то есть к главной цели всей деятельности МСЦ?» Но все такие протесты были гласом вопиющего в пустыне.

В конце прошлого года МСЦ организовал сбор средств на поддержку американских дезертиров, проживающих в Канаде и Швеции. А юношеский отдел МСЦ приступил к изданию журнала «Риск», где призывал американскую молодежь дезертировать из армии. На возмущение и смятение, которые вызвали все эти действия руководителей МСЦ, они отве-

тили: «Христиане должны заниматься и социальным переустройством общества <...> в прошлом мы обычно это делали мирным путем, а сегодня значительное числа приверженных служителей Христа и их последователей заняли более революционные позиции». «Революция для церковных лидеров имеет различное значение, – заявил один из представителей МСЦ, – и это значение может меняться в зависимости от того, о какой стране идет речь».

Первый шаг от политики мирного развития общества к одобрению революционных методов борьбы был сделан на Женевской мирной конференции в 1966 году. А в 1968 году в Лондоне на «консультативном» совещании даже наиболее «умеренный» оратор, священник Ч. Е. Филипс утверждал, что «если церковь действительно хочет атаковать расизм, она должна не только проповедовать любовь, но и поощрять силу. Там, где общество окажет сопротивление, церковь должна, не стесняясь, помогать развитию единственной реальной силы – силы мятежной – и всячески возбуждать ее к действию». Как показатель атмосферы на этих собраниях МСЦ, за кулисами которого действуют «чекисты в рясах», одним оратором цитировались даже слова Мао Цзе Дуна: «Политическая сила вырастает из ружейного ствола». Возмущение этими действиями МСЦ было настолько велико, что даже сам архиепископ Кентерберийский, бывший председатель МСЦ, осудил «боевую программу».

Надо особенно подчеркнуть, что кегебистская работа в МСЦ легко поддерживается и очень легко проводится благодаря исключительному легкомыслию, преступной наивности и полнейшей невежественной неосведомленности множества «либеральных» католиков и протестантов о положении церкви и верующих в Совсоюзе.

Общая атмосфера в МСЦ сейчас – по статье Кларенса Холла – такова, что теперь не может уже МСЦ и решиться

обвинить в чем бы то ни было Совсоюз. Так, в первые двадцать четыре часа после вступления советских войск в Чехословакию в августе 1968 года, почти каждая свободная церковь публично осудила эту варварскую агрессию. Но этого не сделал МСЦ. Только спустя неделю, когда советские танки уже раздавили Чехословакию, генсек МСЦ выступил с «тепленьким», едва заметным осуждением Москвы. Так работает Никодим со своими подручными в недрах МСЦ.

То, что для нас, русских, особенно важно, так это указание Кларенса Холла на то, что «ни в чем МСЦ не проявил такой преступности, как в отказе от защиты десятков тысяч верующих, подвергающихся жестоким преследованиям в СССР...» Комментируя конференцию МСЦ в Упсале, шведский священник Кнут Норберг говорит: «Проблемы, касающиеся расового вопроса, мятежи и насилия в МСЦ обсуждались свободно и темпераментно. Но как только дело касалось положения за железным занавесом, воцарялась мертвая тишина. Почему же, – спрашивает Норберг, – мировая церковная организация отказывается замечать все усиливающиеся призывы о помощи из лагерей, тюремных камер и штрафных казематов, где мучаются и умирают братья-христиане? Что это? Если все это происходит в результате проведения в жизнь специально разработанной МСЦ тактики, то не является ли такая тактика тотальной капитуляцией перед Советским Союзом и его марксистко-ленинской религией?»

Сейчас одну из забот МСЦ составляет дальнейшее сближение МСЦ с коммунистами. Проявляется это в настойчивом налаживании марксистско-христианских «диалогов», причем коммунисты горячо приветствуют эту деятельность МСЦ как «начинание огромной важности в деле усиления новых либеральных течений в религиозном мире». И это несмотря на то, как сказал профессор Чикагского университета Мартин Е. Марти, что «XX век видел многие тысячи христи-

анских мучеников, погибших от рук людей, называющих себя марксистами».

Что дали два года «Автокефалии»?

В 1970-м я высказал мнение, что «дарование» Американской митрополии так называемой «автокефалии» надо рассматривать *политически,* «как диверсию в лагерь противника для уничтожения этого лагеря», то есть, как обычную большевицко-ленинскую «военную хитрость». Для всякого здравомыслящего человека, знающего «основы ленинизма» и понимающего, что Московская Патриархия для партии только орудие пропаганды и действия, это ясно.

В кн. 101-й «Нового журнала» я дал отзыв о сборнике «Автокефалия» и мельком упомянул о лицах, ведших с Никодимом тайные переговоры о даровании автокефалии. Мне стало известно, что мое мнение – в обеих книгах «НЖ» – вызвало негодование среди приверженцев «автокефалии» и особенно среди иерархов митрополии – партнеров по переговорам с Никодимом.

По правде говоря, негодование это мне непонятно. Ведь обвинял-то я в диверсии КГБ и его агентов в лице так называемого митрополита Никодима, явно состоящего у КГБ «на тайных послушаниях». Митрополию же я считал всего-навсего жертвой политического легкомыслия и, может быть личного честолюбия некоторых ее высших иерархов, «поверивших» в «правду» Никодима. «Повернуть колесо истории церкви» – для честолюбца, в особенности легкомысленного, – перспектива не без соблазна. Отметим, кстати, что из кругов митрополии нам известно, что митрополит Ириней до последней минуты был противником получения этой «автокефалии» от Куроедова – Никодима. Но под конец он был сломлен своим проникодимовским окружением.

Конечно, вопрос об «автокефалии» окончательно разрешит только время. Оно полностью выявит все. Но думаю, что уже сейчас время поддерживает меня, а не партнеров Никодима. Обратимся к фактам. Со дня «дарования» автокефалии прошло два года. И некоторые итоги, еще не окончательные (окончательные будут, наверное, много хуже) подвести уже можно. Каковы они? Прежде всего, оправдалось ли что-нибудь из того «куроедовского договора» («Томоса»), который был заключен формально между Американской митрополией и покойным патриархом Алексием (а фактически между Американской митрополией и председателем Совета по делам религии при Совете Министров СССР В. А. Куроедовым). Кстати, в книге Петра Дерябина «Тайный мир» говорится, что предшественник В. А. Куроедова на этом посту, Г. Г. Карпов, имел в КГБ чин генерал-майора. Надо полагать, что и у Куроедова не меньший чин.

О благодатном церковном акте и о последствиях дарования автокефалии наиболее оптимистически высказывался парижский «Вестник РСХД». С моей точки зрения, это были предельно наивные и необдуманно оптимистические высказывания. Разберем их. Наиболее полно они выражены в статье прот. Г. Беннигсена в № 95–96 «Вестника РСХД».

Прот. Г. Беннигсен писал: «Совершенно ясно, что в настоящее время Московская Патриархия готова признать Американскую Митрополию автокефальной Православной Церковью в Северной Америке на самых нормальных канонических основаниях, которые можно суммировать в нескольких формулах». Дальше идут эти самые «формулы». Прот. Г. Беннигсен пишет: «В качестве автокефальной поместной Церкви Митрополия ожидает признания себя таковой со стороны всех остальных поместных автокефальных церквей». Оправдались ли эти ожидания? Произошло ли что-нибудь подобное за эти два года? Нет. Произошло как

раз обратное. Четыре самых древних православных патриархата резко и категорически отвергли законность «дарования» Москвой автокефалии, несмотря на все усилия и поездки на Ближний Восток, например, епископа Дмитрия и прот. А. Шмемана. Даже находящаяся в коммунистической стране Румынская Православная Церковь не признала «дарования» автокефалии Москвой.

Больше того. Входившая раньше в состав руководства Постоянной конференции православных епископов в Америке (в лице митрополита Иринея), Американская митрополия, после принятия ею «автокефалии» от Москвы, выпала из этой высшей православной организации. На последних выборах в январе с. г. в правление ее оказались избраны: председателем – греческий архиепископ Иаковос, товарищем председателя – карпато-русский епископ Джон Мартин, казначеем – епископ украинской православной церкви Андрей Кущак и генеральным секретарем – греческий протоирей Роберт Стефанопулос. Эти выборы означают изоляцию в Америке так называемой «Православной церкви в Америке». Поместные православные церкви – вопреки ожиданиям партнеров Никодима – ее не признали.

После Америки диверсия Никодима, направленная на Русскую Православную Церковь во Франции, поддерживаемая теми же его партнерами по тайным переговорам, потерпела тоже неудачу. Возглавляемая архиепископом Георгием Русская Православная Церковь во Франции, объявив свою автономию, перешла в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

В другой «формуле» прот. Г. Беннигсен писал: «Московская Патриархия убирает свой Экзархат с территории автокефальной Православной церкви в Америке, оставляющей за Патриархией право на подворье в г. Нью-Йорке, обслуживаемое духовным лицом не в епископском сане». И эта «фор-

мула» оказалась детской наивностью партнеров Никодима. Московская Патриархия, как и раньше, сохранила за собой все сорок три прихода в Северной Америке и все приходы в Канаде. Она попросту «обманула» своих партнеров разговорами «о подворье», и против этого обмана митрополия не возражает и возражать, наверное, не может. Что *же* касается «обслуживанья подворья духовным лицом, но не в епископском сане...», то после подписания договора об автокефалии в Америке появился никодимовский посланец, епископ Уманский Макарий, проявляющий кипучую энергию. В Питсбурге, например, он не только сослужил митрополиту Иринею без всякого на то приглашения архиепископа Питсбургского Амвросия[19], но и выступил после богослужения с «патриотической» речью о любви «к Родине» (с большой буквы).

Следующая «формула» прот. Г. Беннигсена оказалась не менее фантастичной. Он писал: «Московская Патриархия передает автокефальной церкви все имущественные права, за исключением вышеупомянутого подворья». Увы, на это «Томос» Московской Патриархии ответил с полной ясностью: «Св. Николаевский собор с его имуществом и находящейся при нем резиденцией, а также имение в Пайн-Буш будут управляться Святейшим Патриархом Московским и всея Руси через посредство представляющего его лица в пресвитерском сане». Дальнейшая «формула» прот. Г. Беннигсена не

---

[19] В «Новом русском слове» было напечатано письмо архиепископа Амвросия о выходе его из Американской Митрополии. Архиепископ Амвросий пишет: «Давно страдая от последствий получения автокефалии Американской Митрополией от Москвы и от все большего сближения ее с Московской Патриархией, я смущался сердцем от своего невольного участия в этом деле. Вследствие моего принципиального расхождения с курсом Американской Митрополии я теперь нашел для себя невозможным дальнейшее пребывание в ней по принципиальным основаниям. Поэтому я заявил митрополиту Иринею о выходе моем из состава Американской Митрополии».

поддается ясному осязанию. Он писал: «Все претензии Московской Патриархии на какую бы то ни было зависимость от нее автокефальной церкви в Америке прекращаются». Но о какой «зависимости» идет речь? Ведь признание митрополией патриархии как «церкви-матери» несомненно воссоздает некую «духовную» связь, а через нее и не только «духовную», а вероятно, и многие жизненно-практические связи. Это естественно. Вот не так давно в патриаршем св. Николаевском соборе совершали торжественную литургию три высоких иерарха: архиепископ Филадельфийский и Пенсильванский Киприан (тот самый, который представлял митрополию в Москве на интронизации патриарха Пимена и даже фотографировался с ним), архиепископ патриаршей церкви Досифей и уже упомянутый епископ Макарий. Конечно, сослужение – это действие церковное и духовное. Но ведь после-то сослужения, вероятно, остаются все-таки и простые человеческие отношения и связи?

Читая «формулы» несбывшихся надежд иерархов митрополии, ведших тайные переговоры с Никодимом, невольно вспоминаешь хорошую английскую поговорку: «Садясь есть с чертом, запасись большой ложкой». В этих тайных переговорах с Никодимом «большая ложка» оказалась, несомненно, в руках Никодима.

В разгар полемики в русской эмиграции по поводу «автокефалии» один видный иерарх митрополии, участник всей этой «тайной» акции с Никодимом, так морально определил свою позицию: «Сила наша в том, что мы наивно принимаем это и как бы говорим Москве: мы верим, что вы поступите так, как говорите. Поэтому если тут обман, то совесть наша чиста: обман падает на Москву, но не на нас, стыдом и позором». Не знаю, видит ли этот иерарх, что на Москву обман уже «пал стыдом и позором», только Москва и ухом не ведет. А митрополия вынуждена молчать. Ленинцы обманули мит-

рополию, поставив ее именно в такое положение, *какое им нужно:* то есть в положение изоляции от других православных поместных церквей.

Вот что на эту тему пишет протопресвитер Александр Шмеман, и пишет, по-моему, очень правильно: «Нет в христианской вере более важного и нужного призыва, чем призыв различия духов – от Бога ли они; нет более губительной опасности, чем подмена, подделка и ложь» («Зрячая любовь», «Вестник РСХД» № 100, стр. 147). Но неужели протопресвитер А. Шмеман думает (и нравственно уверен!), что «призывы» Никодима были «призывами от Бога», а не «подменой, подделкой и ложью» В. А. Куроедова? Неужели с самим Куроедовым нельзя вести переговоры только потому, что он в штанах и в пиджаке, а с Никодимом можно только потому, что он в рясе?

Тут поднимается невольный и большой вопрос (о благодати): может ли прикрыть ряса прохвоста? Или прохвост остается прохвостом и в рясе? Может быть (с точки зрения некоторых людей), я держусь «еретического» мнения, но искренне говорю, что я не верю в то, что ряса прохвоста покрывает. И думаю, что прав был Владимир Соловьев, когда в письме к Льву Толстому (2 авг. 1894 г.) писал: «Только лицемеры и негодяи могут ссылаться на благодать в ущерб нравственным обязанностям». То же говорил и св. Василий Великий в учении о благодати: *от свободы человека зависит как сохранение и приумножение, так и потеря благодати.*

Мы не только не отождествляем Никодима с Русской Православной Церковью в СССР. Мы (согласно с великомучеником Б. В. Талантовым) противопоставляем Никодима Церкви. Он противостоит ей так же, как Куроедов. И когда иерархи митрополии садятся за один стол с Никодимом вести «тайные переговоры» – они ведут их с чертом.

АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГРЕКО-КАФОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ (МИТРОПОЛИИ) АМЕРИКИ (ВСЕСЛАВЯНСКОЕ ИЗД-ВО. НЬЮ-ЙОРК. 1970)

Книга начинается с истории вопроса об отношениях большевицкой власти и православной церкви. Даются выдержки из «Посланий» св. Патриарха Тихона, как известно, предавшего большевиков анафеме: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это дело поистине сатанинское <...> Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас <...> Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение: „Изымите злаго от вас самих...“»

Далее идут документы, освещающие вопрос о том, как была «дарована» Московской Патриархией «автокефалия» и кто вел эти сугубо тайные переговоры с Никодимом почти семь лет. Первый контакт с Никодимом произошел, оказывается, еще в 1961 году. Американский журнал «Ньюсуик» передает репортаж своего корреспондента о том, что происходило в Нью-Дели, в Индии, на Третьей Ассамблее Национального Совета Церквей:

«Желая сгладить отношения, Никодим высказал мысль, что его визит в США мог бы помочь выяснить все вопросы. Эта идея .произвела потрясающее впечатление на архиепископа Иоанна Сан-Францисского, делегата Русск. Прав. Церкви. – «Может быть, – ответил он, – неофициальная встреча могла бы быть устроена через немного лет, но только вне США». – «Почему вне?», – спросили советские. Один из помощников архиепископа ответил: «Американская пресса

убила бы нас!» У советских заблестели глаза: „Значит, кто из нас более свободен, вы или мы?“» («Ньюсуик», 11 дек. 1961).

Эти неофициальные встречи митрополита Никодима и архиепископа Иоанна Сан-Францисского (и других иерархов митрополии) начались с 1963 года, но, действительно, не в Америке, а в Швеции и Швейцарии. Велись они в глубокой (почему бы это?) тайне и от православных прихожан и от православных клириков в США. А закончились в 1970 г. «дарованием автокефалии», согласно духу которой «митрополия» стала «духовной дочерью» Московской Патриархии.

Как оправдание принятия этой «автокефалии» в книге полностью перепечатана статья профессора А. А. Боголепова «Исторический путь американской митрополии». В ней знаток канонического права А. Боголепов весьма искусно (комар носа не подточит) защищает принятие автокефалии с канонической точки зрения. Правда, одно место его защиты нам не кажется убедительным. Это когда автор ссылается на исторический факт провозглашения автокефалии Русской Православной Церковью «вследствие подчиненности Константинопольского Патриарха турецкой власти» (т. е. султану. – *Р. Г.*). Мы осмеливаемся думать, что власть большевиков-ленинцев гораздо хуже власти турецкого султана, ибо в «программе» турецкого султана не было задачи искоренения всех религий, как таковых. Турецкие султаны не называли веру в Бога «труположеством», как называл Ленин. Эту заповедь его исповедует как вся КПСС (включая, конечно, и фактического управляющего делами Православной Церкви в СССР т. Куроедова).

Никакой турецкий султан не объявлял, как Ленин, что «всякая мысль о Боге есть чудовищная подлость!» Но тем не менее статья А. А. Боголепова была бы убедительна, если б в другом документе в этой же книге не были приведены высказывания о Московской Патриархии того же самого профес-

сора А. А. Боголепова из его книги «Церковь под властью коммунизма» (Мюнхен, 1958). В этой своей книге А. А. Боголепов пишет, что принятая в Москве система «налагает яркий отпечаток на систему подбора личного состава священнослужителей Церкви и является одним из лучших опровержений ходячего утверждения, что Православная Церковь пользуется свободой внутреннего управления» (стр. 42). Далее Боголепов говорит, что Московская Патриархия неизменно «поддерживает основные политические цели коммунизма» (стр. 78). Стало быть, и искоренение религии тоже? И, наконец, А. Боголепов, на наш взгляд совершенно правильно, утверждает, что «преодолев раскол живоцерковников и обновленцев, позднейшие руководители Патриаршей Церкви не могли найти иного выхода для сохранения ее, как, переступив через переходные формулы патриарха Сергия, принять в основе политические воззрения Живой Церкви» (стр. 79). Очень верно. Только читатель удивлен неувязкой этих взглядов профессора А. Боголепова с его теперешней защитой принятия автокефалии из рук именно вот этих «живоцерковников», «поддерживающих политические цели коммунизма».

Среди других документов в защиту «автокефалии» напечатано и «Послание» архиепископа Иоанна Сан-Францисского, но о нем мы предпочитаем не говорить, до того это «Послание» написано не только уж «не в духовном плане и не в духовном стиле», а просто, надо сказать, в бестактном стиле, с личными выпадами против неугодных автору лиц (А. Л. Толстая, С. С. Белосельский) и с такими выдуманными утверждениями, как, например: «Для Америки очень важен факт, что Экзархат Московской Патриархии прекращает свое существование в США». Откуда же это следует? Неужто только из того, что этот «Экзархат» переименовался в «Управление»? Но ведь в ведении этого «Управления»

так и остались все те же патриаршие приходы в США (сорок три!) и все патриаршие приходы в Канаде, которые, согласно «Томосу», «будут управляться Святейшим Патриархом Московским и всея Руси через посредство одного из его викарных епископов». Слепому ясно, что перемена тут только в названии. И утверждение архиепископа Иоанна Сан-Францисского мы вынуждены признать действительности не соответствующим. Напротив, с «дарованием автокефалии» позиция Московской Патриархии в США чрезвычайно укрепилась и усилилась. Это «дарование» уже использовано и в международной и в американской печати, и в международном и в американском общественном мнении как доказательство коммунистического «либерализма». А московские епископы уже начали не только сослужать епископам митрополии, но и выступать (в присутствии иерархов митрополии) с проповедями «о миротворческих усилиях нашей дорогой Родины», как уже выступал епископ Макарий. Это как раз то, что нужно ленинцу Куроедову и компартии.

Прав был покойный первоиерарх митрополит Феофил, когда с амвона он так говорил о московских посланцах: «... Приехал сюда архиерей. Заявляю вам, дорогие, с этого святого места, что этот посланец пожаловал к нам, чтобы нарушить течение нашей жизни, уничтожить мир, внести раздор и смуту. Предупреждаю вас, что он будет рассказывать вам о благоденствии Церкви в России. Все это – неправда! Это – ложь! Не поддавайтесь обману этих лжецов. Никакого общения, дорогие братья и сестры, с чекистами быть не может!» (НРС, 8 авг. 1947 г.).

Так в 1947 году говорил первоиерарх митрополии Феофил. А вот что сейчас говорит о политике Москвы по отношению к свободной русской православной церкви за рубежом мученик, писатель по церковным вопросам, советский гражданин Б. В. Талантов, томящийся теперь не то в

мордовских концлагерях, не то во Владимирской тюрьме: «Деятельность Московской Патриархии за границей является сознательным предательством Русской Православной Церкви и христианской веры. Но настанет время разоблачения предательской деятельности Московской Патриархии за границей, час суда над митрополитом Никодимом!» (см. «Вестник РСХД, № 89–90,1969).

И это говорит настоящий мученик за свою веру, в то время как комфортабельно живущие в полной свободе на Западе главные деятели по получению автокефалии из рук Никодима (с разрешения Куроедова – т. е. партии!) получают за «автокефалию» всяческие награды. Отсылаю к стр. 170 отчетной книги:

Митрополит Ириней – титул «блаженнейшего», прот. А. Шмеман – сан протопресвитера, прот. И. Мейендорф – наперсный крест с украшениями, священник К. Фотиев – сан протоиерея с правом ношения золотого креста с украшениями (этот священник сопровождал митрополита Никодима на Аляску). Архиепископ же Иоанн Сан-Францисский получил «право ношения бриллиантового креста на клобуке». Было бы хорошо, если б эти «золотые кресты с украшениями» и «бриллиантовые» были бы – от греха – проданы и вырученные деньги переведены для советских политзаключенных (верующих).

Заканчивая обзор книги «Автокефалия», хочу еще привести цитаты из «приветственного адреса» «Великому Вождю СССР генералиссимусу И. В. Сталину, в день его 70-летия». Подписан этот «незабываемый» по подхалимажу и лести адрес самим патриархом Алексием и семьюдесятью шестью (!)архиереями, что достаточно говорит о той степени низкой сервильности, после которой в людях отмирает человеческое. «Нам особенно дорого то, что в деяниях Ваших, направленных к осуществлению общего блага и справедливости, весь

мир видит торжество нравственных начал в противовес злобе, жестокости и угнетению, господствующим в отживающей системе общественных отношений <...> Как и все вообще интересы трудящихся, близки Вам и нужды верующих русских людей». К этой лжи и мерзости – не поднимается рука делать комментарии. «Приветственный адрес» цитирует А. Л. Толстая в своем письме об автокефалии от 24 декабря 1969.

Светлана Аллилуева

Хочу вспомнить как мы познакомились со Светланой. Это было у наших друзей, профессоров Дато и Ути Джапаридзе. Когда мы с Олечкой вошли в гостиную, Светлана сидела в кресле, глядя на нас чуть-чуть исподлобья. И от этого «исподлобья» у меня невольно мелькнуло: «До чего похожа на отца!» Вечер прошел в непринужденном разговоре обо всем. Светлана почувствовалась умной и прекрасно воспитанной.

Когда мы стали уходить и расцеловались с Дато и Утей, Светлана подошла ко мне и мы облобызались, после чего она облобызалась и с Олечкой.

Помню, выйдя на улицу, я сказал:

– Олечка, могло ли бы мне прийти когда-нибудь в голову, что я облобызаюсь с дочерью «отца народов»?!

После этой встречи у нас со Светланой установились дружеские отношения и переписка.

«Двадцать писем к другу»

Эту небольшую книгу берешь в руки с волнением. Дочь Сталина о Сталине и Советском Союзе. Судьба автора. Драматический побег. К тому же советское правительство своими протестами, нажимами против ее появления, присылкой за границу каких-то проходимцев, дабы хоть как-нибудь со-

рвать ее выход, – сделало книге небывалую рекламу. И вот книга в руках. Книга прочтена. И невольно задаю себе вопрос: в чем же дело, почему правительство лилипутов-рабфаковцев так взволновалось? Ведь никаких сенсаций в книге нет. Ничего, как будто, подрывающего основы режима. В этом смысле книгу Светланы нельзя и сравнивать с книгами В. Кравченко, Артура Кёстлера, Виктора Сержа, Бубер-Нейман, А. Орлова, И. Солоневича, А. Бармина, Ю. Марголина, Е. Гинзбург и со многими другими. И уж, конечно, не сравнить с речью Никиты Хрущева на XX съезде партии, опубликованной на Западе на всех языках и нанесшей международному коммунизму сокрушающий удар.

Книга Светланы не ставит себе целью, выражаясь поэтически, – «Рассказать обо всех мировых дураках, / Что судьбу человечества держат в руках. / Рассказать обо всех мертвецах-подлецах, / Что уходят в историю в светлых венцах» (Георгий Иванов). Это – искренне, просто написанная автобиография. Не совсем обычная по форме. Двадцать писем к другу. Лирический репортаж. Семейная хроника – о детстве и отрочестве автора, об ее отце, Иосифе Сталине, о матери, Надежде Аллилуевой, о близких. И тем не менее Косыгины правы. Чем-то подспудным эта книга должна быть им крайне неприятна. Прежде всего, разумеется, тем, что с младых ногтей воспитанная на идеологии Маркса-Ленина-Сталина, член КПСС, *дочь самого создателя* «социализма в одной стране» – бежит от этого чингисханского социализма. А глаза глядят на свободные страны, и прежде всего на страну «капиталистов, расистов и поджигателей войны» – США.

Ленин хорошо знал Сталина и говорил, что «сей повар любит готовить только острые блюда». Хорошо знал Сталина и Троцкий, в своих заграничных писаниях давший исчерпывающую характеристику Сталина-партийца и политика. Кое-что он рассказал и о Сталине-человеке. Например, как Ста-

лин, Дзержинский и Каменев где-то сидели, отдыхали, болтали, предаваясь приятельским разговорам. Собеседники задались вопросом: что самое приятное в жизни? Дзержинский и Каменев сказали что-то тривиальное. Сталин же дал сильную формулу. Он сказал: «Самое приятное в жизни это хорошо отомстить и пойти спать». Многолетний полпред СССР в Берлине Н. Н. Крестинский, старый большевик, тоже хорошо знавший Сталина, говорил о нем: «плохой человек с желтыми глазами». Вероятно, помимо всего прочего, и за это определение Крестинский заплатил «человеку с желтыми глазами» своим позором на московском процессе, где Сталин заставил его «признаться» в том, что он иностранный шпион и «враг народа». Но этого мало. В лубянском подвале Крестинский получил еще пулю в затылок. А его жена и дочь пошли куда-то в Сибирь. Сталин же «пошел спать».

За рубежом России литература о Сталине – громадна. Воспоминания бывших товарищей Сталина по начальной революционной работе на Кавказе, когда он был еще «Кобой», воспоминания видных советских бывших коммунистов и крупных чекистов, рисующих Сталина, уже стоящего у власти в СССР. Есть много интересного и в книгах и воспоминаниях иностранцев: у Милована Джиласа, у де Голля, у Черчилля, у многих других. Характерную подробность «стиля Сталина» рассказывал своим друзьям первый американский посол в советской Москве Вильям Буллит. Желая обласкать просоветски тогда настроенного Буллита, Сталин пригласил его как-то в свою ложу в Большом театре и там во время балета шепнул ему. «Выберите себе любую, какая вам нравится, и она придет к вам вечером». Это был циничный «ход конем». Но Сталин не «допонял», что это предложение потрясет западника Буллита и станет его начальным отталкиванием от страны «победившего социализма». Думаю, Буллит все-таки не понимал, что в ложе с ним сидит вовсе не

«глава государства», а – подпольщик, заговорщик, Петр Верховенский (пусть не столь диалектически блестящий). Иностранцы ведь до сих пор «бесовщины» большевизма не понимают. Они думают, что когда Хрущев стучит грязным ботинком по пюпитру в зале Объединенных Наций, это всего-навсего невоспитанность. Нет, это целая программа. Это нормальный жест того низменного, хамского нигилизма, которым пропитана вся эта ленинско-нечаевская КПСС.

Жуткую подробность о жестокости Сталина рассказывает в своей книге бывший видный чекист Александр Орлов (псевдоним). В 1936 году на банкете (Светлана называет эти сталинские «пиры» – застольями и говорит, что они правильно описаны Милованом Джиласом в его «Разговорах со Сталиным»), – так вот, на таком застолье чекистов во главе со Сталиным один из близких к Сталину чекистов, Паукер, когда все пировавшие были уже в сильном подпитии, сымпровизировал перед «отцом народов» сцену, как Григория Зиновьева тащат чекисты на расстрел, в подвал, и как Зиновьев, беспомощно повиснув на руках своих конвоиров, жалостно кричит, призывая на помощь старого еврейского Бога. Над импровизацией Паукера Сталин хохотал до упаду. Но это не помешало ему через два года расстрелять и этого самого (бывшего парикмахера) вельможу-чекиста Паукера, окрестив его «немецким шпионом».

Характеристика Сталина-тирана, залившего Россию кровью (по пути к «социализму», конечно!), установившего на Шестой части земли небывалую систему террора (по численности убитых Сталин во много раз превзошел Гитлера!), эта характеристика на Западе давно установлена и неоспорима. Но вот перед нами книга его любимой дочери. Противоречит ли она этому установившемуся облику Сталина?

Нет. Напротив, некоторыми подробностями эта книга даже подчеркивает уже известные нам характерные черты

Сталина. Та же – жестокость. Сталин не любил своего сына Якова (от первой, рано умершей жены, Сванидзе) и своим жестоким обращением довел Якова до попытки самоубийства. Яков стрелялся. Но в сердце не попал, остался жив. Как же к этому отнесся его отец? Светлана пишет: «Доведенный до отчаяния отношением отца <...> Яша выстрелил в себя у нас на кухне, на квартире в Кремле. Он, к счастью, только ранил себя – пуля прошла навылет. Но отец нашел в этом повод для насмешек: «Ха, не попал!..» – любил он поиздеваться». А когда во время войны Яков попал в плен, Сталин приказал арестовать его жену Юлию. Светлана пишет: «У него зародилась мысль, что этот плен неспроста, что Яшу кто-то умышленно «выдал» и «подвел» и не причастна ли к этому Юлия?» И Юлия ни с того ни с сего пробыла два года в тюрьме. Кстати, Юлия была еврейка. Светлана пишет, что Сталин был недоволен тем, что его сын женился на еврейке. О некотором антисемитизме Сталина было давно известно. Но Светлана пишет даже о его «ненависти к евреям». Стало быть, между расистом Гитлером и марксистом Сталиным разница не так уж велика.

Вот еще черта полной бесчеловечности Сталина. В 1937 году известный вельможа-чекист, сподвижник Дзержинского Станислав Реденс подвернулся Сталину «под руку» во время «великой чистки» (Берия подставил Реденсу ножку), и Сталин его безжалостно «шлепнул». Реденс был свояк Сталина, он был женат на Анне Аллилуевой, сестре Надежды. Светлана весьма нежно описывает эту «святую дурочку» Анну, обожавшую своего Стаха и всегда волновавшуюся по всяким добрым «малым делам». Эта «христианка» (по мнению Светланы) считала своего мужа-чекиста «самым лучшим, самым справедливым и самым порядочным человеком на земле». Естественно, что такая Анна раздражала Сталина, он называл ее «дурой», говорил, что ее «доброта хуже подлости», и когда

Анна никак не могла поверить, что «самый порядочный человек на земле», ее Стах, расстрелян (в том же подвале, где по его приказам расстреливали тысячи людей), это неверие Анны настолько взбесило Сталина, что он, как говорит Светлана, «сам безжалостно сообщил ей об этом». А в 1948 году эту самую «юродивую Анну» Сталин приказал арестовать, и она пошла в Сибирь вместе с женой ближайшего сталинского друга Молотова – Жемчужиной. В тюремной одиночке Анна провела шесть лет, кончив шизофренией. После смерти Сталина ее освободили.

Из книги Светланы я беру только два примера жестокости Сталина, которые вполне соответствуют сложившемуся у нас образу этого, конечно – человека-чудовища. Но было бы неумно со стороны читателя ждать от Светланы каких-то «разоблачений» Сталина в стиле Троцкого. Во-первых, Светлана не политик, во-вторых, в самый разгар террора она была ребенком, она многого не знала и не могла знать. А главное, Светлана – **родная дочь** Сталина, которую он в детстве и отрочестве нежно любил, носил на руках, баловал, целовал. Сталин не переносил Светланиных слез и ее детских огорчений, Сталин был добрым отцом (говорят, что Гиммлер был примерным семьянином). Как же может Светлана выбросить из своего сердца, из воспоминаний детства и отрочества эту любовь отца и свою любовь к нему? Она ее, естественно, и не выбрасывает.

В 1938 году, в разгар страшнейшего террора, когда тюрьмы, изоляторы, концлагеря были переполнены ни в чем не повинными, оговоренными людьми, которых чекисты пытали и убивали, Сталин писал своей дочери «Сетанке» (так он ее ласкательно называл) полные любви и заботы письма:

«Здравствуй, моя воробушка! Письмо получил. За рыбу спасибо. Только прошу тебя, хозяюшка, больше не посылать мне рыбы.

Если тебе так нравится в Крыму, можешь остаться в Мухолатке все лето. Целую тебя крепко. Твой папочка» (7 июля 1938 года).

«Моей хозяюшке – Сетанке – привет! Все твои письма получил. Спасибо за письмо! Не отвечал на письма, потому что был очень занят. Как проводишь время, как твой английский, хорошо ли себе чувствуешь? Я здоров и весел, как всегда. Скучновато без тебя, но что поделаешь – терплю. Целую мою хозяюшку» (22 июля 1939 года).

Светлана хорошо описывает свои чувства при вечном расставании с отцом, с этим, как она сама пишет, «ужасным человеком»: «Как странно, в эти дни болезни, в те часы, когда передо мной лежало уже лишь тело, а душа отлетела от него, в последние дни прощания в Колонном зале – я любила отца сильнее и нежнее, чем за всю свою жизнь <...> В те дни, когда он успокоился, наконец, на своем одре и лицо стало красивым и спокойным, я чувствовала, как сердце мое разрывается от печали и от любви <...> Я смотрела в красивое лицо, спокойное и даже печальное, слушала траурную музыку (старинную грузинскую колыбельную народную песню с выразительной грустной мелодией), и меня всю раздирало от печали. Я чувствовала, что я – никуда не годная дочь, что я никогда не была хорошей дочерью, что я жила в доме, как чужой человек, что я ничем не помогла этой одинокой душе, этому старому, больному, всеми отринутому на своем Олимпе человеку, который все-таки мой отец, который любил меня – как умел и как мог – и которому я обязана не одним злом, но и добром <...> Принесли носилки и положили на них тело. Впервые я увидела отца нагим – красивое тело, совсем не дряхлое, не стариковское. И меня охватила, кольнула ножом в сердце странная боль – и я ощутила и поняла, что значит быть «плоть от плоти»...»

Эта отринутость одинокого на своем Олимпе человека, эта шекспировская тема одиночества тирана, одиночества

Сталина если и не дана полностью в книге Светланы, то очень ярко намечена. В этом смысле характерен даже стиль личной жизни Сталина – он любил жить в очень большой, почти пустой комнате. «Никакой роскоши там не было – только деревянные панели на стенах и хороший ковер на полу были там дорогими», – пишет Светлана. В мрачной, громадной комнате – обязательный камин (Сталин любил огонь), диван, на котором он спал, и стол, где работал. В таком пуританском стиле, на мой взгляд, больше вкуса, чем в роскоши буржуазных особняков, куда после отъезда настоящих владельцев въехали коммунистические нувориши: Микоян и Ворошилов – в особняки нефтепромышленника Зубалова, Крыленко – в особняк купцов Морозовых и т. д. и т. п. На своей Ближней даче в Кунцеве в полупустых громадных комнатах, в полном душевном одиночестве жил этот тиран, создавший небывалую в истории террористическую систему, в которой, как пишет Светлана, «он сам задыхался от безлюдья, от одиночества, от пустоты». «Он был предельно ожесточен против всего мира. Он всюду видел врагов. Это было уже патологией, это была мания преследования – от опустошения, от одиночества <...> Отец не выносил вида толпы, рукоплещущей ему и орущей «ура» <...> «Разинут рот и орут, как болваны», – говорил он со злостью». Такого вполне зловещего облика Сталина никто еще не давал. «Вокруг отца как будто очерчен черный круг – все попадающие в его пределы гибнут, исчезают из жизни».

Сталин губил не только миллионы неизвестных ему людей, но и самых близких к нему, ибо в предельном одиночестве подозрительность тирана с годами становилась маниакальной. Образ Сталина под пером его дочери – убедителен. Но есть в книге Светланы утверждения, с которыми трудно согласиться. Прежде всего – со «злым влиянием» Берии на Сталина. Светлана пишет, что это злое влияние «не

прекращалось до самой смерти. Я говорю о *его* влиянии на отца, а не наоборот, не случайно. Я считаю, что Берия был хитрее, вероломнее, коварнее, наглее, целеустремленнее, тверже – следовательно, сильнее, чем отец… он знал слабые струны отца – уязвленное самолюбие, опустошенность, душевное одиночество, и он лил масло в огонь и раздувал его сколько мог и тут же льстил с чисто восточным бесстыдством». Такой портрет «маршала от НКВД» Лаврентия Берии нам кажется правильным. Начавший чекистскую карьеру с двадцатилетнего возраста Берия, конечно, был моральным идиотом, преступником и прохвостом. И Светлана убедительно рассказывает, как Берия боролся со всеми в окружении Сталина, кто ему казался или был ему опасен. Он «устранил» многих из самых близких к Сталину людей. Известна борьба с Ежовым, из которой Берия вышел победителем. Все это так. В борьбе чекистских «пауков в банке» Берия, разумеется, наушничал Сталину, составлял доносы, «легенды», «признания», «показания». Но ведь такой Берия у Сталина был не один. Таких «малют» у Сталина было несколько: Поскребышев, Ягода, Маленков, Микоян, Хрущев и другие. Все это были «мелкие бесы», выполнявшие грязные и кровавые поручения «отца народов».

Но на общую политику Сталина никто влиять не мог. Это была *его* политика. Для такого влияния Берия, как и другие «малюты», был слишком мелкотравчат, что и доказал его быстрый конец, как только он остался без Сталина. При Сталине, обороняя чужими смертями свою карьеру, Берия, как и Ягода, был всего-навсего – сохраняя все пропорции исторических фигур – Фуше при Наполеоне. Ведь сама же Светлана пишет, что Сталин «был поразительно чуток к лицемерию, перед ним невозможно было лгать». Уже это одно уничтожает возможность такого влияния Берии, о котором она говорит.

Столь же неубедителен отвод от Сталина вины в убийстве Кирова. «Отец любил Кирова, он был к нему привязан, – пишет Светлана, – в причастность отца к *этой* гибели я не поверю никогда». Но «любовь Сталина» – довод крайне зыбкий и неубедительный. Сталин убил многих из тех, кого он «любил». Светлана и в этом убийстве хочет видеть руку Берии. Но тогда ведь не Берия, а верный пес Сталина – Генрих Ягода – был всесильным начальником НКВД! И все, что мы знаем на Западе об убийстве Кирова, говорит только об одном: Кирова убило НКВД (во главе с Ягодой) – стало быть, по прямой директиве Сталина.

Есть в книге и иные утверждения и мысли, с которыми трудно согласиться. Так, говоря об окружении Сталина – о «высшем свете» Кремля, о старых большевиках, которых в таком количестве перестрелял Сталин, Светлана впадает в чрезмерно (как мне кажется) патетический тон, вполне понятный в СССР, но непонятный свободному человеку, защищающему свою свободу и свободу своих ближних. Об этом «цвете» партии Светлана пишет: «Какие это были люди! Какие цельные, полнокровные характеры, сколько романтического идеализма унесли с собой в могилу эти ранние рыцари Революции – ее трубадуры, ее жертвы, ее ослепленные подвижники и мученики».

Кто же они, эти «рыцари», «трубадуры», «подвижники», «мученики»? Это та старая гвардия большевиков, которая поддержала Ленина в его каиновом деле – гражданской войны, физического истребления миллионов людей, в искалечении русской духовной культуры. Читая эти страницы книги Светланы, удивляешься. Неужто же она, отрекаясь от марксизма-ленинизма как догмы, от насилия, от террора, не понимает, что именно эти «светлые личности» большевизма, эти «трубадуры», «рыцари» и «подвижники» наиболее повинны во всей этой человеконенавистнической системе, что

существует уже шестьдесят с лишним лет? В том зле, которое принесла всей России (без различия классов и национальностей) эта заговорщическая, антинародная, преступная и похабная октябрьская революция, повинны именно «рыцари» и «трубадуры». Сталин не вышел из «пены морской», он – верный сын партии, истый ленинец, совершенно закономерное явление в развитии большевицкой террористической диктатуры. И если он оказался не только убийцей миллионов ни в чем не повинных людей, но и неким Возмездием для собственной партии, то в этом есть и своя справедливость.

Когда-то в 1917 году, перед захватом власти большевиками, я был в Пензе на большом митинге рабочих и крестьян (все они тогда были в солдатских шинелях). Митинг ревел. Митинг неистовствовал. И вот на красную трибуну, увитую кумачом, поднялся старенький меньшевичек. Похаживая по этому красному помосту, он в своей речи предупреждал «товарищей слева», большевиков, от захвата власти. Грозя куда-то в пространство стареньким, сухеньким пальцем, старичок-меньшевичок слабым голосом повторял такой рефрен: «Помните, товарищи, история злая старушка...» Меньшевичок-старичок был, конечно, и умен, и образован, и к тому же с интуицией. Тогда, в Пензе, он был пророком.

Старушка-история в России оказалась особенно зла. Перестреляв видимое-невидимое количество людей, она наконец – «в развитии революции» – подкралась и к самой партии большевиков в лице Сталина, как великое Возмездие. К этому Возмездию ни «теория классовой борьбы», ни «железные законы экономики» были уже неприложимы. Тут должны были прилагаться какие-то иные, пожалуй, мистические измерения. «Злом злых погублю». Ведь когда в те же самые чекистские подвалы те же самые большевики-чекисты волокли Зиновьевых, Каменевых, Рыковых, Бухариных, Крестинских, Раковский, Реденсов, Сокольниковых, Ягоду, Ежова

и тысячи других, это было справедливое и необходимое Возмездие, осуществляемое полубезумным в своей мании Сталиным. Смерти «трубадуров», «рыцарей», «подвижников», «мучеников» были нужны жизни, ибо были омыты кровью миллионов людей. И вряд ли стоит этих «трубадуров» хотя бы как-то оплакивать.

В своих тюремных воспоминаниях польский писатель Александр Берт рассказывает, как перед смертью в саратовской тюрьме умный, старый большевик Ю. М. Стеклов (Нахамкес) сказал ему: – «У всех у нас руки в крови». Эти слова были как предсмертная исповедь. И напрасно так патетически (а потому и нехорошо) Светлана написала о Сванидзе, Редензе, Павле Аллилуеве, Бухарине, Енукидзе. Пусть в частной жизни все они были милые и хорошие люди. Мы это знаем, в это верим. Но ведь именно они делали самую жестокую, самую кровавую в мире революцию, и злая старушка история была права, когда взяла их за горло, ибо их вина – наибольшая, они – «трубадуры» – были мозгом, совестью и моральным капиталом партии. Одни «рукастые» (по выражению Ленина) большевики никогда бы не могли ни захватить, ни удержать власть. К несчастью России (и всего мира!) это сделали «несгибаемые большевики», интеллигенты, «рыцари» и «подвижники».

Вспоминаю, как покойный друг, профессор Н. Е. Ефремов, рассказывал мне об одном поразительном случае его тюремных скитаний во время ежовщины. В камере с ним сидел бывший матрос, бывший чекист. Никаких иллюзий относительно своего конца у матроса не было. Он про себя все что-то шептал. «Может быть, молился», – сказал Ефремов. И этот матрос в своей потребности какого-то покаяния рассказывал Ефремову, как в свое время в Черном море они топили белых офицеров, привязывая их живыми к рельсам, и с этими рельсами выбрасывали в море. Когда час этого

чекиста-матроса настал и за ним пришли, вызвав «с вещами», он встал, перекрестился мелким крестом и, прощаясь с Ефремовым, шепнул ему: «Вот они, рельсы-то, когда выходят...»

«Рельсы выходят». К сожалению, не всегда вовремя, но все-таки часто «выходят». И в убийствах Урицкого, Войкова, Воровского, Кирова, Троцкого, Берии, в расстрелах старой большевистской гвардии Сталиным, в самоубийствах Гитлера, Геринга, Геббельса, Гиммлера, в повешении Эйхмана, Риббентропа, Розерберга – это все одни и те же «выходящие рельсы», которые *должны* выходить, иначе бы жизнь стала еще страшнее.

А. Орлов, со слов уже упоминавшегося чекиста Паукера, в свое время бывшего начальником личной охраны Сталина, рассказывает об одном остром столкновении Надежды Аллилуевой со своим мужем в Кремле. Мать Светланы будто бы закричала Сталину: «Ты мучитель, вот ты кто! Ты мучишь своего родного сына, ты мучишь жену, ты мучишь весь народ!»

Это очень похоже на Аллилуеву по всему тому, что мы о ней знаем. Не выдержав этого «всеобщего мучения», она застрелилась. Для честного человека-большевика, осознавшего, во что превратилась их революция, это был естественный выход.

В своей книге Светлана рассказывает, как любивший ее в детстве и отрочестве отец позднее стал постепенно от нее отходить, охладевать и наконец отошел вовсе. Почему? Когда Светлана кончила среднюю школу, Сталин настоял, чтобы она пошла на исторический факультет, чтобы стать серьезно образованным марксистом. Естественно, он хотел видеть в дочери *свою* Светлану, такую же, как он, «несгибаемую большевичку». Но судьба сулила иное. Светлана пошла не по пути отца, «несгибаемого большевика», а по пути трагически умершей матери. Сталин с годами это, вероятно, чувствовал. Чувствовал, что любимая им дочь становится, в сущности,

таким же «врагом народа», каким оказалась Надежда Аллилуева. И вот если бы Сталин был жив в дни побега Светланы из страны его чингисханского социализма, построенного на миллионах трупов и миллионах искалеченных жизней, он должен бы был воспринять этот побег как *ответ* ему мертвой Надежды Аллилуевой.

«Только один год»

Это было в самом логове мирового коммунизма, в Москве, в 1962 году. В бедной, маленькой православной церкви дочь Сталина приняла обряд крещения, став христианкой.

«Я никогда не забуду наш первый разговор в пустой церкви после службы». Я волновалась, потому что никогда в жизни не разговаривала ни с одним священником. От своих друзей я знала, что отец Николай прост, говорить с ним легко и что он всегда беседует, прежде чем крестить... В день крещения он волновался и, присев на скамейку, усадив меня рядом, сказал: «Когда взрослый человек принимает крещение, жизнь его может очень сильно измениться. Иногда в худшую сторону, как в личном плане, так и во всех отношениях. Подумайте еще, чтоб не жалеть после». Я ответила, что думала уже много и что ничего не боюсь. Он взглянул на меня, усмехнувшись: „Ну, знаете, не боятся – только избранные“».

Светлану крестил отец Николай (в миру Николай Александрович Голубцов), один из неизвестных, незаметных подвижников истинной веры. «Он крестил меня, дал мне молитвенник, научил простейшей молитве <...> он приобщил меня к миллионам верующих», – пишет Светлана.

Против издания в Америке первой книги Светланы «Двадцать писем к другу» советское правительство ожесточенно боролось, оказывая давление на американцев по всем явным и тайным каналам. Но благодаря твердости Светланы – «но я

упряма, благодарение Богу!» – книга все-таки вышла и была прочтена во всем мире при крайнем раздражении советских вождей.

«Только один год» – вторая книга Светланы. Косыгину, Брежневу, Суслову она еще неприятнее, ибо духовно она вся направлена против их тирании. «Только одни год» многим отличается от «Двадцати писем». Это естественно. Первая книга писалась еще в Москве, и автор, сам того не осознавая, был тогда все-таки под давлением пресса полицейского сверхгосударства, был внутренне несвободен. «Только один год» – книга иная, совершенно свободная, книга человека, давно внутренне сопротивлявшегося тирании и наконец вырвавшегося на свободу.

В смысле литературном «Только один год» прекрасно написан, от чтения не оторвешься, в этой книге мыслям свободно, а словам тесно. У Светланы обширный словарь, гибкий, выразительный язык, там, где она хочет, – хорошая ирония; иногда в двух-трех фразах как бы только намек о том, что она хочет сказать, – и нужная выразительность достигнута. Но кроме литературных достоинств, у этой книги есть и еще одно большое качество. «Только один год» – книга не только искренняя и честная, но и *умная.* А от этого – от ума – нас, к сожалению, часто пытаются теперь отучать многие современные литераторы-шарлатаны и литераторы-графоманы, заменяющие ум неумными выкрутасами и импотентной претенциозностью.

Светлане особенно удались описание ее крещения в Москве, ее состояние в Дели перед бегством в американское посольство, ее молитва в католическом храме во Фрибурге и вся глава об отце.

Для меня в книге Светланы – две главные темы. Первая – основная – любовь Светланы и Барджеша Сингха. Вторая – Сталин и связанная с ним подтема – сталинцы, «новый

класс». Конечно, все эти темы переплетены в повествовательной ткани. Но первые две – доминантны.

Любовь Светланы и Барджеша дана так психологически ясно и тонко, так духовно глубоко, как нечаянная, но долженствующая быть встреча в мире двух друг другу необходимых существ. Эта любовь оказалась в жизни Светланы той внутренней силой, которая пробила железную броню советской полицейской системы и сквозь все трудности выбросила Светлану в свободный мир. Как хорошо Светлана дает читателю почувствовать свою любовь к Барджешу – иногда в немногих словах внутреннего диалога с ним, уже умершим. Вот она вылетает из холодной Москвы, крепко прижав к себе сумку с урной праха Сингха. «Ну вот мы и летим с тобой в Индию, Барджеш Сингх. Тебе так хотелось этого, ты это мне обещал, и ты всегда выполнял обещания». Вот она уже в Индии. «Ну вот мы и приехали домой, Барджеш Сингх. Твоя добрая душа победила столько препятствий...» И Светлана летит дальше – бросить прах Сингха в воды священного Ганга. «Мы за 600 миль от Дели, в деревенской глуши, я никого не знаю вокруг и еду в незнакомую семью, но мне кажется, что я еду домой. Я прижимаю к себе, к своему боку сумку. Ты рад, что возвращаешься домой, Барджеш Сингх? Твоя душа радуется – и мы летим как на крыльях. Скоро, скоро уже, подожди... Сколько народа! Смотри, Барджеш, они пришли встретить тебя и проводить... Я отдаю тебя в добрые руки, теперь я спокойна... Мы смотрим на песчаный берег Ганга, куда выходит процессия. Весь берег полон народа, бегут мальчишки, вздымая песчаную пыль. Они удаляются от нас вниз по берегу, дальше, туда, где стоят лодки на глубоком месте, – прощай, Барджеш! Прощай... Я вдруг начинаю плакать, меня всю трясет, я не могу взять себя в руки...»

К этой любви Светланы и Барджеша хорошо подходит одно место из «Доктора Живаго»: «Они любили друг друга не

из неизбежности, не «опаленные страстью», как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотело все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим... Незнакомым на улица, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались. Ах, вот это, это ведь и было главным, что их роднило и объединяло».

«Только один год» при желании можно рассматривать именно как роман: судьба героя, и в центре ее – большая любовь двух *живых людей*, мечущихся в поисках духовного и физического выхода из СССР, заселенного тяжелыми, угрюмыми, звероподобными существами – в виде членов КПСС. Причем их портреты – этих неандерталов – Светлана дает бесподобно, без всякого нажима, а так – два штриха и – портрет.

Вот – Косыгин. Этот властитель России, выученик Сталина, малограмотная тупица, «премьер-министр». Он, конечно, занят высокими государственными делами, он почти вершит судьбы всего мира. Но у этого робота находится время и для того, чтобы вызвать Светлану к себе, в Кремль, в свой, бывший сталинский, кабинет, ибо КГБ доносит о любви Светланы и Барджеша и о желании их зарегистрировать свой брак. Партголовка в волнении.

«Косыгина я никогда не видела раньше и не говорила с ним. Его лицо не внушает оптимизма. Он встал, подал мне вялую, влажную руку и немного скривил рот вместо улыбки. Ему было трудно начать, а я вообще не представляла себе, как этот человек говорит.

– Ну, как вы живете? – наконец мучительно начал он, – как у вас материально?»

Косыгин, конечно, был вполне искренен, начав именно с этого «главного», с «материально», он же ведь – «исторический материалист».

«– Спасибо, у меня все есть, – сказала я, – все хорошо».

Косыгин и дальше искренне выговаривает, что Светлана «оторвалась от коллектива» и туда ей надо «вернуться». Но когда Светлана, говоря о Сингхе, естественно называет его «мой муж» – спокойствие изменяет премьеру, и его материалистическое мировоззрение прорывается очень интересно.

«При слове «муж» премьера как бы ударило током, и он вдруг заговорил легко и свободно, с естественным негодованием:

– Что вы надумали? Вы молодая здоровая женщина, спортсменка, неужели вы не могли себе найти здесь, понимаете ли, здорового молодого человека? Зачем вам этот старый, больной индус? Нет, мы все решительно против, решительно против!»

В монологе премьера замечательно все. «Несгибаемый» большевик-ленинец правильно рассматривает «любовную проблему». Он рассматривает ее животноводчески: молодой бабе нужен здоровый парень. А как же иначе? Это и есть – «любовь пчел трудовых» по формуле «тетки русской проституции генеральши Коллонтай». Только Александра-то Коллонтай, дочь придворного генерала Мравинского, сея «разумное, вечное», была, разумеется, значительно тоньше всех этих неандерталов. Но философия любви – от нее, тот же – орвеловский скотный двор. Сложность чувств, духовная и душевная близость людей – не для неандерталов. Жрать, пить, совокупляться, обставлять себя всяческой «роскошью», а главное – *властвовать.* Вот философия «наивного материализма» партийцев, это снижение всего до животного, цинического примитива. Любовь каких-то там капиталистических Петрарки и Лауры? Да сам «отец народов», Сталин – после самоубийства душевно ему не подошедшей жены – прекрасно управлял «всем миром» и жил с своей здоровой, малогра-

мотной, курносой кухаркой «Валечкой». Конечно, это не Женни фон Вестфален. Никак.

Портреты вельмож, людей «нового класса», руководителей советского парткапитализма выписаны Светланой с большой изобразительностью. Тут и крупные и поменьше представители этой породы. «Новые баре нового класса – советской аристократии, – выросшей из бывших рабочих и крестьян. У них не было и не могло быть иного эталона власти, чем власть барина, иного идеала, как стать самому барином». Вот – Суслов, на советской живопырне он самый крупный «марксист». Бедный Маркс! Светлана идет к нему по тому же делу.

«Я отправилась на Старую площадь, не предвидя ничего хорошего. Суслова я видела при жизни отца несколько раз, но никогда не говорила с ним. Он начал точно так же, как и премьер: „Как живете? Как материально?“» А когда Светлана сразу же заговорила о цели ее прихода – «Суслов нервно задвигался за столом. Бледные руки в толстых склеротических жилах ни минуты не были спокойны. Он был худой, высокий, с лицом желчного фанатика. Толстые стекла очков не смягчали исступленного взгляда, который он вонзил в меня.

– А ведь ваш отец был очень против браков с иностранцами. Даже закон у нас был такой! – сказал он, смакуя каждое слово».

И Суслов, самый влиятельный тогда в СССР человек, лидер сталинизма, который «пас телят» в юности, объявляет Светлане с предельной ясностью: «За границу мы вас не выпустим! А Сингх пусть едет, если хочет, никто его на задерживает... Да и что вас так тянет за границу?.. Вот вся моя семья и мои дети не ездят за рубеж и даже не хотят! Неинтересно! – произнес он с гордостью за патриотизм своих близких <...> Я ушла, унося с собой жуткое впечатление от этого

ископаемого коммуниста, живущего прошлым, который сейчас руководит партией».

Здесь надо отметить одну очень характерную черту в психологии не только высоких «ископаемых коммунистов», но и всей КПСС. По завету Ильича и трафарету Маркса, все они официально все еще «интернационалисты». Но это – давно всем известная нелепость, ибо на самом-то деле – от верха до низа – все они живут самым грубым, примитивным, квасным шовинизмом и, в частности, ксенофобией. Они не только чуждаются, но *боятся* общения с иностранцами. Я думаю, тут немалую роль играют комплекс их неполноценности, прикрываемый манией советской мощи, общая их некультурность, необразованность и некое идеологическое, принципиальное поощрение невежества и всяческого «материалистического» опрощения. Давно бы пора в советском лексиконе заменить слово «иностранцы» древним – «бусурмане», что вполне выражало бы психологию всех Громык по отношению к внешнему миру.

Это отталкивание от всего «иностранного» и боязнь иностранцев у членов КПСС хорошо даны Светланой и в описании кремлевской больницы, где она впервые встречает Сингха, и потом – в доме отдыха, в Сочи, на Кавказе: «Партийцы, заполнявшие палаты кремлевской больницы <...> недовольные всем происходившим в стране после 1953 года, ожиревшие, апоплексические от водки, обиды и вынужденного безделия, собирались у телевизоров и «резались в козла» – как они называли игру в домино. Когда эти тяжеловесные туши надвигались на нас, прогуливаясь по коридорам, мне становилось страшно за тщедушного, близорукого Сингха. Он громко говорил по-английски и непринужденно смеялся, не усвоив еще советской привычки разговаривать вполголоса. А они замолкали от негодования,

видя «такое безобразие» в этих стенах, построенных специально для них и принадлежащих только им».

А вот – дом отдыха, где те же «партийные туши» окружали Светлану и Сингха: «Дом отдыха, построенный в начале 50-х годов в ложноклассическом стиле «социалистического реализма», с колоннами, фресками и статуями на каждом шагу, был чудом безвкусицы и помпезности. Отдыхали здесь только члены партии. Они съехались сюда, к теплому морю, со всего СССР, работники райкомов, крайкомов, обкомов <...> Хотя времена были либеральные, но большинство привычных догм продолжало управлять жизнью – особенно в партийной среде. Одна из таких аксиом состоит в том, что всякий иностранец в СССР подозревается в шпионаже, а потому за ним нужен глаз да глаз и доверять нельзя». Партийные «туши» подходили к Светлане, когда она была одна, и «отведя в сторону, озираясь, вполголоса говорили: „Ваш отец был великий человек! Подождите, придет еще время, его еще вспомнят! – И неизменно добавляли: – Бросьте вы этих индусов!“»

Об этой партэлите – об этих, по существу, отбросах человечества – Светлана пишет иногда с иронией, чаще с презрением, а порой и с ненавистью. Это породу она хорошо знала. В этой линии очень типичен советский посол в Индии Бенедиктов – «высокий, огромный, с неподвижным, как монумент, лицом» и его тяжеловесная мадам. И именно от этих партроботов Светлану невольно тянуло к умному, тонкому, образованному Барджешу Сингху, не способному ни для какой «великой цели» убить не только уж человека, но даже муху (Сингх не позволял убивать мух на окне, в больнице, в его комнате, а просил, чтоб открывали окна и их выпускали). Естественно, что этот коммунист-раджа Сингх (а он действительно был индийский аристократ из старинного рода раджей) был одинок в СССР, как в пробковой камере, как одинока была и Светлана, которую еще до встречи с Сингхом

христианство, буддизм, учение Ганди интересовали больше марксизма.

О быте и нравах «нового класса», уже не «грядущего», а давно пришедшего «хама», было много сведений во многих книгах – у Александра Бармина, Вильяма Резуика, А. Орлова, Милована Джиласа, Б. Суварина. Но только в книге Светланы – так полно, без обиняков, и со всем присущим им духовным ничтожеством описана эта мафия, правящая Россией. У Светланы, конечно, был исключительный «пункт наблюдения». Такого «пункта» ни у кого не было.

Вот хотя бы описание стиля сталинских «застолий». Все его опричники, как известно, работали «под вождя», говорили грубым «простонародным языком», часто употребляя непристойные слова и запуская то соленые мужицкие анекдоты, то пошлые старые анекдоты из партийной жизни. А конец пиршеств всегда был один. «Обычно, – пишет Светлана, – в конце обеда вмешивалась охрана, каждый «прикрепленный» уволакивал своего упившегося «охраняемого». Разгулявшиеся вожди забавлялись грубыми шутками <...> на стул неожиданно подкладывали помидор и громко ржали, когда человек на него садился. Сыпали ложкой соль в бокал с вином, смешивали вино с водкой...» Поскребышева «чаще всего увозили домой в беспробудном состоянии, после того, как он уже валялся где-нибудь в ванной комнате и его рвало. В таком же состоянии часто отправлялся домой и Берия, хотя ему никто не смел подложить помидор...»

Читаешь эти описания пиров, характеристики «вельмож» и с каким-то предельным отчаянием думаешь: «Боже мой, в руки какого же последнего отребья попала великая страна, еще так недавно, так щедро жившая русским гением. А самое страшное, что этому сверхтоталитарному, сверхполицейскому режиму не видно конца, ибо он не подвержен никакой эволюции. Он может либо рухнуть под ударом извне, либо

задушить страну на столетия. «Несчастная страна, несчастный народ... – пишет Светлана. – Весь мир живет нормальной общей жизнью, только мы какие-то Уроды <...> Какая тупость! Ах, вы все, как я вас ненавижу!.. Тюремщики, вы не даете людям ни жить нормально, ни дышать...»

Начало всероссийской катастрофы Светлана правильно относит – к Ленину, к его шигалевщине, к его мракобесию. Он – отец всероссийской «кровавой колошматины и человекоубоины» («Доктор Живаго»).

«Основы однопартийной системы, террора, бесчеловечного подавления инакомыслящих были заложены Лениным. Он является истинным отцом всего того, что впоследствии до предела развил Сталин, – пишет Светлана. – Все попытки обелить Ленина и сделать его святым и гуманистом бесполезны: пятьдесят лет истории страны и партии говорят другое. Сталин не изобрел и не придумал ничего оригинального. Получив в наследство от Ленина коммунистический тоталитарный режим, он стал его идеальным воплощением, наиболее законченно олицетворив собою власть, построенную на угнетении миллионов людей...»

В книге Светланы нет никакой пропаганды, никакой политики, но ее правдивый человеческий рассказ о пережитом в СССР должен быть для Запада неким кассандровым предупреждением.

Переписка Светланы Аллилуевой и Ольги и Романа Гуля

30 октября [19] 67

Дорогой Роман Борисович,

Спасибо Вам за Ваше милое, теплое письмо. Ваш журнал известен мне с первых дней, как только я приехала в США. Пожалуй, самым интересным для меня было так наз. «обсуждение» Б. Л. Пастернака в Московском Союзе Писателей в связи с его Nobel

Price; мне было интересно читать все это теперь, здесь, летом, – я ведь знала еще в Москве, как «изворачивались» некоторые мои знакомые; как стыдно было им позже, когда поэт умер; и как они же теперь говорят, что «Др. Живаго» необходимо издать в СССР... увы, такова наша жизнь там – каждый врет, как может, «применительно к подлости». А стыд удален, как некий ненужный аппендикс – А. Вознесенский трижды прав.

Решение поддержать Ваш журнал возникло давно, и, право, Ваши отзывы о моем «творчестве» никак не могли на это повлиять, каковы бы они ни были... Я так счастлива была, что Вы сразу же определили жанр статьи «Б. Пастернаку» – *плач*. Да, конечно, это именно плач – форма чисто лирическая и абсолютно русская... Поди докажи тем, кто этого не понимает! Я видела рекламу этой статьи где-то, так назвали ее «The Letter of S.Alliluyeva to her children» – как Вам нравится?! Разве лирическое стихотворение нуждается в заголовке?

Ну, Бог с ними, это не так важно. Скорее, важнее мне объяснить Вам нечто иное, – «о 20 письмах». Я очень огорчаюсь тем, что «московская пропаганда» все-таки сделала свое подлое дело (и здесь некоторые ее, к несчастью, поддержали...) и книга, а также ее автор были «объяснены» всему миру несколько в ложном свете... Я вижу, как одни и те же положения повторяются из отзыва в отзыв – есть они и у Вас. Поэтому позвольте мне немного объяснить:

«20 писем» – *не книга о Сталине*. Это ее так здесь видят, так ее здесь читают. Но я ее *не так* писала. Для меня важнее всего была – *мама и те люди*, которые рядом с ней и вместе с ней *противостояли злу* – и погибали, не выдержав борьбы. *О них книга*. Иначе незачем было бы ее и писать. Но это – *никому* не интересно... Хотят читать лишь о Сталине, и как доходят до его «нежных писем» к ребенку – так начинают негодовать... А что вся архитектура «20 писем» *ведет к тому, чтобы* осудить его и показать весь ужас и беспомощность борьбы с ним – этого никто не желает видеть... Слава Богу, Вы все-таки не приписали мне «адвокатской» роли. В противном случае, мне надо бы ехать жить в Грузию (и наслаждаться там фимиамом), а уж никак не за границу...

Разве это значит, что я «перекладываю всю историческую ответственность на Берию», как пишут обо мне теперь, как говорит Москва?

Об исторической ответственности я если говорю, то только следующее: «*Мы все за всё ответственны*».

А о Берии я пишу *больше*, чем о других малютах, только потому, что он многие годы был близок к семье; кстати, *отчего* он «удержался» и шел «наверх» так успешно в течение 25 лет? Не оттого ли, что был хитер? Почему *его не убрали*?

Для меня лично – *они все равны*, и один Берия вовсе не служит для меня «incarnation of evil». О, нет! *Все еще с Ленина и Дзержинского пошло*: механизм адский был уже тогда запушен. И для этого *механизма*, машины, системы отец мой только оказался наилучшим *инструментом, наравне* с Берией и прочими малютами, которые меня в «20 письмах» не интересовали, поскольку «20 писем» – о семье, а к семье *близок* и причастен был больше других и дольше других – только Берия.

О Берии. О «влиянии на Сталина» говорил еще Бухарин; он знал лучше других. (Он говорил о «благотворном влиянии» Кирова и Горького на него). А «влияние Берии», о котором я позволила себе написать, – это хитрое влияние человека, знающего «слабую струну» – подозрительность, неверие в доброе начало в человеке, честолюбие, болезненное самолюбие... Он *знал* это и когда было нужно – играл на этом. *Это было*, это все знали.

Дедушка и бабушка интересны мне *не потому*, что они старые большевики (это мне менее всего было важно), а потому, что они – носители неистребимой человечности и силы (которой у мамы не хватило, потому она и не выстояла), – и сила эта добрая и, в концеконцов, *она-то и побеждает*, хотя и поздно...

О чем заключение книги? *Да вот об этом самом*. А старые большевики как социальный организм мне вовсе не нужны; это пусть Е. Гинзбург делает, которая после всего все еще верит в Ленина и в «светлый коммунизм». Это не для меня, – извините! Для меня это все – *бесовщина*, пауки в банке, бесконечное кровопролитие – *с самого начала*, и в оценке Ленина я целиком согласна с Андреем Синявским.

Кстати, говоря (в конце) о «светильниках разума», погибших в тюрьмах и лагерях, я вовсе не имела в виду *одних* старых большевиков. Откуда это видно? *Там умы светлые погибали, интеллигенция русская,* – я о ней печалюсь: почему же искажать?

Быть может, не все в «20 письмах» ясно. Но я люблю *не делать выводы*: тогда литература превращается в учебник политграмоты. А учебников этих начиталась я уже довольно, и писать еще один, свой, не собираюсь (хотя от меня этого очень хотят и требуют, особенно мои же соотечественники). Если и напишу, (а надо бы), только *не в духе политграмоты* – кто плохой кто хороший, и кто виноват, что История пошла не туда... Напишу, как *могу,* – а там пусть читают и *сами* делают выводы. Опять будут ругать, но кто-то, глядишь, и поймет – как и Вы поняли, в общем, все главное (а детали не имеют значения).

Простите за длинное письмо. Хорошо бы получать Ваш журнал регулярно! Напечатать что-либо свое – Боже упаси! Пока книга 2-я не *сложится в голове,* и не сяду даже ее писать; и пока не окончу – никуда не дам; начнут искажать и коверкать все кому не лень, еще *до* опубликования... Надеюсь, Вы понимаете, что все эти installments в «N.Y. Times» и в «Life» не имеют никакого отношения ко мне. Это все пошло по своим законам, абсолютно без моего участия и даже без моего контроля.

Спасибо Вам еще раз. Желаю Вам здоровья и Вашей супруге также.

Искренне Ваша С. Аллилуева.

1 декабря 1967
Bristol, R. I.

Уважаемый Роман Борисович!

Спасибо Вам за еще одно Ваше теплое письмо. Право, я не чувствую себя здесь одинокой. Очень много милых писем приходит – от русских, от американцев, немцев, англичан. Я изнемогаю от того, что невозможно всем отвечать, *кому хотела бы,* – так много трогательного и человеческого пишут.

И книжку мою – понимают так, как я хотела бы. Люди неискушенные, которые не в курсе разных «кремленологий» и «последних новостей из России», читающие просто, искренне, без политиче-

ской предвзятости, – понимают все как надо и не *приписывают* мне того, чего у меня никогда и не было на уме.

Меня это так радует и утешает.

А Москва все «свирепствует» и разворачивает свою клевету все больше и больше. Не знаю, – я не очень реагирую, я как-то спокойна по натуре, должно быть. Но меня огорчает то, что и в США сейчас начали следовать тому же; очевидно, the royalties for the book их раздражают, хотя я *сама менее всех* была в этом заинтересована.

«N.Y. Times» тоже тут не совсем благородно себя ведет, – да разве приходится удивляться?

Хочу ответить на одну деталь Вашего письма: писатели московские – самые большие сплетники на земле и самые неосведомленные люди. Если бы отец мой *хоть* раз побывал на могиле мамы – это было бы известно в нашей семье, поверьте мне!

Слухи об этом я слышала в Москве *сама* и рассказы, «как приходил, и сидел, и стоял» и т. п. Повторю – это неправда все. Не было этого никогда. Не знаете Вы натуру моего отца – он *не мог простить* этого удара в спину. А Федин просто желал приукрасить жизнь – это называют в Москве «лакировка действительности» – и он этим профессионально занимается вот уже столько лет! Его и ненавидят.

Фактам, которые я сообщаю в своей книге, здесь не хотят верить *настолько*, что даже A. Shlezinger написал в своей рецензии в «Atlantic»: «Хотя все авторитетные источники утверждают, что Светлана Аллилуева родилась в 1925 году, она все-таки продолжает утверждать в своей книге, что ее год рождения 1926-й!» Вот как! Даже этого я, оказывается, не знаю толком!

Скоро я переезжаю в Пристон. Мой адрес будет: 85 Elm Road, Princeton. N.J. 08540. Могу я надеяться на Ваш журнал на 1968 год? Я буду приезжать в Нью-Йорк и надеюсь повидать Вас и супругу Вашу – передайте ей мой большой привет. Ваша Светлана Аллилуева.

7 декабря 1967 года

Дорогая Светлана Иосифовна,

Спасибо за Ваше письмо. Понимаю, как велика у Вас корреспонденция и как трудно Вам отвечать на письма. Будем рады уви-

деть Вас в Нью-Йорке, если когда-нибудь приедете. «Новый журнал» пойдет к Вам по этому Вашему адресу. Кстати, скажу все-таки: я считаю, что так, совершенно не «конспиративно», Вам жить все-таки опасно. Хочу думать, что, незаметно от Вас, Вас все же охраняют. Вы лучше меня знаете, как длинны руки КГБ. Что ж Вы думаете, они Вами не интересуются, не собирают о Вас сведения и – если им это подойдет – не попытаются что-нибудь сделать? Тем более, что тут очень легко «совершить какое-нибудь нападение хулиганов», грабителей – и тогда уже обрушиться на США как на страну совершенно разложившуюся, полную гангстеров, хулиганов, грабителей, которая не «смогла защитить нашу советскую гражданку». Я думаю, что все эти генералы Грибановы и прочая мразь отнюдь не без фантазии. Они уже производили серьезные операции среди эмигрантов. Знаю, какая шла охота за Кравченко, о чем Вы можете прочесть в одном из номеров «НЖ» статью Далина. Правда, тогда было несколько другое время, но и сейчас время не такое уж здоровое. Кстати, Кравченко 8 месяцев скрывался у нашей близкой знакомой, миссис Э. Рейнольдс Хапгуд, когда дело обстояло для него довольно серьезно. Миссис Хапгуд – известная переводчица (все, кроме одной, книги Станиславского, книга А. Л. Толстой и мн. др. книг не только с русского, но и со многих языков). Если Вы хотите, я могу распорядиться выслать Вам ранее вышедшие номера «НЖ» – там много ценного и интересного материала. К слову сказать, когда миссис Хапгуд прочла Вашу книгу и по-русски и по-английски, она мне сказала, что англ. перевод – неточный (и в серьезных местах неточный) и неудачный.

Пересылаю Вам письмо Анны Александровны Еврей-новой и копию ее письма в редакцию «Р. М.» Эту ошибку в Вашей книге я заметил сразу, когда читал (есть у Вас и другие мелкие ошибки, но в своей статье я не считал нужным это отмечать). Н. Н. Евреинова и А. А. я хорошо знал в Париже, детей у них не было. А. А. приезжает (иногда) в США, она ведет большую работу в «Сайентистской» церкви, так что Н. Н. говорил: «Вы знаете, Анна ведь у меня архиепископ!» Итак, желаю Вам всего хорошего.

Искренне Ваш

Роман Гуль

Жена шлет сердечный привет.

Пишу Вам по этому адресу и даже не пишу полностью Ваше имя, ведь Вас каждый почтальон знает; почему Вы не поселились под каким-нибудь изобретенным именем? Было бы, на мой взгляд, правильней. Читали ли Вы совершенно гнусное и глупое письмо в редакцию «Возрождения» о Вас – Ольги Керенской? Это разведенная жена А. Ф. Керенского, которая за всю свою жизнь в эмиграции никогда нигде в печати не выступала. И вот – разразилась на 84 году – глупым и по существу жалким письмом. Знаю, что А. Ф. очень хотел с Вами встретиться, но он в госпитале и очень серьезно болен.

11 декабря [1967]

Дорогой Роман Борисович,

Спасибо за письмо. Я ответила г-же А. Евреиновой, которая, помимо справки о моей ошибке, прислала мне совершенно неожиданную (и очень для меня приятную и важную!) весточку от одной нашей с ней *общей* московской знакомой, с которой она недавно виделась в Париже.

Как тесен мир и как все в нем «сталкиваются лбами»!

Ради Бога, не беспокойтесь по поводу моей безопасности. Во-первых, я совершенно не страдаю манией преследования, – жить я буду далеко за 70 (как обе мои бабки, от которых я унаследовала гораздо больше, чем от своих родителей). Думаю также, что *сейчас никому не нужно*, незачем устраивать что-то такое со мной, как преследовали в свое время Кравченко. То была совсем другая фигура и другие обстоятельства. Поэтому я, наоборот, считаю, что вести мне нужно самый нормальный образ жизни. Никаких «незаметных» телохранителей я вокруг себя не вижу, а уж, поверьте мне, глаз у меня наметанный и опыт по этой части очень, очень большой!

Я познакомилась с четой Джапаридзе – такие прелестные оба! Приеду к ним как-нибудь в N.Y., и увидимся тогда с Вами непременно.

Перевод английский «20 писем» – весьма неудачен. Я это, к сожалению, знала. Было слишком много в это лето разных привходящих обстоятельств, затруднивших контакт с переводчицей, а главное – *она и не профессиональный переводчик*, это ее первая работа,

и она очень слабо знает русский язык; мне остается только пожалеть, что пока я была еще в Швейцарии, она была выбрана на эту работу. Самый хороший и точный перевод книги – немецкий (Vienna, Ferlag Fritz Molden), хотя мне, конечно, так хотелось иметь отличный английский перевод – *такой,* как было переведено «К Пастернаку» для «Atlantic'a». Увы, все было в суматохе, и вот и результаты. Никакого «тесного сотрудничества» с переводчицей у меня, конечно, не было, так как она мне очень не нравилась.

Письмо (или рецензию) О. Керенской я читала и не очень удивилась ему. Вообще, меня мало трогают подобные вопли, особенно – издаваемые женщинами. Вот когда Arthur Koestler *не понимает,* что я хотела сказать, – то мне очень досадно. Очень обрадовала меня статья Edmund Wilson'a в «New Yorker». А «Esquire» даже ничуть не задел – мне как-то безразличны эти штуки.

С А. Фед. Керенским я говорила как-то по телефону и мы хотели непременно встретиться. Надеюсь очень, что это произойдет. Я о нем все знаю от моей большой приятельницы Ф. Бенисен, которая часто у него бывает в больнице.

Ошибок всяких мелких в моей книжке может быть немало: я ведь *не мемуары* писала, и источниками моими были не история, а семейные предания, разговоры и рассказы. Я ведь и не претендовала на то, что книга – мемуары.

Желаю Вам и Вашей супруге здоровья и надеюсь на встречу.

Ваша Светлана.

P.S. Пришлите мне, пожалуйста, счет за журнал.

13 марта 1968 г.

Дорогой Роман Борисович, большое спасибо за журнал, очень все интересно. На ту же тему, что и Б. Суварин, написал Роберт Мак Нил в «The Russian Review» (Vol. 27, № 1, January 1968), издаваемом в Стенфорде, Калифорния. По-моему, у него тон спокойнее и лучше.

Мне, по-видимому, *трудно тягаться с источниками* вроде Лермоло-Трушиной, бывшим чекистом Александром Орловым, а также с моим «псевдокузеном» Буду Сванидзе, никогда в действительности не существовавшим. Даже его книга (написанная не то Беседовским, не то кем-то вроде) считалась долго «ценным

источником». Все дело в том, что *мои факты* отрицают уже *сложившуюся, традицию* и расходятся с пустившим прочные корни психологическим портретом моего отца: грубиян, монстр, моральный и физический, воплощение грубой силы. Что делать, в союзники могу призвать только Льва Давидовича Троцкого, чью биографию «Сталин» смогла прочесть, конечно, только здесь. Не касаясь истории политической внутрипартийной борьбы, о которой не мне судить, не могу не отметить удивительной *точности психологических характеристик* в этой биографии. А на стр. 18 главы 1-й прямо читаем, что: «тот же биограф говорит о «тяжелых кулаках», с помощью которых Иосиф Джугашвили якобы достигал победы в тех случаях, когда мирных способов было недостаточно. В это слишком трудно поверить. «Прямое действие», связанное с риском, никогда не было присуще характеру Сталина, по всей вероятности даже в те давние годы. Он предпочитал и знал, как найти других, чтобы вести действительный бой, оставаясь в тени или же совсем за сценой».

У меня в первоначальном варианте рукописи, вывезенном из Индии (еще не отредактированном в процессе издания) была фраза в главе о маминой смерти: «Дело в том, что *сам, своими руками* никого не убивал, кроме ястребов да зайцев». *Я ее выбросила, так как она мне показалась неуместной и фальшивой именно здесь,* где говорилось о мамином самоубийстве: ведь если *довел* до этого, то значит, в конце концов, и *убил.*

«Версия» эта не «нянина», как думает Б. Суварин. *Мне говорили то же самое* и мои тетки, возвратившиеся из тюрьмы в 1954 году. Все уже давно прошло, отец умер, я была взрослой, им нечего было бы скрывать. Но и их «версия» была такой же, как у няни и Полины Жемчужиной: пистолет, привезенный Павлушей, предсмертное письмо и все остальные детали. Они обе утверждали, что отец никогда не ходил на кладбище, хотя его все уговаривали сделать это хотя бы как «жест».

Я могу только предположить, что если *та самая* Наталия Константиновна, которая учила меня немецкому языку, и была *Трушиной* (никто не говорил мне никогда ее фамилии) и если она действительно попала позже в тюрьму, что вполне вероятно, то она *(т. е. та* Наталия Константиновна, *которую я помню*), вполне

могла бы рассказать известную версию с чьих-то слов, а возможно, и просто «*по собственному предположению*». Все гувернантки в нашем доме обожали маму и имели с ней общий язык и взаимопонимание, отец же был где-то «наверху» и отдельно, и я не думаю, что хоть одна из многих учительниц, работавших у нас в доме, могла питать симпатию к нему. *Скорее, наоборот.* И, попав в тюрьму ни за что, вряд ли станешь говорить доброе о человеке в подобных обстоятельствах.

Опять скажут обо мне, как Суварин: «Dans son zèle naif à vouloir quelque peu disculper son père!» Я не собираюсь «disculper». Это невозможно сделать. Я только хочу, чтобы психологические характеристики и мотивации были точными и соответствовали данному характеру. А *что хуже* – я не знаю. Может быть, чем доводить *многих* до самоубийства, уж лучше действовать своими руками, как Отелло, а потом раскаиваться. Отцу никогда не было свойственно раскаяние. Он был для этого слишком хладнокровен. Он всегда считал себя правым, как и в случае маминой смерти, когда хотел найти *кого-то,* кто был бы в этом повинен, но только не он сам.

Я не знаю, что хуже. Я не вижу, где тут «disculper»...

Жан-Жак Мари, французский переводчик, считается одним из лучших. Стихи И. Бродского он перевел прекрасно. Мою книжку он просто, как видно, переводил «левой ногой». Он – друг Эммануэля д'Астье, с которым я разругалась прошлым летом, когда он без моего разрешения опубликовал мои частные письма к его жене (она – русская, Любовь Леонидовна Красина, я ей писала из Индии по-русски просто в силу того, что *никого больше* тогда не знала во всем Западном мире, и еще потому, что в детстве она знала мою маму). Д'Астье эти письма перевел, напечатал как мои письма *к нему* и снабдил довольно произвольным комментарием. И вообще писал обо мне всякую чушь. Может быть, под его влиянием Жан-Жак Мари «охладел» к работе и сделал ее кое-как. Кстати, он *перевирает* русские имена в полном соответствии с тем, как их переврал сам д'Астье в своей книжке «О Сталине».

Как глупо, как непростительно глупо было предоставить все тогда на самотек! Какая была паника, какая суета и какие глупости на

каждом шагу. Я так хотела быть ближе к Нью-Йорку, *ближе ко всему,* но меня ото всего *отодвинули* и *задвинули* на ферму в Пенсильвании. Может быть, так боялись приезда Косыгина? Я уж и не знаю. Еще говорят, что «могло все быть намного хуже». *Но в смысле литературно-профессиональном ничего худшего,* чем то, как книгу переводили и издавали, нельзя и вообразить.

Получила вчера книгу Александра Бармина «One who survived», *без единого словечка.* Следует ли это понимать так, что он мне ее посылает читать, или дарит, или что? Обратный адрес его, но я с ним незнакома и, по правде говоря, только раз слышала его имя. Заглянув в книжку, я увидела сразу же неточности: 1) Бармин не мог быть *вместе* с маминым братом на банкете в честь 15-летия революции в 1932 г. в Кремле: Павлуша был тогда в Берлине. 2) История о «третьей женитьбе» моего отца на некой Розе Каганович – выдумка, неизвестно чья. Уже это позвольте мне знать. Так что не знаю, стоит ли книжку читать... *Как-то сразу скучно стало.* И никакой «сухой руки» я никогда у отца не видела. Очевидно, автор пользовался «источниками», утверждавшими это. Вы читали его книгу? Вы находите ее интересной? *Я ведь не биограф своего отца и не собираюсь им становиться.* Свою точку зрения я никому не навязываю. Но фактические ошибки раздражают всегда. Извините за длинное письмо и большое вам спасибо за помощь и дружбу. С уважением

Светлана.

3 апреля 1968 года

Дорогая Светлана,

Спасибо за Ваше письмо. Хотел ответить раньше, но владыка Иоанн, которого я видел в Нью-Йорке, сказал мне, что Вы на время выехали из Принстона. Он жалел очень, что не повидался с Вами в Нью-Йорке. Но может быть, он встретился с Вами в Принстоне, куда отсюда его отвезли Джапаридзе.

Ваши «комментарии» к статье и к книгам – очень интересны. Насчет книги Лермолова, я, по правде сказать и между нами, этой книге не очень верю, хотя и Суварин, и в свое время Николаевский

ее показаниям и ее рассказам вполне верили. Дело в том, что *русского* текста книги нет. А это всегда плохо и наводит на всякие размышления, ибо всем известно, как иностранные редактора обрабатывают книгу (сырой материал). И уж очень много у нее «встреч» и с тем, и с другим. О Сванидзе (Беседовский) говорить не приходится. Троцкий, конечно, источник достоверный, но и кроме него были воспоминания абсолютной достоверности, напр., Арсенидзе (чудесный был человек, да он, кажется, и сейчас жив). Его воспоминания были опубликованы в «НЖ».

История с изданием Вашей книги – это мрачная страница, Вы попали в самый водоворот дельцов и бизнесменов, для которых все дело в том, чтобы сорвать какие-то деньги (и даже очень большие – для себя). О Жан-Жак Мари: боюсь, что тут тоже была какая-то небрежность, ибо он из окружения «какой-то Триолешки» (как называла Ахматова малопочтенную Эльзу), и тут небрежность могла идти рука об руку с некоторой даже злонамеренностью. Увы, за свою литературную жизнь на Западе я знаю и не такие случаи, я знаю даже случаи, когда *издавали* книги только для того, чтобы их *похоронить,* а не распространять. Тут на многое можно налететь, причем с виду все будет обстоять как будто совершенно «по-джентльменски». Ну, ничего не поделаешь, это серьезный урок – и если Вы напишете новую вещь, то будете уже «ученой».

Бармин Вам прислал книгу в подарок. Он говорил со мной както по телефону, и я спросил его. Он очень хочет, чтобы Вы ее прочли и сказали о ней Ваше откровенное мнение. Ничего не написал на ней, ибо не хотел быть навязчивым, тем более, что о Сталине, как он сказал, он пишет очень резко в своей книге. О замеченных Вами ошибках я ему ничего не говорил. Если прочтете всю книгу и дадите Ваш отзыв, то тогда могу при случае (я с ним иногда переговариваюсь по телефону) сказать ему, если Вы захотите.

Кстати, выдумка про Розу Каганович ведь ходила по всему миру. Скажите, но вообще-то в мире существовала такая Роза? Или нет? Вы ее не знавали? Я читал книгу Бармина очень давно и плохо помню.

Ну вот, по пунктам ответил на Ваше письмо. Теперь вот о чем. Получили ли Вы кн. 90 «НЖ»? Там есть очень интересное письмо

Ю. В. Мальцева к У. Тану и к Подгорному. Я это получил из СССР, от верного человека, бывшего там. Отправил У Тану заказным с обратной распиской – и русский текст и английский перевод. «Обратная расписка» пришла назад, но он мне на письмо, конечно, не ответил, да я и не надеялся. Но в советскую делегацию – передаст. В «НЖ» сразу же звонила какая-то личность, когда журнал еще не вышел, и по всему разговору было ясно, что это кто-то из советских, вероятно из ООН.

Читал как-то в газетах, что Вашего знакомого Л. Копелева как-то «репрессировали» (пока что, кажется, только исключили из партии) за выступление в защиту Галанскова, Гинзбурга и др.

Ну вот, «закругляюсь». Кончаю. Жена моя поправилась настолько, что уже ходит, делает покупки и пр. Так что если Вы приедете в Нью-Йорк, то будем очень рады видеть Вас у нас.

Всего Вам хорошего,
искренне Ваш

Роман Гуль

6 сентября 1969

Дорогой Роман Борисович,

Простите за книжку «with the compliments» – я просто хотела ускорить процесс пересылки по почте и дала в Harper&Row список, кому послать. Сама тоже занимаюсь рассылкой по почте своих экземпляров, каждый день краснея оттого, что... ну, это я уже высказала в письме в «Н. Р. С.».

Я Вам пошлю экземпляр книги от себя (а не от моих издателей!), как только получу еще здесь, в Принстоне; а пока что, надеюсь, Вы прочтете (и тогда, м. б., в самом деле перешлете книжку А. Кузнецову?) Было бы хорошо. Я с ним незнакома, его истерики мне не очень нравятся – все-таки он мужчина, а не «баба», но я знаю и понимаю, что он на пределе нервного переутомления.

Несчастные, в общем, и А. Белинков и А. Кузнецов, я не знаю, как они приживутся здесь. Дело не в знании иностранных языков, а в какой-то *закрытости* души, в ее бескрылости – при довольно яркой изощренности ума. *Оба* они – искалеченные советские интеллигенты, и это не вина их, а беда, и свидетельство всему миру о том,

как советская жизнь превращает людей в духовных калек. Очень жаль безногих и бескрылых, нестерпимо больно, неизвестно – чем и как помочь, но ясно, что калека есть калека и жить полной жизнью не может. В «Н. Р. С.» было вчера интервью с А. Кузнецовым, и прочтя об его *страхах,* я подумала, что он, бедняжка, может погибнуть от мании преследования, если его кто-то не освободит от нее сразу же, но как?!

Безбожники, без веры, потому и бескрылые и бессильные. А скажи им о вере – начнут брыкаться, несчастные в пустыне, а источника не видят.

Простите – это у меня особый спор, мой собственный, поэтому я так отвлеклась.

Роман Борисович, я очень хотела, чтобы книжку Вы прочли, а захотите ли Вы о ней написать – это как Вам угодно. У меня такой задней мысли не было, я только одного хочу: чтобы читали и кое-что поняли бы в том процессе, долгом и трудном, который меня сюда привел. *Поэтому* я считаю, что Harper&Row, назначив цену книги в 15 долларов, сделал огромное удовольствие для Москвы: угодить *лучше* было бы невозможно. Но они этого, *надеюсь,* не осознают.

Для того, чтобы послать сердечный привет Ольге Александровне (?), я пошла сейчас проверить, верно ли я помню ее отчество (но не нашла); но в Ваших прежних письмах, которые я сейчас просмотрела, *нашла* Ваше доброе предупреждение насчет того, чтобы «не попасть в кабалу к издателям со следующей книгой». Ну, а я как раз и *попала.*

Знаете, Роман Борисович, очень трудно было мне, человеку с Другой Планеты, сразу во всем разобраться. А кроме того, я, в отличие от Белинкова и Кузнецова, люблю верить и доверять, и мне нужно *много раз* больно ушибиться, чтобы поверить, что предполагаемый друг есть, по существу, друг не мне, а самому себе. Это берет у меня *много времени,* и *всегда* так было, и в России тоже... Зато опыт, приобретенный ценой синяков на собственной физиономии, очень и очень полезен.

И потом, я не люблю скандалов, сцен, взаимных обвинений и сведения счетов. Со своими адвокатами (Greenbaum Firm) и издате-

лями (Harper&Row) я мечтаю *мирно* разойтись, но без взаимных плевков в лицо. А мирный, полюбовный *развод* (divorce) – дело очень трудное и медленное. Но не невозможное. И вообще – quod nocet, docet.

Ваша Светлана

15 сентября 1969

Дорогая Светлана, спасибо за Ваше письмо. Книгу Вашу я прочел давно, не мог написать, ибо очень закрутился с выпуском кн. 96. Сейчас пишу – книга Ваша прекрасная, очень сильная, эта книга Вам удалась полностью. Она читается с напряженным интересом, трудно от нее оторваться. Есть места особо удавшиеся, напр., крещение и все разговоры с о. Николаем (превосходно!), потом – как Вы пошли в ам. посольство (очень хорошо написано, как будто и просто совсем, но я знаю, что это не так просто передать это Ваше состояние). Вообще – простота (высокая простота) это одно из качеств Вашей книги. Потом, конечно, вся глава «Бумеранг» – очень сильная и тоже очень искренняя. Ну, и вся любовь к Сингху (и его любовь), это тоже очень сильно и очень хорошо. А эти «десять семейств»?! А зарисовки Суслова, Косыгина и др. – пусть сделаны штрихами, но читатель их так и видит – и внешне и внутренне. Читаешь книгу и невольно думаешь (с тоской, с большой тоской): Боже мой, в руки какой последней сволочи попала Россия!

Конечно, эти мысли приходили не только при чтении Вашей книги, но тут эта тема дана – остро (и совсем без подчеркиваний, а как бы между строк). И все это дело этого пресловутого Ильича, которого я всегда ненавидел и ненавижу до последней возможности. Но на Западе сколько «либералов» все еще относятся с «пиететом» к этой «гениальной горилле» (как его назвал как-то давно уже В. В. Шульгин, попавший в СССР после войны и «восславивший» этот строй... после долгого концлагеря). Курц унд гут – поздравляю с «Только одним годом». И, Бог даст, за ним пойдут и другие. Вы пишете мне: «Если Вам будет угодно». Я прекрасно знаю Ваш гордый и независимый характер и прекрасно знаю, что Вы прислали мне книгу не для моей рецензии или статьи. Да и статья в «НЖ» – что она даст? Разве что пройдет книга в СССР и там прочтут. Это

единственный возможный плюс и приятность. Но если прочтут – то узкий круг: ну, Чуковские, Копелев, Солженицын, м. б. (когда придет к Чуковским). Во всяком случае, я писать о Вашей книге хочу и буду (для декабрьской книги).

Теперь о том, что мне не очень понравилось. Одна глава (где Вы пишете о Ваших друзьях в Москве, не помню названия, а книги у меня сейчас нет) – эта глава, конечно, нужна, и каждый отрывок интересен, но почему-то при чтении это была единственная глава, где читательский интерес падает, м. б. потому, что она из отдельных отрывков, не знаю. Потом мне не нравятся частые слова «ситуация» (это по-советски, и я никак не пойму, почему эта «ситуация» так к людям привязалась, когда в 99 % лучше сказать просто «положение»; это как «специфика» изуродовала «особенность». И совсем нехорошо, когда Вы о себе пишете – «свободный индивидуум». Почему не человек? Индивидуум на месте в учебнике энциклопедии права, в философских трудах, но в такой книге, как Ваша, – я бы гнал этого индивидуума бесщадно отовсюду. К чему он? Он портит язык, портит мысль, слог, стиль. И последнее – на последней странице Вы поднимаете бокал за свободу с... Луи Фишером. Простите мне, я знаю, что он Ваш друг, но я все же скажу то, что думаю. Если б Вы подняли бокал с Дж. Кеннаном, со стариком Джонсоном, с Вашей чудной полковницей – все было бы прекрасно. Но Фишер? Ведь в течение *лет,* долгих *лет* он предавал и продавал эту (именно эту) свободу тем же чекистам (а кому же, как не им, ведь они же – твердь режима). Он писал в «Нэйшэн» такие корреспонденции из Москвы, за которые он должен бы краснеть всю свою жизнь. Но я думаю, что он принадлежит именно к тем людям, которые краснеть не спешат. Да и расхождение его с Сов. Союзом произошло ведь вовсе, кажется, не по идеалистическим соображениям, а по каким-то совсем, совсем другим. Простите, если это Вам неприятно. Но уверяю Вас, что для концовки книги Вы выбрали неподходящий персонаж. <...>

О книге для Кузнецова. Я жду вторую книгу. И вот почему. Когда я читаю, я делаю всякие заметки на книге, без этого у меня книга – «не прочтена». И на этой я их делал. Теперь я жду второй экз., чтоб перенести свои заметки, а с той стереть (карандаш легко сти-

рается) и отправить ее Кузнецову. А пока суть да дело, у меня взял ее Ярров и вернет мне ее сегодня-завтра. Он очень хотел прочесть. Итак, как только получу от Вас – этот экз. улетит к Кузнецову (кстати, переменил он себя довольно безвкусно на какого-то Анатоля, это для Франции было бы хорошо, но не вообще же – взял бы «Васильев» – по своему отчеству, а то какая-то смесь французского с нижегородским получилась). Я думаю, что он не похож на Белинкова по характеру. Он ведь всему рад – орет от свободы, от свободных людей, от возможности свободно писать и не предъявляет ни к кому претензий. Мне говорили на радиостанции «Либерти» – слушали ленту записи, интервью с ним, Виктор Франк (сын философа) разговаривал с ним. И, говорят, совершенно иное впечатление, чем на телевидении. Говорил свободно, крепко, смело. И на вопрос: что бы Вы сейчас сказали, обращаясь к Вашим товарищам-писателям в СССР, Кузнецов так искренне ответил: «Я бы им закричал: братцы, как я счастлив, что я свободен, что я говорю, что хочу, что я пишу, что хочу» и т. д. Я порадовался. Думаю, он крепче как-то Белинкова.

Белинков – странный человек (больной, по-моему). Он предъявляет сразу Западу требование – о признании его авансом замечательным писателем, мыслителем и пр., – ничего решительно в подтверждение сего не предъявляя. Ведь в то время, как Кузнецов сделал большое дело, обратив внимание всей межд. интеллигенции на положение сов. писателей и интеллигентов вообще, Белинков решительно ничего в этом смысле сделать не мог. То, что он писал, было совершенно беспомощно и никому не нужно. К тому же у него какая-то патологическая русофобия. Он прислал мне статью «Декабристы», в которой доказывается, что декабристы были прохвосты и трусы, что Пушкин, Некрасов, Тютчев и др. были тоже прохвосты, что русская интеллигенция всегда состояла из прохвостов и только и делала, что помогала полиции (так и написано) хватать людей и сажать их в тюрьмы, что все, как он пишет, «народонаселение России» состоит из прохвостов, рабов, негодяев и др. Я развел руками, вернул ему статью.

Переходим к Ольге Андреевне. Отчество ее запомнить легко: у Льва Николаевича была Софья Андреевна, а у Романа Борисовича – Ольга Андреевна. Вот как! И, конечно, если бы Лев Николаич же-

нился именно на Ольге Андреевне, а не на Софье, то, я думаю, он был бы много счастливее. Во-первых, Ольга Андреевна была очень интересна (внешне) – лучше, чем Софья Андреевна, мне кажется. Потом, внутренне – с Ольгой Андреевной Лев Николаич очень легко бы размотал все свои имения, все свои деньги – все бы «роздал Влас свое имение», – и они бы вместе отправились странниками по России – нищие и счастливые. И тайно убегать из буржуазного дома никак не пришлось бы. И все бы повернулось иначе. Видите, как я рекламирую О. А.

Нет, правда, жена моя к благам мира никак не прикреплена, она все кого-то устраивает, кому-то помогает, все ищет какого-то добра. После войны в Париже своими усилиями вытащила из тюрьмы несчастную молоденькую новую эмигрантку, ставшую в этом «городе-светоче» просто проституткой (а что же ей было делать, так все сложилось для нее страшно), сделала ей операцию, тогда как всякие дамы-патронессы от этой женщины отказались. И что же в конце концов? А в конце концов О. А. привезла эту женщину с двумя детьми и мужем в Америку (простая женщина, неграмотная даже), и теперь у этой семьи – автомобиль, хорошая квартира в пять комнат, сын в армии, дочь замужем (за негром, отчего мать была попервоначалу в отчаянии), все работают, счастливы. И мою жену еще с Парижа эта женщина называет «мама», а меня, во славу моей жены, – «дядя Рома». Вуаля. Это об О. А.

Она Вас очень благодарит за Вашу книгу, почувствовала в ней добро, любовь к людям и стойкость. А О. А. (скажу от себя) при всей своей женственности – может быть стойка, как сталь (это русский характер, таких интеллигенток было много, у меня была такая же мать).

Ну, что-то я расписался ни к чему. И это при моей чудовищной занятости по журналу. Просто – преступление. Обрываю.

От души желаем – оба – Вам всего хорошего. Будете в Нью-Йорке, будет желание встретиться – будем рады.

Искренне Ваш

Роман Гуль

17 сент[ября] 1969

Дорогой Роман Борисович,

Прежде всего пусть Ольга Андреевна меня простит за перемену ее отчества. Как-нибудь при случае, в Нью-Йорке, я ей сама «докажу», что помню его теперь правильно. Я думаю, что как-нибудь в октябре – когда пройдет вся эта лихорадка с выходом книги – я к Вам забегу – если можно. (Я Вам дала мой телефон?)

Пожалуйста, *не* извиняйтесь предо мной, когда говорите о Луи Фишере то, что думаете. Я уже давно с ним *не* разговариваю и в числе своих друзей его не держу. Но так как такие были отношения в декабре 1968 года (когда мы вполне еще нормально встречались и беседовали), то теперь менять концовку, «выкидывать Фишера» мне показалось неудобным и неприличным, хотя бы перед лицом редакторов из Harper&Row, так как они все там отлично *знают,* в чем дело.

А дело вот в чем. В своей книге «Russia's Road from Peace to War» Фишер «использовал» *мою* историю о гибели С. Михоэлса. Просто взял – переписал из моей рукописи и *не сделал* сноски на источник. Его книга вышла в мае 69 г. (с тех пор мы и *не разговариваем*), моя выходит в сентябре, и я ему сказала, что по-русски это называется Schweinerei. Он обиделся, – султан такой. А я его просила несколько раз: укажите источник или выбросьте совсем. Даже его редактору (Canfield Jr.) это говорила. И вот – история там у него в книге, а сноски нет.

Второе. Когда я читала page-proofs своей книги в Harper&Row с редакторами в июне с. г., то совершенно случайно узнала (просто из болтовни с редакторами), что «Louis Fisher was paid $ 1.000 for the editing of my book». Я очень удивилась, так как *редактировать* русскую рукопись он никак не в состоянии. Спросила у Canfield'a. Он говорит: «We knew, that he helped you, we offered him money and he gladly accepted it». Так-с. Звоню Фишеру и, с трудом сдерживаясь, задаю вопрос. Он говорит: «Nonsense. Никакого редактирования я не делал (святая правда!), а мне заплатили за то, что я помог Harper&Row подписать с Вами копирайт на 2-ю книгу, когда она еще не была закончена». – «Так-с, а почему же Canfield говорит другое? Почему же в *ведомости* издательства значится, что уплачено

«for editing»? – «Ну, – говорит он, – это уж их дело, почему...» А в результате кто дура? Я дура.

После этого мы не разговариваем – и не будем. Но ведь Harper&Row знает о копирайте, и они ожидали, что я Фишера из книжки уберу. *Поэтому* я и не убрала.

К сожалению, за столом в Prinston Inn 19 декабря 1967 года сидел *именно* он. У меня все факты, имена, разговоры и прочее в книге – реальны, я ничего не выдумывала и не меняла. Поэтому – из песни слов не выкинешь... Я бы *так* хотела, чтобы это был Дж. Кеннан, но, увы! Это был не он.

Теперь добавлю, что мне *многие* говорили, что с Фишером дружить не стоит. Но я как-то очень люблю, просто обожаю учиться на собственных ошибках, которых сделала немало; мне *так* интереснее. Теперь уж я *сама* знаю, что такое Louis Fisher, но это опыт на собственных синяках. Так лучше.

Хватит об этом. Но очень хотелось сделать необходимые разъяснения.

Аркадий Белинков, по-моему, – человек с болезненной психикой. Я очень не люблю вешать на людей этот ярлык, но тут уж очень это бросается в глаза. Мне с ним трудно даже по телефону говорить, у меня сразу делается нервная чесотка, вроде крапивницы. Несчастный он. Говорит: «Мы – европейцы. Америка не для нас с Наташей». Мечтает в Европу поехать. *Боюсь,* что и там ему будет худо. Ему нигде не будет хорошо. Это все – несчастные, смятенные души, которые еще не знают (или не хотят знать!), что Царство Божие – внутри нас. Оттого им нигде покоя нет.

Дай Бог, чтобы А. Кузнецову пришлось легче и чтобы он нашел свое место в здешней жизни. Все претендуют на талант и гениальность, думают, что на Западе «развернутся», и забывают, что на Западе люди живут лучше, чем в СССР, намного, *но и* работают несравнимо больше. И знают больше. И умеют больше.

Все – куда ни посмотри – мужчины, женщины, дети, все *работают* куда больше, чем там, в этом полуказарменном социализме, где только «ать-два», и командир скажет, что делать дальше. А тут эта самая Свобода, с которой неведомо что делать, и никто не бежит предлагать бесплатные льготы за гениальность. Очень трудно.

Простите меня. Я *не* издеваюсь, мне их жалко. Я просто объясняю Вам исковерканную душу советского человека. Дай им Бог переделать и как-то починить эту самую поломанную душу. Но они ведь даже и *не верят* в существование этой самой души! Вот что ужасно.

С Вашими замечаниями насчет моего «советского» жаргона я согласна. Что делать! Столько лет там прожито, все словечки оттуда.

Будьте здоровы. Обнимаю Ольгу *Андреевну.*

Ваша Светлана

19 сентября 1969 года

Дорогая Светлана, получил Ваше письмо. Обстоятельства разные складываются так, что хочу тут же Вам ответить. Прежде всего: когда я прочел в НРС заголовок о том, что Вы «заступаетесь» за Сталина, я пришел в такую ярость, что тут же написал в редакцию письмо, довольно резкое (копию которого прилагаю). Ярость моя заключалась не только в том, что появилась такая заметка (заголовок был очень плох), но и в том, что я узнал, кто это сделал. Вейнбаума не было, он в отпуске. Это прошло и мимо Седых. Сделал это (что я знаю стороной) один мер..., которому давно, как говорится, «отказали от дома». <...> Добавлю Вам и «беллетристику». Я написал письмо смаху, и, т.к. жены не было дома (она ушла к друзьям в этом же доме), мне хотелось послать его возможно скорее, а на дворе были дождь, молния, гром, – то я все равно – благо жены не было, набросил пальто и, как безумный король Лир, – в грозу и молнию – побежал к почтовому ящику, чтобы опустить свое «спешиал деливери».

Читал письмо Белинкова в Пен Клуб. Первые два отрывка были, на мой взгляд, просто ужасны (неумно, с выкрутасами, с самолюбованием, ни к чему). А вот третий, конец, – здесь есть правильные и хорошие мысли – об исключении Сартра, например, и о невозможности для партии какой-то бы ни было либерализации. То, что Белинковы недовольны Америкой – это что-то дикое. Лучшего приема, чем получили они – трудно придумать. В Европе они просто бы пропали. И если они туда отправятся, то в этом убедятся очень скоро. Посылаю Вам запись передачи беседы с Кузнецовым.

В ней есть кое-что интересное. Верните ее мне, пожалуйста, у меня не осталось копии. Если хотите, сделайте с нее копию для себя.

Ну, кончаю.

Искренно Ваш

Роман Гуль

Олечка сердечно кланяется.

Звонил мне сегодня Ярров: и ему и его жене (она читала по-английски) Ваша книга очень понравилась. Сильвия говорит (Яррова), что книга должна иметь успех среди американцев. А она, так сказать, американский барометр. Ярров ей для этого и давал.

18 октября 1969 года

Дорогая Светлана, не знаю, в Принстоне ли Вы, но пишу. Я получил письмо (и главы из «Бабьего Яра», в новой редакции для НЖ) от Кузнецова, он пишет, что книгу Вашу от меня своевременно получил и «написал восторженную рецензию» в «Сандэй Телеграф» и что послал Вам эту рецензию и поздравления. «Спасибо ей, она написала *здорово*». Так как на следующей неделе я должен написать и сдать в набор отзыв о Вашей книге (все никак еще не могу дойти), то я бы хотел прочесть, что написал Кузнецов, м. б., из его статьи что-нибудь стоит процитировать. Будьте так ласковы, снимите зирокс и пришлите мне копию этой рецензии. От радиостанции «Свобода» я получаю копии отзывов о Вашей книге (некоторые). Как-нибудь Вам пришлю список отзывов, которые они публикуют в своем бюллетене.

Искренне Ваш

Роман Гуль

Олечка шлет Вам сердечный привет.

Краем уха слышали о Вашем путешествии в Вашингтон.

Октября 22, 1969,
Принстон

Милый Роман Борисович, вот статья А. Кузнецова (у меня есть еще, прислали многие из Лондона). Я очень была тронута и написала ему.

Не знаю, что Вы слышали о моем путешествии в Вашингтон, но могу только сказать, что беспокоюсь за владыку, который взял меня под свое крыло с каким-то упрямством и упорством – сколько я ему не говорила, что это только *ему* повредит. Вот и в Вашингтоне, в церкви, где он служил (и я пошла послушать), был «эксцесс». Я говорила – не надо раздражать человеческие раны напрасно… А владыке будут одни неприятности *за его же* доброту. Это так всегда.

Мне, конечно, очень приятно, что владыка так добр ко мне и так все прекрасно понимает. Но камни-то полетят в него – от тех самых, кому он пытается доказать, что книжка моя хорошая и что я – не злодейка.

Ах, хоть бы Вы его остановили, Роман Борисович! Ведь он не слушает меня. А я чую беду издалека, когда она еще совсем далеко. Мало ли было владыке неприятностей? Вас и Ольгу Андреевну он, быть может, послушает.

Спасибо Вам за Ваши добрые усилия и за дружбу.

Звонил Белинков, стонал.

Будьте здоровы. Целую Ольгу Андреевну.

Ваша Светлана

Дек[абря] *22, 1969*

Милый Роман Борисович,

Спасибо за остроумное бичевание недочеловеков в Вашей статье. По-моему, еще никто до Вас не называл Кремль «живопырней» – смотрите, будет Вам «оттуда»! И насчет бланманже и кислой капусты – тоже здорово! А эта самая Светлана Аллилуева мне совсем осточертела, слышать не могу.

Прилагаю при сем записочку от Теймураза Багратиона насчет «Нового журнала». Вы знаете этих Тумаркиных? (У меня в Москве были хорошие друзья с такой фамилией, на Арбате, в Староконюшенном переулке. И жили они там еще с до-революции).

Ведь если «Н. журналу» что надо, то Вы ведь можете всегда сами мне сказать, а «печатать» книгу в журнале теперь уже *поздно,* это надо было год тому назад думать. Что ж я буду ему звонить? Или он *еще что-нибудь* хочет сказать?

Итак, скоро Рождество американское, а затем и наше. Новый год приближается – поздравляю Вас и желаю, чтобы год грядущий оказался бы лучше предыдущего.

Владыка Иоанн был на наших Восточных берегах, я его видела; опять на него будут вешать всяких собак из-за автокефалии церковной. Он объяснял мне, но я по дурости и по серости своей никак в толк не возьму, *за что* же собак вешать?! уж понятно, когда на меня вешают их, но на достойных представителей Русской Церкви и русской аристократии – зачем же? Как-то очень делается уныло от человеческой тупости. Или – это тоже «оттуда» кто-нибудь мутит воду и в этом случае?

В январе буду в Нью-Йорке *специально* несколько дней, чтобы *всех* повидать. Прямо обход сделаю. Где Вы на Рождество? Ходите ли Вы к о. А. Киселеву или куда-нибудь еще?

Будьте здоровы. Будьте спокойны и величественно плюйте на всех «четвероногих».

Ваша Светлана

28 декабря 1969 г.

Дорогая Светлана, спасибо за Ваше письмо, за добрые слова о «живопырне» (мне самому это слово очень нравится, причем даже у Даля его нет, к моему огорчению). У меня сначала была банальная «живодерня». И вот утром проснулся, в кровати, и мне почему-то безо всякого поиска пришла эта самая «живопырня». Я возрадовался страшно: вот, думаю, обрадую Косыгина и Суслова. Ну и обрадовал. К их режиму подходит именно слово «живопырня».

Записка от Багратиона – очень смешная. Я прекрасно знаю Р. С. И, мне кажется, чувствую, что под сим кроется. Т.к. теперь жизнь дала мне, наконец, право «предупреждать» Вас об опасных персонажах, то я этим правом и воспользуюсь. Р. С. – очень милый человек, москвич, был бонвиван, ловелас, красавец («смерть дамам»), но сейчас он все же в годах, ему примерно 87. Как-то говорил со мной по телефону, и я понял, что в нем уже «родился пупсик» (выражение Андрея Белого). Он что-то путал, что-то плел не то. Надо сказать, что он всегда был похож ну, на Репетилова, что ли. Но человек добрый, доброжелательный. Конечно, к НЖ он не имеет никакого

отношения (подписчик, и только). Но я не удивлюсь, если в один прекрасный день он расскажет, что римский папа его просил об одной услуге и он не мог ему в этом отказать. Он любит рассказывать что-нибудь небывалое. Вот он что-то и рассказал Багратиону о НЖ, но дело тут, конечно, не в НЖ, а в том, что он, так я думаю, просто очень хочет с Вами познакомиться. Видел Вас по телевизии, и Вы, вероятно, его «ушибли». Теперь он ищет какой-нибудь повод с Вами познакомиться.

Расскажу уже Вам – но по секрету – одну смешную историю. Одна русская дама попросила его продать ей брошку (Р. С. занимается такими делами, он работал все время в Нью-Йорке на бриллиантовой бирже и понимает толк в драгоценных камнях). Он взял брошку, но, придя к этой даме, вдруг ни с того ни с сего начал предлагать ей свою любовь, причем уверял, что он ее будет целовать так, как никто в мире ее не целовал, что ей откроются врата Эдема. Дама, в понятном ужасе от «врат Эдема», категорически отказалась и попросила вернуть ей брошку. Тем новелла и кончилась. Но, повторяю, он милый человек, только не очень умный. А НЖ тут, конечно, не при чем.

Кстати, в Москве – это наверное его родственники. Он жил в Москве в превосходной квартире, очень богато и именно на Арбате. В 1918 г. скрывал у себя Савинкова, когда тот приехал работать в подполье в Москву. Р.С. был близок к партии эсеров. Его сестра, Мария Самойловна Цетлина, которой 89 лет, и она уже давно в полном рамолисменте, была женой М. О. Цетлина, который основал в 1942 г. «Новый журнал» на свои деньги. Они были богатые люди – Цетлины, Гавронские, Фондаминские, Гоцы, это все – чайная фирма «Высоцкий и сыновья», причем отцы делали миллионы, а сыновья – революцию. Все были эсерами. Мария Сам. была издательницей «Нового журнала» и после смерти мужа, до 25-й книги, а потом Фордовский фонд дал деньги на это дело, но немного, и вскоре дело это совсем оборвалось, и мы остались без гроша. Но, благодарение Богу, выжили и теперь, видимо, будем жить, ибо сейчас американцы мне уже говорят: «Мр. Гуль, вы не знаете, какое вы дело делаете для Америки!» Вуаля л'аффэр! А еще не так давно надо было просить поддержки, и было трудно. Думаю, сейчас бу-

дет легче, ибо и Кочетов меня рекламирует, не покладая рук, а сейчас выступил на пленуме С. Михалков и назвал на весь Союз «Новый журнал» «белогвардейским вертепом». Это уже нечто вроде ордена Красной Звезды. Надеюсь, что после «живопырни» дело дойдет до ордена Ленина.

Мы будем очень рады повидать Вас в Нью-Йорке. На днях были у Джапаридзе. С о. А. Киселевым я хорошо знаком, но у него мы никогда не были. Владыка Иоанн и мне говорил много об автокефалии, но я очень боюсь, что Москва их обыграет. Черчилль говорил: «Когда садишься обедать с чертом, запасись длинной ложкой». У Никодима и его компаньонов ложки, конечно, очень длинные, а у его контрагентов, увы, очень коротенькие. Ну разве могут о. А. Шмеман, о. И. Мейендорф, владыка Иоанн и другие «обыграть» Никодима – прожженнейшую сволочь? Боюсь я этого дела. А смуту в эмиграции Москва раздует большую и ей довольно выгодную.

Ну, кончаю. Всего Вам хорошего от меня и жены.

Искренне Ваш Роман Гуль

June 10, 1970

Дорогой Роман Борисович, как приятно было получить от Вас весточку! Спасибо за поздравление; William Wesley Peters – очень хороший человек и будет мне большой подмогой в жизни, как и я для него. Что касается хозяйки, Ольги Ивановны Wright, то тут мои чувства в некотором смятении после проведенных здесь почти что 3-х месяцев: дело в том, что в 20-е годы она провела несколько лет в «заведении» Гурджиева в Фонтенбло под Парижем (ритмы, танцы, мистика, псевдовосточная «мудрость» и прочее) и продолжает считать этого мракобеса своим духовным учителем. Ну, а чему он мог научить, Вы сами знаете – это все «бесовщина», как говорит наш владыка Иоанн. Тут этот налет очень чувствуется. Но – к счастью – большинство архитекторов и мой муж не разделяют всей этой *х*илософии, а просто работают не покладая рук целый день. Они – милые люди, простые и работящие. Но мне и мужу приходится иногда трудно с «хозяйкой», которая привыкла править единовластно всеми и вся. Я же от этого устала еще в России и более не

приемлю никаких диктаторов (особенно – в юбке). Поживем – увидим, что получится из всего этого.

После всех эмоциональных потрясений и перемен все как будто улеглось. Книжка Malcolm Muggeridge «Jesus Rediscovered» у меня здесь; если смогу, пришлю рецензию. Если во второй половине июня fine – то хорошо, так как моя русская машинка уехала (с вещами) в Wisconsin и мы переедем туда в начале июня, и я тогда смогу перепечатать.

Мнение об этой книге у меня очень «субъективное», т.е. мое собственное – хорошее. В журнале «Look» какой-то либеральный профессор сделал из автора котлету, мелко рубленую. Мое мнение будет диаметрально противоположным, хотя, с *другой стороны*, ученые теологи тоже, может быть, найдут недостатки и ошибки в том, что говорит Muggeridge о Христе, которого он «вновь открыл» для себя на старости лет; после долгой бесплодной жизни интеллигента-циника вдруг увидел Свет Живой. И об этом он пишет так хорошо и *так* убедительно, что я считаю, что книжка очень хороша. Тем более, если учесть, что Muggeridge – один из ведущих комментаторов BBC и лондонского TV, т. е. живет и подвизается *в самой что ни на есть клоаке.* Когда для такого прожженного и прокуренного «подонка» вдруг начинает звучать живое слово Христа – после того, как он делал TV программу из Святой Земли, следуя с камерой по всем дорогам, где учил Христос, – и когда он пишет об этом горячо и хорошо, то я не знаю, право, чего еще пожелать читателю. Книга издана здесь тоже, у Doubleday. Вы можете найти ее. Это Вам не Коряков, – книга без позы и без притворства и очень самокритична. Нежный привет Ольге Андреевне.

Ваша Светлана.

15 июня 1970 года

Дорогая Светлана,

Получил Ваше письмо, большое спасибо. Рад за Вас, а все прочее, я думаю, обойдется. Очень прошу Вас, пишите этот отзыв, видимо интересная и стоющая книга. Время у Вас есть. Если Вы мне пришлете в июле – будет не поздно, даже в конце июля. Но, увы, Ваш манускрипт надо переписать на машинке Вам самим, ибо по-

черк Ваш неразборчив и если я отдам его переписать, то будет большая морока. Итак, буду ждать.

Во вторник 23 мая мы уедем в Питерсхем, как всегда, где пробудем до Лэбор Дэй. Вот адрес. Короткий, но верный. Там каждый сам ходит на почту получать свою почту, и нас там знают лет 20. Почта верная.

Искренне Ваш

Роман Гуль

Жена шлет Вам самый сердечный привет и самые лучшие пожелания спокойствия и счастья (и работы!). Наш владыко меня очень огорчил своими действиями по «приобретению» автокефалии (думаю, что и тут не без бесовщины, ибо *она ведь всегда живет в легкомыслии и в тщеславии).* Напишу ему наупрямь обо всем этом (из Питерсхема, тут нет времени). Кн. 99 «НЖ» пойдет к Вам в Висконсин, а сентябрьская – увидим – куда, наверное туда же?

June 24, 1970

Дорогой Роман Борисович,

Спасибо за Ваше письмо и за «Сеятеля». Я это издание знаю, кто-то мне уже раньше присылал в Принстон.

Напомните мне, будьте так добры, сколько надо страничек на машинке – размер рецензии?

Видели ли Вы книжку Абрама Ярмолинского «The Russian Literary Immigration» – Abraham Yarmolinsky? Считаете ли Вы ее хорошей (она – о русских классиках) и что Вы знаете о нем самом? На фотографии он похож на бывшего троцкиста (прошу меня извинить).

Я *очень* рада, что Вы собрались написать владыке Иоанну – или уже написали? Эта самая растреклятая автокефалия наделала много бед и зла. А каково то добро, ради которого ее вообще затеяли, это еще неясно. Судя по фотографии в «Time», митрополит Ленинградский Никодим смахивает на Гришку Распутина – что-то такое черное, огромное, волосатое и устрашающее. Да и вообще – участие правительства, посольств, State Dept's и тому подобных вещей

в жизни духовной мало полезно и для паствы и для *пастырей,* которые начинают мыслить себя министрами.

Ох, какая это все суета и ерунда. Простите меня. Так сколько страничек на машинке?

Ваша Светлана

Июня 28, 1970

Дорогой Роман Борисович,

Рецензию придется отставить. Malcolm Muggeridge показал мое частное письмо к нему (написанное по поводу книги еще зимой) ряду лиц в Англии, в том числе издателям, связанным с Harper&Row. Мои совершенно частные мысли, вызванные его же книгой, могут – по его мнению – служить «основой для новой книги о религии», которую *он* советует мне написать, и Canfield, который ничего не понимает в религии, вере и Христе *вообще,* уже прислал мне письмо о том, как он рад, что я *буду* такую книгу писать. Canfield это president of Harper&Row.

Ничего такого я не планировала, не говорила и не собираюсь делать! Но подобный поворот дела и подобное обращение с частными письмами мне очень не нравятся. Я собиралась M. Muggeridg'а очень похвалить, а теперь я этого сделать *не могу.* Конечно, он узнает о рецензии в «Нов. журнале», – он следит за «русскими делами» и использует это для саморекламы, или, еще чего хуже, извратит и переврет все опять. Или – другие это сделают. А вопрос о понимании Христа – очень тонкое дело, *и я не хочу* быть misunderstood again.[20]

Так что, простите, – статья и тема веры и все, что с этим связано, – очень для меня самой глубокая тема. Я не могу никому позволить влезать в нее нечистыми руками.

Мы все сидим в жаре (116°) и не знаю, когда выберемся отсюда в Wisconsin! Большой привет О. А.

Ваша Светлана

[20] Опять непонятой.

8 июля 1970г.

Дорогая Светлана, получил Ваши оба письма и «загоревал».

Но понимаю, Ваши доводы правильные. Ну, конечно, же, Кэсс Кенфилд будет в восторге, если именно Вы напишете книгу на религиозную тему – для них же это верный бизнес, и как просто и легко делать такому бизнесу рекламу! «Люди гибнут за металл», ничего не поделаешь.

Но мне очень и очень хочется, чтоб Вы участвовали в 100 кн. «НЖ». Она будет явно хорошая (я уже очень много сдал материала), и было бы хорошо, если б Вы что-нибудь дали. Кстати, напишите отзыв о книге Ярмолинского, это будет подходящее – тема нейтральная, и есть что сказать. Вы правы, в нем есть что-то «бывше-троцкистское». Я с ним встречался, когда он был заведующим Славянским Отделом в Н. Й. Паблик Лайбрери, но мало – несколько разговоров. Он как-то напечатал в «НЖ» статью о Есенине в Америке. Есть у него жена-литераторша (и поэтесса, кажется, и переводчица – Бабетт Дейч). Но больше всего прославился его сын – он был у воен. министра МакНамары не то личный секретарь, не то помощник, и о нем в Конгрессе поднялся шум – «секюрити риск», ибо сей молодой человек был американским комсомольцем и пр. И удалили его с этою поста, но тут же назначили на какой-то другой (не хуже, наверное). Папа Ярмолинский имеет заслуженное имя в американской печати, его знают как спеца по русской литературе, так что о нем стоит написать. М. б. эта книжка и компилятивная (что тоже не грех, в конце концов), но почему ее не разобрать, не отозваться. Напишите. А если б Вам о ней не захотелось все-таки писать (неинтересно), то о чем-нибудь другом. Одним словом: хочу Светлану в 100-м номере.

Между нами говоря, я чрезмерно устаю от этой работы – все один и один тяну журнал – со всех сторон комплименты – но чувствую, что пора мне кончать. Пусть кто-нибудь еще потащит. А я хочу написать «Предсмертные воспоминания» (немного похоже на Шатобриана («Мемур д'утр томб», но это ничего, старик не обидится, да и «Предсмертные» мне больше нравятся, чем «д'утр томб»). А рассказать есть что. Итак, Светлана, я жду, и никаких гвоздей – от Вас к.н. обстоятельный отзыв о любой книге по Вашему выбору.

Искренне Ваш.

Жена Вам кланяется. Приветствуем Вашего мужа унбеканнтервайзе.

4 июля 1971

Дорогой Роман Борисович и Ольга Андреевна!

Спасибо большое за Ваши теплые поздравления. Вот, прибавилась еще одна Олечка и к Вашим Ольгам. Муж очень хотел русские имена для детей; мальчик был бы Николай, а для девочки никак не могли согласиться. Ни Анна, ни Елена, ни Софья ему не нравились. Кое-как согласились на Ольге. Моя бабушка Аллилуева (мамина мать) была Ольга, и две моих лучших подруги в Москве – Ольги, со школьной скамьи.

Бабушка Ольга была характеру порченого, никого не боялась, работала всю жизнь, жила почти 80 лет. Дай-то Бог Оленьке что-нибудь от нее перенять (о бабушке Ольге Евгеньевне есть неск. страниц в «20-ти письмах»). Ну, а наша Olga Peters – вылитый папа, вся в Peters'ое; будет высокая, темноволосая. Пока что здоровенькая и сильная девочка. Будем крестить в Greek Orthodox (так муж хочет тоже). От владыки Иоанна С-Фр. отбиваюсь успешно, а то он уже был бы тут как тут со св. дарами. А потом начал бы давать интервью направо и налево. Ох, много у меня претензий к этому иерарху, лучше не будем входить в детали. Противный Раскоряков как раз ему пара. Не огорчайтесь, Вам его благословения не нужны. Благодать дает Господь, а не поп.

Хочу поздним числом оправдаться за то, что подвела Вас с рецензией. У меня была *очень тяжелая* пора. Я почти что решила оставить Taliesiu и уехать – нет сил жить в этом ашраме a là Гурджиев (знаете, наверное, о его достославной «школе» в Фонтенбло). Наша madame тут насаждает его «принсипы». Долго объяснять, почему мне все это так противно и невыносимо; муж предан идее Архитектуры-с-Большой Буквы, которую (как он думает) они там создают. *Не знаю* об архитектуре, но с человеческой и социальной тт. зрения, Taliesiu просто бесовщина. Я собрала чемоданы в феврале и перебралась в Scottsdale в motel. Муж метался

между мной и madame, оба мы были в слезах, потому что расставаться не хотелось совсем. К тому же – ребенок.

Кое-как утрясли все это, и истериками (madame обожает это), со всякими лицемерными раскаяниями и обещаниями. А что еще я могла?.. Расставаться с мужем мне совсем неохота: я надеюсь на долгую, хорошую жизнь с ним после того, как madame отбудет в лучший мир.

Писать Вам обо всем этом не хотелось. Искать причин иных, т. е. врать – тоже не хотелось. Так все вышло нехорошо. Вы правы – теперь я погрузилась в пеленки по самые уши, и надолго. Простите великодушно – одно могу просить.

Владыка Иоанн *в самом деле* считает, что я к нему так переменилась из-за Вас. Хотя я ему все *свои* причины довольно ясно изложила, но он ведь не может согласиться, что *он* может быть в чем-нибудь неправ или виноват. Гордыни много, смирения же никакого.

Ну, Господь с ним. Может, приобретет когда-нибудь с Божьей помощью. Обнимаю Ольгу Андреевну и Вас.

Светлана

P.S. До июня мы здесь, а потом в Висконсине.

6.9.71

Дорогая Светлана,

Большое спасибо за Ваше письмо. Понимаю Вас по всем линиям. Думаю, что теперь вы не скоро сможете взяться за к. н. литературу – Олечка важнее всякой литературы. Хотя темы у Вас могли бы быть очень интересные – но, вероятно, «несказанные».

Посылаю Вам копию своего письма нашему архиепископу. Написал его просто с отвращением, как будто попал ногой во что-то очень неживописное. Но думал-думал и решил все-таки, что написать, увы, надо.

Видимся часто с Утей. Она и Людка скоро уезжают в свое местоимение. А мы 28 июня уедем (до 1 сент.) в Mass, к друзьям – к Ms. Hapgood, куда всегда ездим. Адрес будет очень прост: R. Goul, Petersham. И все. Но и этот адрес будет хорош – всегда перешлют.

Искренне и дружески Ваш Роман Гуль

Жена очень Вас сердечно приветствует. Она все прихварывает, и это плохо.

1 апреля 1972

Милый Роман Борисович!

Не подумайте, что я осталась неблагодарной свиньей и забыла Вас. Ваша статья о Солженицыне – просто наслаждение читать. Беда только, что надо быть истинно русским, как Вы, чтобы понять последнюю книгу А. С. Вот я уже «разведенный водой» космополит, и меня иногда славянофильство А. С. просто раздражает. А новое славянофильство – начала XX века – было в России, конечно, обещающим движением и заглохло на корню. Это у Вас очень хорошо показано, но ведь *кто* на Западе знает – или понимает – *историю* России? *Никто.* Дж. Кеннан лучше других, он как-то улавливает дух и смысл – иногда – но и то не очень. А Солженицына только так и возможно понять. Иначе – он представляется какой-то туманной глыбой, неопределенного цвета.

О самоубийстве Самсонова Вы так хорошо и глубоко сказали. Но ведь это опять – *русская* религиозность, от Достоевского (литературно, от Алеши Карамазова), но *сильнее* и чище, ибо Достоевский был пророк и не дожил до тех жутких дней, через которые Россия прошла позже. А дух и смысл – те же.

Посылаю Вам нечто *очень* интересное – м. б. Вы пропустили это. Солженицын *клеймит главарей «советской» русской* церкви. И как! «Церковь, которой правят диктаторствующие атеисты». Вот *сила* слова А. С. Ведь как скажет, так в самую точку.

Вот это его письмо раздобыть бы и дать знать здесь и в Европе, чтобы перестали кланяться Никодиму и Пимену. Я *так* рада, что А. С. «отозвался» на это явление. Между прочим, Андрюша Синявский еще в «Мыслях врасплох» писал о «раболепствующей церкви». Но у него, конечно, нет той силы, как у А. С., а только правильные догадки.

Простите, что пишу с таким опозданием. У меня – плохие времена. Грустно, обидно, несправедливо. Оба страдаем – муж и я (Утя видела его в N.Y.), но ничего поделать нельзя. Он порабощен ведьмой полностью. А мне вся его «идеология», весь этот эксцентрик

Ф. Л. Райт и т.п. просто невмоготу. Вот так. А пострадает дитя, Олечка. Простите меня еще раз и поцелуйте от меня милую Ольгу Андреевну. Ваша Светлана.

Февр. 10, 1973

Милая Ольга Андреевна!

Спасибо Вам и Роману Борисовичу за теплое письмо, за подарок Олечке и за Ваше милое приглашение в New York. Утя, должно быть, что-то неверно Вам объяснила, потому что у меня *никогда* не возникало мысли о возможности пробыть в N. Y. так долго. Я N. Y. *не люблю,* он меня угнетает, как и всякий большой город. Я люблю маленькие городишки и зелень, без которой я не могу дышать.

О N. Y. я только думала в связи с Пасхой, чтобы приехать и пойти на службу к о. Киселеву. Он – хороший и честный, я его очень люблю, хотя он об этом, должно быть, не знает.

С русской церковью дела мои плохи, я *не* люблю о. Туркевича, этого химика-физика, да и мадам его тоже. Так что в Принстоне я хожу просто-напросто в Американскую церковь (епископальную). Очень спокойно и славно. Священник хороший и умный, и никто ничего от меня не требует.

Но *на Пасху* хотелось бы побывать у о. Киселева. М. быть как-нибудь устроюсь, просто с приездом на день-два. А дольше оставаться в N. Y. я не могу, да и не хочу.

Передайте мой самый нежный привет Роману Борисовичу. Обоим Вам желаю здоровья и меньше треволнений. Какие Вы оба молодцы – просто прелесть. Я так рада, что Утя Вас часто видает. Людочка что-то грустный какой-то, как старичок. Ужасно его жалко. Целую Вас обоих нежно.

Ваши Светлана + Оля

12 января 1977 года

Дорогая Светлана,

Вчера к Вам ушла – по воздуху – книга Авторханова. В Нью-Йорке я не нашел ее, что было (в огранич. количестве), разошлось. Жду нового присыла. Поэтому я послал Вам свой экземпляр. Он

исчерчен мной при чтении (как всегда). Не стесняйтесь – чертите и Вы, тем ценнее будет этот экземпляр. На днях мне все-таки обещали прислать новую книгу Авторханова (т. е. новый экземпляр), и тогда я Вам его вышлю. А мой экземпляр по прочтении очень Вас буду просить мне вернуть, ибо я тоже м. б. напишу об этой книге. Ничего не значит, что в «НЖ» будет два-три отзыва о книге, она того стоит, по-моему. Тем более, что Ваш отзыв (напишите, пожалуйста, как Вы хотели, мне просто письмо о книге, это *лучше* всего!) – отзыв исключительно важный (будь он положительный или отрицательный, все равно). Только когда будете возвращать мне мой экземпляр, то, пожалуйста, пошлите его «ферст класс», ибо книги идут целую вечность, а иногда и вовсе не доходят (знаю по грустному опыту). А так «ферст класс» – дойдет наверное.

Искренне и дружески Ваш Роман Гуль.

Желаю от души Вам и Оленьке всего самого хорошего в Новом Году!

28 января 1977

Дорогой Роман Борисович!

Я написала Вам тотчас же по прочтении и книгу отправила к Вам – но мое письмо вернулось – я напутала адрес... Это к лучшему, так как я могу сказать сейчас то же самое, но короче.

From making any comments to the research of Mr.[21] Ав-торханов – *увольте.* Армия кремленологов и сталиноведов достаточно активна – *будут* отзывы и pro и con. Я в *историки событий* никогда не лезла. Для истории требуется холодный ум – таковым не обладаю.

Мои книги дают обильный материал *для всех,* кто интересуется. Я очень польщена и обрадована тем, что вот, почти через 10 лет, наконец обратились к моим писаниям как к *фактам.* На большее я и не претендовала. Обобщения – не моя специальность.

По существу вопроса хотела бы заметить следующее – только *для Вас,* как *личное письмо.* Г-ну Авторханову, если желаете, покажите; однако не хочу, чтобы меня *опять* цитировали. Тем более, что ничего нового сказать я не имею.

[21] От каких-либо комментариев по поводу исследования.

Из моих 2-х книг *ясно, во-первых:* 73-летнему старику с повышенным кровяным давлением безусловно *помогли померетъ* тем, что оставили его, в состоянии *удара,* без врачебной помощи в течение 12 (или больше...) часов. Да еще *волокли* в другую комнату.

Что *взрослые* люди *не поняли* простого факта, что это был удар – никогда не поверю. Признаки были налицо: паралич, потеря речи и сознания [«он спит!..»].

Во-вторых: Промешкав и начав «лечить» *с таким* опозданием, да корявыми методами (описанными в «20-ти письмах», безусловно обнаружили полное свое смятение чувств; с одной стороны, надо было соблюсти декор, с другой стороны – не могли опомниться от нечаянной радости. (Это у меня также описано – и Авторханов цитирует обильно).

В-третьих, что Радость была Великая и Нечаянная, тоже было очевидно. Никакого заговора – или приведения такового в злодейское исполнение – я не видела и не вижу. Гн. А. ничего тут мне *не доказал.* Мою ссылку на факт болезни (последнее свидание с отцом 21-го декабря 1952, «красное лицо», «бросил курить» и т.д.) он *не* приводит. Вместо этого – ссылается на индийского посла, который-де замечает, что Сталин «был здоров» при их последней встрече в феврале. (Замечу здесь: индийцы народ *хилый,* для них 73-летний *активный* деятель *выглядит* здоровым. К тому же посол, кажется, вообще впервые видел Сталина. Как ему и судить? Как *можно* вообще судить о здоровье лица, с которым абсолютно незнаком? Не понимаю).

Однако г-ну Авторханову *сей* отзыв важнее моего, так как подтверждает его *спекуляцию.* При всем моем личном (человеческом) отношении к Берии, я не могу согласиться с версией преднамеренного умервщления. Это – версия и спекуляция.

Что Берия чуть не прыгал *от радости,* когда естественная смерть наступила, – все видели. Так он ли один прыгал от радости? Таковых – в тот момент – были тысячи и тысячи. Что ж: всех их обвиним теперь в «заговоре на жизнь»?

Это есть *эмоциональное перехлестывание* через факты, которыми мы располагаем. Принятие желаемого за действительное. Солженицыну куда как *хочется,* чтобы тугана убили, – он и пускает полу-

намек-полусплетню, что «возмездие состоялось». Что ж, и Берии памятник за это ставить будем? Или – помянем в молитвах?

В четвертых: Я же пишу в «Одном годе», что в тот момент «...каждый хотел – и мог стать Великим Освободителем. В том числе и Берия». Хотел – и мог. Однако знамя Великого Освобождения вырвал у всех из рук Никитушка, хитрый мужичок-дурачок. Как в сказке – обскакал всех! Только *без юмора* возможно принять этого «деятеля» *всерьез* – и все его мемуары... Господи, белиберда какая. Удачливый мужичок-дурачок Никитушка (чем не Иванушка?..) всех обхитрил – даже коварного Берию. Ну чем не волшебная сказка?

Однако и сказке бывает конец – и Никитушке *напомнили,* что он не деятель, а персонаж фольклорный, как Петрушка. И – убрали веселого Петрушку в его соответствующий ящичек. Finita la comedia. *Заметим* здесь: надо подождать, пока пройдет время и опубликуют мемуары (истинные!) Анастаса Микояна: вот *кто* имел холодный ум всегда: он и напишет историю. Однако не будем и *его* подозревать в объективности.

Объективная история сов. режима может быть написана *только* извне СССР – и не г-ном Авторхановым (эмоционален тоже, к сожалению!), а каким-нибудь профессором Harvard' или Oxford'a. *Абсолютно необходимо* англосаксонское рациональное fair play и объективность, чего у русских (прошу меня простить!) нет.

Солженицын с его «историей» – ничего, кроме эпилепсии и одержимости, не откроет миру. И никакие исследования *с позиции* одержимости, ненависти и истерической склонности всюду видеть убийства, не помогут раскопать истинное положение вещей.

Ленина не отравили (сам вогнал свой мозг в необратимый склероз). Горького не отравили! Подхватил грипп от своих малых, обожаемых внучек (свидетельство известного педиатра Г. Н. Сперанского). Жданова не убивали: помер своей смертью, больное сердце (каждый раз, как звонил телефон, наступал припадок – свидетельство близких).

Маму мою никто не умерщвлял! Сама решилась на это. (Были до нее – Маяковский, Есенин, многие другие. Это было в *воздухе*). Отец помер от удара – *оставив себя* без врачебного надзора (Вино-

градова посадил) – и *его оставили* без врачебной помощи, когда удар случился.

Возложим сие на плечи *всех тех,* кто правил (и правит) Россией и посейчас. Философия этих людей *жизнь* во внимание не принимает. Что *все они* способны переубивать друг друга – прямо или косвенно, – я не сомневаюсь и не сомневалась (когда убегала оттуда).

Что *оппозиция* Сталину была наверху в 1952–53 – весьма вероятно. Да и он сам – под воздействием высокого давления – не помнил, что творил. Безусловно – думал о скорой смерти и думал, *как* и *кому* передать власть. В этом – и вся штука.

Жданов был слаб и труслив, повторял без конца: «Только бы не пережить!» – (близким), что означало, что он *никак* не претендовал в наследники престола. Он этого страшился. Лечил его преданный семейный врач, Гаврила Иванович Майоров (уж никак не сионист!); и вскрытие делали в ванной комнате, на Валдае – в той даче, которую построили как правительственную резиденцию для отца; он там никогда и не побывал. Семья Ждановых *боялась,* что Гаврилу-лекаря обвинят в «злодейском лечении». Все возможное делали, чтобы выразить Гавриле полное доверие и сочувствие. Однако – час настал – и Гаврила Иванович попал не то в сионисты, не то в шпионы. «Молодую NN» я видела где-то на вечеринке. Ничего особенного в этом факте нет. Никакой тайны, как это кажется г-ну А.

Надо сказать, что гн. А. обладает исключительным знанием деталей жизни сов. верхушки. Напомню опять *версию* Ольги Шатуновской: «не было у Берии большего врага, чем Киров», который *арестовал* Берию на Кавказе и велел расстрелять (1919–1920 гг.?), да началось отступление и позабыли привести в исполнение.

Шатуновская говорила (мне): «Если бы Орджоникидзе и Киров остались в живых, то для Берии не могло быть дороги наверх». Безусловно, Берия вел большую и опасную игру. В *такой игре* – входить в опасность прямого заговора на жизнь отца было бы безумной глупостью. Берия был *умен* как бес – ждал и знал, что власть к нему *и так* перейдет. В силу течения времени. Однако народную смекалку Никитушки-мужичка во внимание не принял! Плохо знал русский фольклор.

Брата моего Василия я бы очень хотела видеть таким бравым, *храбрым* генералом, каким видит его гн. А. К сожалению, брат был разрушен алкоголем физически и умственно уже к 1950-му году – вполне. Он *был* отстранен отцом после скандала на авиапараде в мае 1952 – это *я помню и знаю лучше,* чем гн. А.

После этого – сидел дома и пил пуще прежнего. *Лаврентия* Павловича и Абакумова – обожал: «сильные личности»; и в политике не понимал *ничего.* Потому увязал то и дело в распри наверху – поддерживал то того, то другого – и *сделал себе* огромное количество врагов. Когда отец помер, все эти издавна озлобленные лица обратились против Василия. Он кричал – «убивают!», потому что он *всегда* кричал и шумел. *Что* происходило, ему было столь же *мало* известно, как и мне. Голову он потерял в 1953 году оттого, что *знал,* что без отца его уже *никто* не защитит. Он тоже – ускорил и приблизил свою смерть в 1962 году (41 год) – не будем и здесь подозревать убийства...

Простите за длинноты и за эмоции. Я очень *настаиваю,* милый Р. Б., что все это – только entre nous. Мои 2 книги содержат *все,* что я знала: надо лишь уметь читать внимательно. Спасибо за это Авторханову, однако – по comments.

Как всегда – Ваша Светлана

Содержание

Роман Борисович Гуль

Я унес Россию

Том III. Россия в Америке

Ответственный редактор *А. Иванова*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru